

Вадим Перельмутер

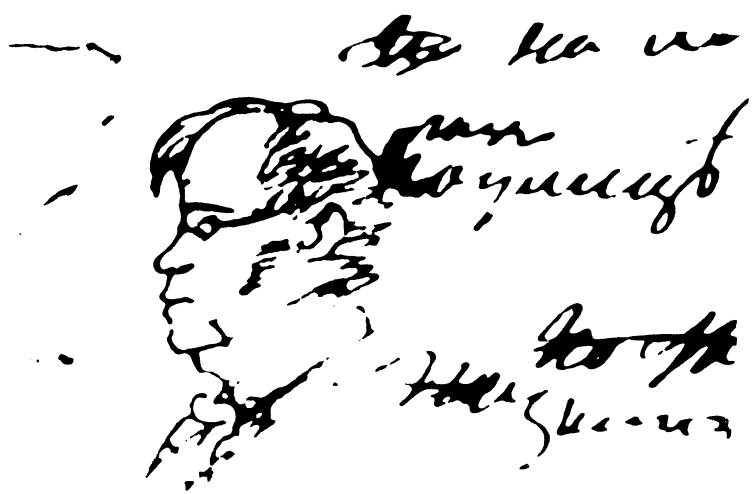
„ЗВЕЗДА РАЗРОЗНЕННОЙ ПЛЕЯДЫ!“





Памяти Аркадия Акимовича Штейнберга,
поэта и живописца, в разговорах с которым
некогда началась эта книга.

Автор



to have
can
to yourself

to the
the same

the more
the more
a Sabbath day
for
the
the

Вадим Перельмутер

**„ЗВЕЗДА
РАЗРОЗНЕННОЙ
ПЛЕЯДЫ!“**

*Жизнь поэта Вяземского,
прочитанная в его стихах и прозе,
а также в записках и письмах
его современников и друзей*

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«КНИЖНЫЙ САД»
МОСКВА
1993

**Жизнь поэта Вяземского, прочитанная в его стихах и прозе,
а также в записках и письмах его современников и друзей**

**Художник Олег Айзман.
Фотографии Леонида Ковалева.
Подбор иллюстраций Вадима Перельмутера.**

**В оформлении книги использованы материалы из фондов
Государственного литературного музея, Государственного му-
зея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Музея
А. С. Пушкина (Москва), Государственного исторического
музея.**



Глава I. «Судьба свои дары явить желала в нем...»

Всякое настоящее было когда-то будущим, и это будущее обратится в прошлое. Иное старое может оставаться в стороне и в забвении, но тут нет еще доказательства, что оно устарело, оно только вышло из употребления. Это так, но запрос на него может возродиться... Одно здесь условие: старое должно иметь свою внутреннюю и весовую, или художественную ценность.

П. А. Вяземский

Ноябрьским днем 1878 года в немецком городе Баден-Бадене умер русский поэт князь Петр Андреевич Вяземский.

Он прожил восемьдесят шесть лет — и семьдесят из них писал стихи.

Его жизнь исчерпывающе совпала с «золотым веком» русской литературы, нет, не то, точнее — вплавлена во все протяжение той блистательной эпохи. Его окружение — дружеское и союзническое — это Карамзин и Дмитриев, Жуковский и Грибоедов, Дельвиг и Гоголь, Батюшков и Тютчев, Баратынский и Денис Давыдов, Языков и Федор Глинка, знаменитый польский писатель и общественный деятель Юлиан-Урсын

Немцевич и Адам Мицкевич, декабристы Никита Муравьев и Михаил Орлов; среди собеседников и корреспондентов его были Чаадаев, немецкий ученый и писатель Александр Гумбольдт и французский поэт Ламартин. Как тут не захотеть разобраться в удивительных его личных достоинствах, понять судьбу, которая отразила все эти блестящие судьбы и сама отразилась в них.

Но первое имя, мгновенно возникающее в памяти при упоминании Вяземского, — Пушкин.

Их дружба длилась два десятка лет, охватила собою всю пушкинскую жизнь в поэзии, нерасторжимо переплела их биографии. Одного этого было бы довольно для нашего пристальнейшего интереса к Вяземскому.

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты...

Однако выбрав лишь одного из друзей Вяземского, пусть даже и такого, как Пушкин, мы получим представление далеко не полное, ограниченное во времени и в пространстве: десятилетиями — тридцатыми годами, Москвой и Петербургом...

Сказать, кто такой Вяземский, значит — не больше и не меньше — рассказать его жизнь. Вернее — страница за страницей прочитать, как он сам рассказал ее во множестве стихов и статей, в записных книжках и письмах. Истинная биография писателя — в том, что он написал. Надо только взглядеться, вдуматься, разглядеть и понять.

После гибели Пушкина Вяземский прожил еще сорок с лишним лет. Большинство лучших его стихотворений приходится именно на эту пору. Хотя уже и в первой трети века он был очень знаменит как поэт, критик и публицист. Разнообразные и яркие его дарования современники оценили без опоздания и по достоинству.

«Покамест присылай нам своих стихов; они пленительны и оживительны», — писал Пушкин к Вяземскому в 1820 году.

А двумя годами позже — на сетование Вяземского, что давно уже не являются ему стихи, быть может, и вовсе никогда не придут, Пушкин откликнулся: «Ты меня слишком огорчил — предположением, что твоя живая поэзия приказала долго жить. Если правда — жила довольно для славы, мало для отчизны. К счастью, не совсем тебе верю, но понимаю тебя — лета клонят

к прозе, и если ты к ней привяжешься не на шутку, то нельзя не поздравить Европейскую Россию...»

После он и про себя напишет: «Лета к суровой прозе клонят...»

Еще отрывок — из письма 1823 года: «...читал я твои стихи в «Полярной звезде»; все прелесть — да, ради Христа, прозу-то не забывай; ты да Карамзин одни владеют ею...»

Все это вовсе не было дружеским преувеличением. Потому что читающей публике Пушкин цитировал примерно то же самое, хотя и другими словами: «Вы столь же легко угадаете Глинку в элегическом его псалме, как узнаете князя Вяземского в стансах метафизических или Крылова в сатирической притче...» А потом — о статьях: «Проза князя Вяземского чрезвычайно жива. Он обладает редкой способностью оригинально выражать мысли — к счастью, он мыслит, что довольно редко между нами».

Не скупилась на похвальные слова, а иной раз — на головокружительно лестные оценки и другие современники Вяземского, и старшие, и младшие.

Один из первых его литературных наставников, поэт Иван Иванович Дмитриев просил в письме к Александру Тургеневу: «Нетерпеливо желаю узнать последнее произведение оригинального и истинного поэта Вяземского, которого, конечно, не заменит и молодой Пушкин, хотя бы талант его и достиг до полной зрелости». Дмитриев, которому некоторые решительные критики определили в соперники Крылова и норовили «столкнуть лбами» двух отнюдь не воюющих между собой баснописцев, отлично понимал, что поэты не заменяют и не стесняют друг друга, а в поэзии, где всем места хватит, всякий поэт незаменим и неповторим.

Узнав же об очередном столкновении Вяземского с цензурой, не пропустившей в печать статью о Вольтере, Дмитриев успокаивал адресата: «Что же касается до Вяземского, нимало о нем не сожалею: не во гнев своенравной цензуре... он и без печати будет читан и проживет долго...»

«Остроумный кн. Вяземский щедро сыплет сравнения и насмешки. Почти каждый его стих может служить пословицею, ибо каждый заключает в себе мысль. Он творит новые, облагораживает народные слова и любит блистать неожиданностью выражений. Имея

взгляд беглый и соображательный, он верно ценит произведения разума, научает шутками и одевает свои суждения приманчивою светскостью и блесками ума просвещенного». Это — из статьи издателя «Полярной звезды», поэта и прозаика, будущего декабриста А. А. Бестужева (Марлинского), который в критике своей обыкновенно бывал не расточителен на подобные восхваления.

Его коллега по издательским делам и один из руководителей Северного общества К. Ф. Рылеев в 1823 году писал: «Милостивый государь! Князь Петр Андреевич! Предпринимая с А. А. Бестужевым издать «Русский альманах» на 1823 год, мы решились составить оный из произведений первоклассных наших поэтов и литераторов», — и просил о присылке «какого-либо произведения игривого вашего пера».

А менее чем за год до декабрьского восстания он же обращался к Вяземскому: «Будьте здоровы, благополучны и грозны по-прежнему для врагов вкуса, языка и здравого смысла. Вам не должно забывать, что, однажды вступив на такое прекрасное поприще, которое вы себе избрали, дремать не должно: давайте нам сатиры, сатиры и сатиры.»

«Знаменитый писатель, весьма остроумный, известный и в Варшаве», — представлял Вяземского в одном из писем Мицкевич. А после смерти Пушкина назвал «оставшихся» — всего три имени: Жуковский, Крылов, Вяземский.

В середине сороковых годов Гоголь в статье о русской поэзии отвел Вяземскому место среди замечательнейших поэтов своего времени: «Его стихотворения — импровизации, хотя для таких импровизаций нужно иметь слишком много всяких даров и слишком приготовленную голову. В нем собралось обилие необыкновенное всех качеств: наглядка, наблюдательность, неожиданность выводов, чувство, ум, остроумие, веселость и даже грусть... Он не поэт по призванию: судьба, наделивши его всеми дарами, дала ему как бы впридачу талант поэта, затем, чтобы составить из него что-то полное...»

Конечно, друзья Вяземского знали, что сам он нередко именовал стихи свои «импровизациями», правда, ценил их куда сдержаннее, чем Пушкин, Дмитриев или Гоголь. Но в то же время именно литературу всегда

почитал главным, едва ли не единственным делом своей жизни.

Наконец, Жуковский, некогда посвятивший Вяземскому свой прославленный перевод байроновского «Шильонского узника», прочитав в 1848 году новые его стихи, писал из Германии: «Твои стихи не поэзия, а чистая правда. Но что же поэзия, как не чистая правда?..» В подтексте, — несомненно, памятные Вяземскому рассказы Жуковского о том, как гостил в Веймаре у Гёте, как беседовал с ним о литературе, — и намек на книгу Гёте «Поэзия и правда». Таково искусство: многое сказать немногими словами.

Подобные высказывания и оценки можно множить и множить, даже не особенно усердствуя в их отыскании. Литературная деятельность Вяземского задевала, вызывала на отклик, а то и провоцировала на полемику. Но были еще и стихи...

Когда листаешь поэтические книги прошлого века, невольно обращаешь внимание на обилие стихотворных посланий, какими обменивались поэты; посвящений, надписей к портретам. По мере расширения писательского — и читательского — кругов традиция эта глохла, отходила в историю литературы. И теперь уже непросто вообразить ту особенную поэтическую атмосферу, где все знали — и читали — всех, то читательское ощущение причастности к происходящему между поэтами, к их дружбе и спорам, к безобидному подтруниванию над слабостями и нешуточным размышлениям о назначении художника.

Из таких стихов, обращенных к Вяземскому, либо посвященных ему, можно бы, при желании, составить нечто вроде антологии. Начав, хотя бы с батюшковской «Надписи к портрету П. А. Вяземского»:

**Кто это, так насупя брови,
Сидит растрепанный и мрачный, как Фекул?
О чудо! Это он!.. Но кто же? Наш Катулл,
Наш Вяземский, певец веселья и любви!**

С легкой руки Батюшкова, «античные» сопоставленья, имена Катулла, Горация, Ювенала не раз еще возникнут при упоминаньях Вяземского...

А на следующей странице — Пушкин:

Судьба свои дары явить желала в нем,
В счастливом баловне соединив ошибкой
Богатство, знатный род с возвышенным умом
И простодушие с язвительной улыбкой.

И еще так:

Язвительный поэт, остряк замысловатый,
И блеском колких слов, и шутками богатый,
Щастливый Вяземский, завидую тебе.
Ты право получил, благодаря судьбе,
Смеяться весело над Злобою ревнивой,
Невежество разить анафемой игривой.

Это — Вяземский двадцатых годов, в полном блеске популярности и успеха. Ему, кажется, все, что только можно пожелать, дано от рождения, от природы. И надо только суметь с толком распорядиться дарами судьбы, которую пока не омрачает ни одно трагическое облако. «Щастливый Вяземский, завидую тебе». К кому еще так обращался Пушкин?..

Стихотворение «Князю Петру Андреевичу Вяземскому», написанное в 1834 году, открывает последнюю книгу Баратынского «Сумерки»:

Как жизни общие призывы,
Как увлеченья суеты,
Понятны вам страстей порывы
И обаяния мечты;
Понятны вам все дуновенья,
Которым в море бытия
Послушна наша ладья.
Вам приношу я песнопенья,
Где отразилась жизнь моя...

В том, что этот читатель умеет понять не только сказанное, но и то, о чем умолчено, прочитав стихи и разглядеть таящееся за ними, Баратынский уверился задолго перед тем — именно Вяземский один из первых оценил оригинальность его поэтического дарования, самостоятельность мысли, своеобразие негромкого голоса.

Ищу я вас; гляжу: что с вами?
Куда вы брошены судьбами,
Вы, озарявшие меня
И дружбы кроткими лучами,
И светом высшего огня?

Перечитайте десятки стихотворных посланий того времени — мало где обнаружите вы такую уважительную серьезность, такое лаконичное сочетание глубоко личного и всеобщего: «кротких лучей» дружбы и «высшего огня» поэзии. И понятна тревога о том, чтобы подольше не угасали оба эти источника света:

Что вам дарует провиденье?
Чем испытует небо вас?
И возношу молящий глас:
Да длится ваше упоенье,
Да скоро минет скорбный час!

А уже в следующей строке найдена метафора, замечательно обозначившая всю жизнь Вяземского, и прошлую, и будущую, современником которой и свидетелем Баратынскому быть не довелось.

Звезда разрозненной плеяды!
Так из глуши моей стремлю
Я к вам заботливые взгляды,
Вам высшей благодати молю,
От вас отвлечь судьбы суровой
Удары грозные хочу,
Хотя вам прозою почтовой
Лениво дань мою плачу.

Легкая, едва заметная улыбка — в последнем стихе: намек на то, что князь Вяземский правит удельным княжеством поэзии и дружбы — и «взимает дань» письмами и стихами.

Это — Вяземский годов тридцатых, уже переживший то, что иному и за жизнь — не под силу: потерю детей, гибель и каторгу друзей, утрату политических иллюзий, крушение жизненных планов.

«Звезде разрозненной плеяды» суждено было не слишком ярким, но ясным и непеременимым светом прочертить след через поэтический небосклон большей части прошлого века.

В 1861 году, когда отмечалось полвека литературной деятельности Вяземского, на чествовании читал свои «величальные» стихи Тютчев. Несколько месяцев спустя он написал еще одно стихотворение, словно разговор наедине с поэтом, с которым сдружился в последние десятилетия жизни:

Теперь не то, что за полгода,
Теперь не тесный круг людей —
Сама великая природа
Ваш торжествует юбилей.

Смотрите, на каком просторе
Она устроила свой пир —
Весь этот берег, это море,
Весь этот чудный летний мир.

Смотрите, как облитый светом,
Ступив на крайнюю ступень,
С своим прощается поэтом
Великолепный этот день...

Скажи мне, кто твой друг?... Петр Андреевич Вяземский мог бы в ответ назвать многих замечательных людей своего времени. На собственном юбилее, отвечая хвалебным — по обычаю подобных торжеств — речам, Вяземский заговорил не о себе, но о великой эпохе русской литературы. «Я напоминаю вам... имена ее, имена Карамзина, Жуковского, Пушкина и некоторых других знаменитых людей, сих воинов мирного, но победительного слова. Я пережил их... Это не заслуга, но это право на сочувственное внимание ваше».

Но кто же все-таки он сам и каков он — поэт Вяземский? Если принять на веру его многочисленные высказывания о собственном творчестве, то нашим глазам представляется человек, с размахом наделенный многими талантами, да не сумевший с расчетливостью и пользой распорядиться ни одним из них. О разбросанности своей, о неумении сосредоточиться на твердо поставленной цели, как теперь сказали бы, о непрофессиональности литературной он писал и в двадцать пять, и в пятьдесят, и в семьдесят пять лет. Вероятно, он действительно так думал. Однако не стоит спешить — и соглашаться с ним.

Писатель и читатель смотрят в одном направлении, но с разных точек. Писатель знает, что было задумано им, невольно или осознанно сравнивает результат с замыслом, который, как правило, кажется ему и глубже и интересней воплощения. Перед читателем — только итог, произведение. Ему сравнивать не с чем. Он судит — как есть, а не как могло и должно бы быть.

Мнение писателя о себе — штрих к портрету, но вовсе не весь портрет.

Вблизи хорошо видны детали, линии, цветовые

мазки. Охватить целое, его движение и дыхание возможно, лишь отступив. Попытавшись представить себе того единственного человека, который мог, должен был написать именно то, что им написано, и ничто другое.

Это рассказ о человеке, прожившем замечательную жизнь. О человеке, который не был великим писателем, но был другом и современником великих писателей. И вместе с ними делал великое дело русского просвещения, литературы, культуры.

В этом рассказе неизбежны будут повторы и возвращения к уже однажды поведанному, наслоения событий и времен. В жизни до чрезвычайности редко выдаются прямые отрезки, стройная последовательность происходящего, когда за одним поступком логично следует другой, событие сменяется событием и каждое начинается не раньше, чем завершится предыдущее. Обыкновенно все переплетено, смешано друг с другом так, что и не разделить.

Поэтому, рассказывая жизнь, приходится то забежать вперед, то отступать, напоминать те или иные эпизоды, след и отблеск которых обнаруживается подчас много лет спустя, говорить о судьбах и происшествиях, на первый взгляд, к делу не относящихся: в биографии равно важно случившееся не только в душе или вблизи героя, но и вокруг, и даже вдали от него — в стране, в мире...

Вяземский рассказывал о себе много и подробно. О достоинствах и недостатках. О причинах поступков и поводах к стихам и статьям. О дружбе с единомышленниками и борьбе с недругами. О молодости и старости. О любви, утратах, отчаянии... Он создал характеристики и портреты людей, среди которых прошла его жизнь. Он написал стихи — исповедь и летопись сокровенной, внутренней жизни.

Собранный им необъятный Остафьевский архив князей Вяземских хранит множество множеств ценных исторических и литературных материалов, объединенных личностью Петра Андреевича, его ролью в литературной жизни и связями с крупнейшими деятелями русской культуры конца XVIII — первой половины XIX века.

Историку и биографу он подарил редкостную возможность пользоваться в большинстве случаев его соб-

ственными свидетельствами — в обрамлении документов, ограждающих от соблазна эффектных домыслов и произвольных толкований. Ему вторят, его дополняют и поправляют современники: поэты, критики, мемуаристы...

Однако, когда сведений о жизни, делах и деяниях человека очень много, рассказывать о нем так же трудно, как и тогда, когда не знаешь о нем почти ничего. Если не труднее.

Он глядел на себя и в себя с близи, зорко подмечал штрихи и подробности, но, разумеется, не мог как следует разглядеть целого, установить соразмерность частей своей жизни.

Не стоит очень уж обольщаться тем преимуществом, которое нам, потомкам, дано естественной возможностью увидеть его жизнь, так сказать, в исторической перспективе, зная, чего он знать не мог, уяснив, в каких размышлениях и предположениях он оказался прав, и в каких, безусловно, заблуждался. Есть и обратная сторона: это же самое знание мешает взглянуть на отделенные от нас веком — полутора события глазами их действующих лиц, прочитать написанное тогда, как читали — или могли прочитать — первые читатели. Да что там написанное! И внешний-то облик времени и его героев ждет от нас осторожной и тщательной наводки на резкость.

Обычно, заинтересовавшись писателем, мы хотим не только прочитать его и о нем, но и увидеть его, выбрать портрет, лучше всего отвечающий впечатлению, которое возникло при чтении.

С Вяземским так не получается. После него осталась целая галерея портретов. И невозможно решить, который из них более всех похож на оригинал: в каждом из них есть черты общие, но есть и противоречащие друг другу.

Вот юношеский автопортрет: «У меня маленькие и серые глаза, вздернутый нос... Как бы в вознаграждение за маленький размер этих двух частей моего лица, мой рот, щеки и уши слишком велики. Что касается до остального тела, то я — ни Эзоп, ни Аполлон Бельведерский!.. У меня воображение горячее, быстро воспламеняющееся, восторженное, никогда не остающееся спокойным... Как бы то ни было, я сочиняю стихи...»

Перелистаем несколько страниц этой жизни — и перед нами акварель, на которой романтического вида молодой человек, гордо вскинув голову, глядит на мир как бы чуть свысока и не может, да и не пытается сдержать чуть изогнувшую губы усмешку...

Легко вообразить именно этого человека автором стихов, взятых Пушкиным в эпиграф к первой главе «Евгения Онегина»:

**По жизни так скользит горячность молодая,
И жить торопится, и чувствовать спешит!**

Или других:

**И новичок еще в науке гибкой:
Всем быть подчас и вместе быть ничем,
И шею гнуть с запасною улыбкой
Под золотой, но тягостный ярем...**

И никак не вяжется такой облик с поздним, холодным признанием:

**Последние я доживаю дни,
На их ущерб смотрю я без печали:
Всё, что могли сказать, они сказали
И дали всё, что могут дать они...**

Нет-нет, это — иной Вяземский: с иссеченным страданиями лицом, смотрящий с презрительным прищуром прямо перед собой, но не на нас, а мимо, в пространство, сухой и костистый, как на фотографии, сделанной за несколько лет до смерти или в примерно тогда же написанном стихотворении:

**Жизнь наша в старости — изношенный халат:
И совестно носить его, и жаль оставить;
Мы с ним давно сжились, давно, как с братом брат;
Нельзя нас починить и заново исправить...**

И снова — почти никакого сходства с седоком, который, рассекая на тройке бесконечные пространства России, повторяет, наборматывает в такт скачке:

**Не сидится мне на месте,
Спертый воздух давит грудь;
Как жених спешит к невесте,
Я спешу куда-нибудь!**

Даль — невеста под фатою!
Даль — таинственная даль!
Сочетаешься с тобою —
И в жене невесту жаль!

Тут, пожалуй, придется разыскать на рубеже тридцатых годов гравюру, с которой глянет человек твердый, умудренный зрелостью, но и всякий миг готовый раскрыться новым видениям и впечатлениям, пережить их и принять в себя.

Однако и он не очень-то похож на созданный одним летящим росчерком пушкинского пера образ остроумца и острослова, автора многочисленных «окогченных летуний» — эпиграмм, переходивших из альбома в альбом, из уст в уста, так что пораженному уже не выдернуть стрелы.

В этом, например, убедился Фаддей Булгарин, поляк, начавший службу в русской армии, потом переметнувшийся к Наполеону, когда тот был победоносен. Взятый в плен союзниками, прощенный, сменил он бесславное военное поприще на журналистское, стал близок — и как будто вполне искренне — к лучшим русским писателям, даже к наиболее решительно политически настроенным, как Кондратий Рылеев и Александр Бестужев. Но после декабрьского восстания резво перебежал в стан правительства и бывшие свои «прегрешения» с лихвою искупил на посту редактора официальной «Северной пчелы», со страниц которой публично поучал независимо мыслящих писателей, что первейшее дело их — верно служить самодержавию и не отклоняться от мнений его даже в частностях. Впрочем, при случае не гнушался он и доносами в Третье отделение на «братьев-литераторов». Чем не герой эпиграммы:

Двойной присягою играя,
Подлец в двойную цель попал:
Он Польшу спас от негодяя
И русских братством запятнал.

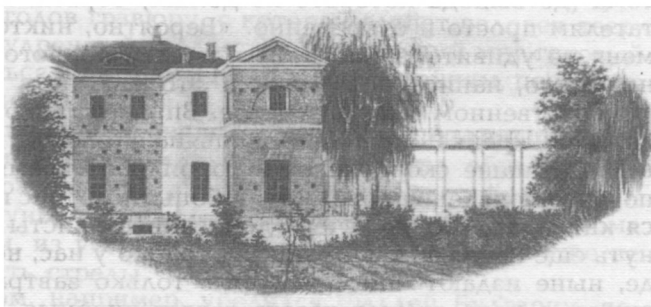
И что же общего между этим Вяземским и тем, кто на пороге семидесятых годов написал:

Мне не к лицу шутить, не по душе смеяться,
Остаться должен я при немочи своей.
Зачем отжившему живым мне притворяться?
Болезненный мой смех всех слез моих грустней.

Вскоре после этих стихов Вяземский, издавший за жизнь, да и то уже после шестидесяти, единственную книгу стихов, начал готовить к печати полное собрание своих сочинений. И на первой же странице первого тома (до выхода которого не дожил) обратился к читателям просто и откровенно. «Вероятно, никто более меня не удивится появлению в печати полного собрания всего, написанного мною... Это уже не в чужом, а в собственном пиру похмелье. Впрочем, голова моя, кажется, крепка: чернилами допьяна я никогда не упивался. В наше скороспелое и торопливое время такое позднее появление довольно любопытно. У нас издаются книги, только что вчера дописанные; листы высохнуть еще не успели; кажется, не только у нас, но и везде, ныне издаются книги, которые только завтра напишутся, а пока спешат издать в свет пробные листы... В старое время, то есть когда я был молод, было мне просто не до того. Жизнь сама по себе выходила скоропечатными листками...»

И добавил: «Полное издание сочинений писателя есть, так сказать, и выставка жизни его».

Он готовил эту выставку трезво и тщательно, не тая «неудобных экспонатов», то есть невыигрышных для него в глазах публики, не соблазняясь возможностью подретушировать задним числом свои давешние мысли, впечатления, оценки, и лишь изредка позволяя себе сдержанные комментарии к «делам давно минувших дней», ни участников, ни свидетелей которых уже не было в живых. И потому вправе был ожидать, что прежде, чем ответить на вопрос: кто же он такой — поэт Вяземский? — мы неторопливо и сосредоточенно пройдем «выставку его жизни» от начала до конца...



Глава II. Предисловие к жизни

Жизнь не днями должна быть богата, но сильными ощущениями и богатыми воспоминаниями.

Из письма Вяземского к Александру Тургеневу, 1814 год

Отец мой, светлый ум вольтеровской эпохи,
Не полагал, что все поэты — скоморохи.
Вяземский. «Литературная исповедь»

Говоря в стихах, что Вяземский «право получил, благодаря судьбе», на уверенное и независимое положение в обществе, Пушкин прежде всего имел в виду происхождение друга, который принадлежал к одному из древнейших и самых знатных родов в России.

Князья Вяземские, потомки Владимира Мономаха, упоминаются в числе приближенных первого же русского царя — Ивана Грозного. Дед поэта, князь Иван Андреевич, занимал видное положение при дворе Екатерины II. И князь Андрей Иванович, отец поэта, смолodu имел все возможности сделать блестящую карьеру. Если же она не вполне удалась, причиною тому — характер, склад ума и отношение к жизни этого замечательного для своего времени человека.

Начав, как водится, с военной службы, Андрей Иванович дослужился до чина генерал-поручика, командовал полком, участвовал в войне с Турцией и показал себя человеком храбрым и решительным. Однако независимость поведения и суждений, нежелание подольститься и подладиться к начальству принесли ему недоброжелательство всесильного фаворита Екатерины светлейшего князя Потемкина Таврического. Этого было довольно, чтобы молодой генерал не получил никаких воинских наград, попросил отставки — и тотчас же ее получил. Все же в последние годы царствования Екатерины он был нижегородским и пензенским наместником, а при Павле — сенатором в Москве.

Умный и замечательно образованный человек, среди бумаг которого можно обнаружить, например, еще в отрочестве сделанный перевод фенелоновых «Приключений Телемака» — с французского на немецкий, — или набросанный в двадцать один год «Проект составления «Экстрактов из законов Российской империи», где конспективно изложена история русского законодательства с древнейших времен, он был страстным и мыслящим читателем, собрал отличную библиотеку — около пяти тысяч томов, на нескольких языках.

Андрей Иванович много путешествовал, чувствуя себя непринужденно в любой европейской стране. Одно из путешествий длилось больше четырех лет — с 1782 по 1786 год. За это время он побывал в Швеции (его бабушка была шведкой), Германии, Франции, Голландии, Испании, Португалии, Англии и Швейцарии. Из путевых его заметок видно, что всюду, куда бы ни приезжал, всерьез интересовался государственным устройством, народным бытом, изучал военное дело, посещал музеи и библиотеки, покупал книги, пополнял свои коллекции резных камней, медалей, гравюр.

Во время этого путешествия он познакомился с ирландкой Евгенией Квин (урожденной О'Рейлли) — и влюбился.

В архиве князей Вяземских хранятся письма будущей княгини Е. И. Вяземской, повествующие о романтической любви двадцатилетней ирландки Дженни к знатному русскому путешественнику. При желании можно бы описать эту историю совершенно в стиле и духе популярных романов XVIII века, с их кажущи-

мися поначалу неодолимыми преградами, разделяющими влюбленных, и непременно счастливым концом.

Но препятствия, по тем временам основательнейшие,— изрядное различие в происхождении, родовойности, да еще и «несвобода» избранницы,— похоже, только раззадорили Андрея Ивановича. Решительности ему было не занимать. Он увез любимую в Россию и добился для нее развода. Родители его, конечно, были против этого явно неравного и далеко не блестящего, по их понятию, брака. Андрей Иванович пошел всему этому наперекор — и настоял на своем. Он был счастлив.

Через шесть лет, двенадцатого июля 1792 года, в доме князя Андрея Ивановича Вяземского — на Колымажном дворе, близ Москвы-реки,— родился сын Петр. Когда будущему поэту было десять лет, мать его умерла.

Если верно, что вещи и предметы хранят отпечаток личности своего обладателя, то подмосковное имение Остафьево, купленное в августе 1792 года за двадцать шесть тысяч рублей А. И. Вяземским для жены, основательно переустроенное им сообразно своим вкусам, привычкам, представлениям о семейной жизни и сыгравшее впоследствии огромную роль в жизни его сына — и в истории русской литературы,— многое могло бы нам поведать. Начать хотя бы с самой покупки: когда Андрей Иванович приехал осмотреть имение, ему бросилась в глаза липовая аллея — и так понравилась, что дело тотчас было решено. С нее-то, с аллеи, ставшей любимым местом прогулок нескольких поколений остафьевских обитателей, все и началось. Достаточно сказать, что дом, построенный по указанию хозяина на светлой, чуть пологой лужайке над прудом и сохранившийся до наших дней, расположен так, чтобы прямо из него можно было попасть в аллею.

Он далеко не так роскошен, как издавна знаменитые музеи-усадыбы, аристократические дворцы в Останкине, Архангельском или Кускове. Возведенный по проекту архитектора, имя которого современным исследователям установить не удалось, в классическом стиле итальянских вилл, как и желал заказчик, этот просторный дом в два этажа, с фронтоном и колоннами, соединенный галереями-колоннадами с двумя тоже двухэтажными флигелями, самую безупречную

ясностью и спокойствием линий и пропорций как бы говорит о человеке цельном и простом, который не терпит ничего показного и все вокруг себя естественно подчиняет твердым жизненным взглядам, обдуманному и рациональному бытовому укладу. Это дом — для просторной и несуетной семейной жизни. И глава семьи сам наблюдал за постройкой, длившейся шесть лет, вникал в подробности, вносил поправки, стараясь все предусмотреть на будущее.

Путешествовавший по России шотландский художник Роберт Кер Портер, побывавший в Остафьеве летом 1806 года, вскоре по завершении работ, писал: «Мой хозяин был не только образцом гостеприимства, но и отличался большой образованностью и талантами. Его дворец красиво расположен. Выстроенный из камня с большим вкусом и великолепием, он обладает всеми приспособлениями для самых веселых развлечений, а равно и для глубочайшего исследования...» Что до «великолепия», он преувеличивает: смотря с чем сравнивать... А в остальном — все верно.

Начинаясь у обрывистого берега и уходя далеко за дом, раскинулся тенистый парк. (Кстати говоря, недавно, когда Остафьево, с 1939 года служившее домом отдыха советскому начальству средней руки, ради которого дом был вполне бездарно перестроен, парк же попросту пришел в запустение, когда Остафьево снова стало, наконец, музеем, обнаружилось, что почти двухсотлетней давности след парковой планировки все еще отчетливо различим — и, значит, можно возродить весь ансамбль.)

Впрочем, отвлеченная прелесть пейзажа Андрея Ивановича нимало не заботила. Он не только не стал сносить расположенную поблизости и как бы диссонансом выглядевшую суконную фабрику (о чем зашла речь еще при прежних владельцах имения), но даже расширил производство и сам занимался организацией работы на ней — к вящему изумлению своих высокородных московских приятелей...

С той же твердостью и основательностью он и сына растил. Хоть и нанял для него иностранных гувернеров, но руководство учением и воспитанием взял на себя. Мальчик рос робким и впечатлительным. Отцу досадно было, что сын не унаследовал его характера, и он пытался исправить «ошибку природы» — иной раз до-

вольно крутыми способами. То по его приказу мальчика оставляли на ночь одного в парке — дабы отучить от страха. То, чтобы научить плавать, бросали в пруд. Последствия сей педагогики могли быть печальными. К счастью, этого не произошло.

Впечатлительность и чрезмерное воображение следовало, по мнению Андрея Ивановича, обуздывать упорными наставлениями математике и точным наукам. Однако нашла коса на камень! Если Петр Андреевич что и унаследовал от отца в полной мере, так это упорство и независимость. Впрочем, как выяснилось впоследствии, и прочие черты характера, так раздражавшие отца, несколько не противоречили ни смелости, ни решительности. Когда потребовали обстоятельства, Петр Андреевич проявил и твердость, и бесстрашие, ни на шаг не отступил от своих убеждений...

По-настоящему сильное влияние на Петра Андреевича оказали не «педагогические усилия» Андрея Ивановича, а сама жизнь рядом с ним, с человеком, которому, как он сам однажды писал, «природа влила в душу... неодолимое омерзение от кривых дорог». Вольнодумец и скептик, ценитель и знаток литературы французского Просвещения, любознательный путешественник и остроумный спорщик, отец был сыну превосходным примером для подражания. Поэт Вяземский пошел в отца.

Каждое лето — с самого раннего детства — Петр Андреевич проводил в Остафьево. Здесь, в одиноких прогулках парком или по берегам речек Любучи и Десны, он учился вглядываться и вслушиваться в природу, понимать ее язык. Потом в его стихах это чувство близости, родственности природе проявлялось порой с удивительной силой. Остафьево навсегда осталось для него одним из самых дорогих мест на земле.

**Здесь с каждым деревом сроднился, сросся я,
На что ни посмотрю, все было, все жизнь моя.**

**Всё те же мирные и свежие картины:
Деревья разрослись вдоль прудовой плотины,
Пред домом круглый луг, за домом темный сад,
Там роща, там овраг с ручьем, курганов ряд...**

**Везде все тот же круг знакомых впечатлений.
Сменяются ряды пролетных поколений,
Но не меняется природа и душа,
И осень тихая все так же хороша...**

Размеренной, подчиненной пристрастиям главы семьи была жизнь и в московском доме князей Вяземских. Поэт вспоминал об отце: «Большую часть дня просиживал он за книгою у камина в больших, обитых зеленым сафьяном креслах... Любимое чтение были исторические и философические книги; урывками и тайком обращали они на себя мое ребяческое внимание».

Это были сочинения Руссо и Дидро, Лафонтена и Ларошфуко, Буало и Монтеня, Мильтона, Макиавелли, Дефо — крупнейших европейских поэтов, прозаиков, мыслителей. Но чаще других в руках Андрея Ивановича оказывались книги Вольтера, язвительнейшего поэта-вольнодумца и философа-полемиста, одного из самых знаменитых и загадочных людей XVIII века — века, который в России иной раз так и именовали — вольтерьянским.

Желанными гостями в доме бывали путешественники, философы, ученые. Хозяин «владел даром слова, любил разговор, обмен мыслей и мнений, даже любил споры, но не по упрямству убеждений своих, не по тщеславию ума, довольного самим собой, но по любви к искусству и оживлению беседы». Здесь творились истинные пиршества ума и остроумия, собирались едва ли не все замечательные обитатели Москвы «грани веков» — восемнадцатого и девятнадцатого.

Знаменитый дипломат и бывший вице-канцлер граф Никита Петрович Панин, уволенный и отосланный Павлом I в Московскую губернию. Надо сказать, «легким испугом» отделался. То ли повезло не угодить под разгоряченную вспышкой гнева императорскую руку, то ли фамилия смягчила удар — память Павла о воспитателе своем Никите Ивановиче Панине, а скорей всего причиною тому — малозначительность вины: отказ вице-канцлера подписать бумагу, где в угоду государю факты подавались не правдиво, а льстиво, — стало быть, заменить, и дело с концом! Не то было бы, знай Павел, что в заговоре против него Панин — из главных действующих лиц...

Или адмирал Николай Семенович Мордвинов, знакомец Андрея Ивановича еще по Турецкой кампании, три года проживший в Англии, совершенствуясь в морском искусстве и знакомясь с конституционным образом правления. Либерал и сторонник политических

реформ в России, он открыто высказывал свои взгляды и в тесном дружеском кругу и каждому из четырех императоров, при которых ему довелось служить. Размолвки с правительством только увеличивали его популярность в обществе. Так было и при Екатерине, и при Павле. Очередная отставка как бы добавляла весу его мнениям. Пора наибольшего влияния Мордвинова — при дворе Александра I — была еще впереди. Именно его декабристы хотели видеть во главе временного правительства, которое собирались создать после победы. И именно его Николай I усадил на одно из мест в суде над декабристами, дабы испытать преданность, а заодно и «прикрыть» готовящуюся расправу общеизвестным мордвиновским либерализмом, впечатлить публику видимостью законности и беспристрастия своего суда. И Мордвинов — единственный! — высказался против смертного приговора...

Но это — в будущем. А пока перед нами — еще один отставленный Павлом государственный деятель, умный собеседник с острым политическим взглядом на положение в России, многими любимый, всеми уважаемый.

Здесь же — временно пребывающий не у дел, иначе говоря, в оппозиции, известный екатерининский дипломат граф Александр Романович Воронцов (брат его — Семен Романович, — павловский дипломат в Англии и «заочный заговорщик» 1801 года), один из первых читателей и почитателей Вольтера в России, покровитель и друг Радищева, по слухам, принимавший участие в издании «Путешествия из Петербурга в Москву». Ему вот-вот предстоит триумфальное возвращение в молодую российскую столицу — государственным канцлером. Взлет окажется недолгим, Воронцов проживет лишь несколько лет — и оставит «Записки о своем времени», которые любитель и знаток мемуаров поэт Вяземский сумеет оценить, быть может, лучше, чем кто-либо другой...

Чуть поодаль удобно расположился в кресле его племянник и воспитанник, сын сестры его, Марии Романовны, и крестник Екатерины II, граф Дмитрий Петрович Бутурлин. В молодости он увлекся либеральными теориями, в преддверии Французской революции просил императрицу отпустить его в Париж, получив отказ, рассердился, вышел в отставку (в двадцать два года!) и переехал жить в Москву. Блестящий лингвист

и полиглот, он поражал всех приезжавших в «белокаменную» знаменитых иностранцев способностью вести ученую и живую беседу о литературе, политике или истории любой европейской страны. Немалые средства и связи свои Бутурлин употребил на соби́рание уникальной книжной коллекции. Английский путешественник Кларк, побывав в доме Бутурлина в Немецкой слободе близ Яузы, писал, что «библиотека, ботанический сад и музей графа Бутурлина замечательны не только в России, но и в Европе». Другой путешественник-европеец высказался не менее восторженно: «Библиотека... несмотря на огромность зал, зимою постоянно отоплена. Довольно легко получить дозволение пользоваться ею. Здесь книги собраны не только для тщеславия; хозяин сам пользуется ими и предоставляет их другим». Много лет спустя Вяземский вспоминал: «Дмитрий Петрович никогда не выпускал из дома ни единой книги. Когда по каким-то уважениям он не признавал возможным отказать лицу, просившему его одолжить книгою для прочтения, он покупал другой экземпляр этой книги и отдавал на жертву просителю, свято однако соблюдая неприкосновенность своего книгохранилища... В страсти его к книгам была отличительная черта: он сам читал их на разных языках. Книжная память его была изумительна, он помнил, на какой странице находились мало-мальски замечательные слова». Библиографы и историки до сих пор горюют, что в пожаре 1812 года погибла эта библиотека, где было собрано почти все, изданное от начала книгопечатания в XV веке до конца XVI века и где хранились бесценные исторические документы (правда, есть основания думать, что часть ее была разграблена до пожара). Но и сам Бутурлин-собеседник, человек поистине необъятной учености, привлекал к себе не меньше, чем его знаменитая библиотека. У него бывали И. И. Дмитриев и Н. М. Карамзин, директор Московского университета И. П. Тургенев с сыновьями, дальние родственники — Василий Львович Пушкин и брат его, Сергей Львович с семейством...

Рядом с Бутурлиным — князь Александр Николаевич Голицын, друг детства будущего императора Александра Павловича, удаленный Павлом из Петербурга и с удовольствием принятый цветом московского общества. Это он полтора десятка лет спустя станет

министром народного просвещения — и поразит людей, давно его знавших, переменою в характере: будет всячески способствовать и ужесточению цензуры, и прочим ограничениям и стеснениям литературы и просвещения, что никак вроде бы не вязалось с либеральными декларациями Александра I времен его молодости. Но все же именно в это время через цензурное ведомство пройдут стихи и статьи, сделавшие Вяземского-младшего знаменитым поэтом и критиком.

Никак нельзя обойти вниманием еще одного — самого, пожалуй, постоянного — из гостей. Поэт Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий и князь Андрей Иванович Вяземский сдружились еще в молодые годы. И на всю жизнь. Начинал Нелединский с военной службы. Позже — на гражданском поприще — дослужился до сенаторского кресла. Среди увлечений его литература занимала место наравне с науками, прежде всего — с математикой. Щедро одарен был он разнообразными способностями, но так и не сосредоточил усилий на развитии ни одной из них. Как сказал о нем впоследствии П. А. Вяземский: «Природа была к нему расточительна, и сам расточал он дары ее». Тем не менее поэтические его опыты обратили на себя внимание современников, более всего — песни: «Песня его: «Выйду я на реченьку» пета была и красавицами высшего общества и поселянками посреди полевых трудов». Этот веселый, добрый и удивительно деликатный человек был всеобщим любимцем. Дружа с отцом, он и для сына стал более старшим другом, чем наставником. И одним из первых одобрил его юношеские стихи. От Нелединского, потомка старинного дворянского рода, жадный до истории молодой Вяземский многое узнал из хроники XVIII столетия. От него же, кстати, получил — на прочтение — рукопись потаенных «Записок» Екатерины Романовны Дашковой, сестры Воронцова, единственной женщины в русской истории, возглавлявшей и Академию наук, и Российскую Академию...

Среди этих и им подобных людей, привыкших на равных говорить с царями, имевших собственное суждение по важнейшим российским проблемам, рос будущий поэт. «...Вся эта атмосфера,— вспоминал он,— в которой я еще внутренне не жил, но которая окружала меня нечувствительно и почти незаметно, долж-

на была заронить в меня зародыши, развившиеся впоследствии времени». И нет ничего удивительного, что он, повзрослев, считал для себя нормою подавать правительству советы, указывать на ошибки, напоминать о запамätованных обещаниях, ибо власти необходима умная и неподкупная оппозиция — и ничего нет пагубнее для государства, чем единомыслие его граждан...

Вровень с этими людьми, считал отец, должен был стать со временем его наследник. Потому и составил он для сына обширную и разнообразную учебную программу. Однако осуществление ее продвигалось не особенно быстро. Единственным, что с детства находило свободный доступ к душе Петра Андреевича, оказалась поэзия. «После слышал я от прежних учителей своих, что я казался тупым и будто отсутствующим при преподавании; но если когда-нибудь, в уроке или в книге, приводились стихи или речь заходила о чем-то баснословном и поэтическом, то внимание мое внезапно просыпалось и сосредоточивалось. Лицо мое просияет, и я становлюсь совсем другим мальчиком... Впервые слышанные мною оды Ломоносова приводили меня в упоение. Не вникал я в их смысл, но с трепетом заслушивался странных и звучных их волн. От Державина я был без ума... Монологи и сцены из трагедий Расина и Вольтера, которые мне давали выучить наизусть, были для меня и прежде не уроками, а наслаждением...»

В 1802 году в дом Вяземских вступил новый гость, который стал для Андрея Ивановича излюбленным собеседником, а для его сына — на многие годы — идеалом человека и писателя, непоколебимым литературным авторитетом: и это для Вяземского, которого чуть ли не до конца его дней бесчисленно упрекали в отрицании авторитетов всех и всяческих! Николай Михайлович Карамзин.

Беседы и споры Андрея Ивановича и Николая Михайловича иной раз, начавшись среди дня, затягивались до позднего вечера. Много лет спустя Петр Андреевич припоминал, что они с сестрою не любили визитов Карамзина. Ведь тогда им приходилось, сидя в соседней комнате, изнывать от ожидания, пока увлеченный разговором отец вспомнит о них и позовет ужинать...

Еще больше невзлюбили Карамзина дети, когда

узнали, что он посватался и получил согласие главы семьи на брак со старшей, внебрачной дочерью князя Вяземского, Екатериной Андреевной Колывановой. Они-то знали ее «тайну»: романтическую, совсем как в романах, влюбленность в нее красивого молодого офицера, который, на их взгляд, куда больше походил на героя любовной истории, чем немолодой, спокойный, умудренный опытом писатель и придворный историк. Впрочем, брак оказался на редкость счастливым...

Летом 1805 года Андрей Иванович, убедившись в бесплодности, как ему представлялось, попыток домашнего воспитания сына, решил отдать его в иезуитский пансион патера Чижана в Петербурге: путешествуя по Европе, он интересовался в частности и системой образования в каждой стране, где бывал, — иезуитские учебные заведения произвели на него наилучшее впечатление и отличным подбором учителей, и разумною строгостью, не стесняющей без надобности свободы воспитанников. В программе этого пансиона было изучение французского, немецкого и русского языков (последнее особенно важно, потому что в ту пору господства в обществе языка французского многие даже хорошо образованные люди на родном языке говорили и писали с грубейшими ошибками), а также латыни, логики, риторики, греческой и римской истории, алгебры, наконец, обучение танцам, верховой езде и игре на скрипке...

Несмотря на домоседские привычки, Андрей Иванович взялся сам отвезти сына в Петербург. А перед отъездом продиктовал ему характеристику недостатков, которые следовало одолеть в первую очередь. «Вы не лишены ни ума, ни известного развития, — диктовал пятидесятилетний князь, — но ветреность вашего характера делает то, что вы отвлекаетесь всем, что вас окружает, сколь бы ни было оно незначительным и ничтожным. Лениность вашего ума, эта вторая причина вашего невежества, заставляет вас скучать и испытывать отвращение к изучаемым вами предметам в тот момент, когда они требуют особого внимания и прилежания. Пустота и бессодержательность вашего времяпрепровождения после классов — третья причина вашего невежества... Даже если вы и берете книгу, то это лишь от скуки и от нечего делать...»

Отец не делает скидок на то, что сыну — всего три-

надцать. Он строг, даже пожалуй чересчур: в пансионе обнаружилось, что Вяземский опережает сверстников в развитии, выделяется среди одноклассников остротою ума и довольно обширными знаниями. «Вскоре отношения мои,— вспоминал он,— связались гораздо теснее с воспитанниками старшего класса. Все они были старше меня; иные опережали меня четырьмя или пятью годами. Они возвысили меня до себя и обходились со мною, как с ровнею».

Андрей Иванович верно подметил в сыне некоторую разбросанность, отсутствие усидчивости, нежелание заниматься тем, что не увлекло, хотя считается полезным. Вскоре он уверился, что удачно выбрал учебное заведение для сына,— в письмах Петра Андреевича появились просьбы о разрешении на покупку книг, прежде всего французских: Лафонтена, Расина, Корнеля, Мольера, Монтеня, Монтескье и, конечно, Вольтера... Так началась библиотека, которая через полвека насчитывала около семи тысяч томов.

В пансионе литературные пристрастия Вяземского нашли благодатную почву: «В этой среде избранных товарищей ум мой и вообще настроение мое развивались и созревали не по годам, может быть, в некотором отношении даже слишком рано... Литература, особенно русская, была не чужда этому кружку... Державин, Карамзин, Дмитриев были нашими любимыми руководителями и просветителями... Многие из товарищей знали наизусть лучшие строфы Державина, басни, а еще более сказки Дмитриева...»

Вероятно, пансион принес бы Вяземскому, окончи он его, много пользы, основательно приготовил бы к самостоятельной жизни. Но вспыхнул скандал — из-за попытки обратить в католичество великого князя Михаила. Правительство решило изгнать иезуитов из России.

Некоторое время Вяземский обучался в другом пансионе — при педагогическом институте. Однако вскоре Андрею Ивановичу донесли, что сын начал вести чересчур «вольную» жизнь — под стать старшим друзьям своим из столичной молодежи. Отец обеспокоился — и в начале 1807 года приказал Петру Андреевичу воротиться в Москву.

За эти без малого два года многое изменилось. «Со вступлением Карамзина в семейство наше — русский

литературный оттенок смешался в доме нашем с французским колоритом, который до него преодолевал. По возвращении из пансиона нашел я у нас Дмитриева, Василия Львовича Пушкина, юношу Жуковского и других писателей».

Вяземский-старший был чужд предрассудков своего круга, где литературные занятия, хотя и не презирались, но считались делом несерьезным, годным разве что для развлечения и заполнения досуга. Да и мудро было, близко общаясь с Карамзиным и имея перед глазами пример Дмитриева, держаться такого мнения! Так что он уже готов был смириться с тем, что литературные интересы сына подавлять не стоит. И чтобы дать необходимое им развитие и образование, поместил Петра Андреевича в дом профессора Ф. Ф. Рейса на Воробьевых горах, договорившись, что лучшие преподаватели Московского университета будут читать ему лекции.

Об одном из этих преподавателей надо сказать особо.

Алексею Федоровичу Мерзлякову шел двадцать девятый год. Выходец из небогатой купеческой семьи, он, будучи учеником Пермского народного училища, написал стихи, обратившие на него внимание Екатерины II. Его определили на казенный счет в университетскую гимназию. Студентом он сблизился с Жуковским, бывал в доме Дмитриева и под его руководством совершенствовал свои поэтические опыты. За три года до встречи с Вяземским он возглавил в университете кафедру русского красноречия и поэзии. И вскоре ощутил сложность нового своего положения.

По одну сторону кафедры неколебимо высились хрестоматийно признанные поэтические авторитеты Сумарокова, Ломоносова, Хераскова, их сочинения, созданные в согласии с не подлежащими сомнению законами и правилами риторики; академические, из античности заимствованные образцы критического разбора литературных произведений учили главное внимание уделять форме, о содержательности же ее, если и упоминать, то вскользь, как бы к слову. По другую сторону располагалась публика, зачитывающаяся балладами Жуковского и элегиями Батюшкова, где все обращено в глубь души человеческой, где все, в том числе мифологические образы и ассоциации, подчи-

нено стремлению выразить единственность чувства, неповторимость переживания, где доверившийся поэту современник словно оказывается перед зеркалом, в котором распознает себя, свою внутреннюю жизнь.

Мерзляков в своих лекциях пытался выдвинуть на передний план именно национальное содержание произведений русской литературы — и прежней, и нынешней. Не случайно его выступления имели большой успех, собирали, помимо студентов, множество слушателей из различных кругов московского общества.

Это был даровитый критик и поэт, который, правда, так и не смог одолеть противоречия между развитым чувством поэзии, любовью к ней, и научным педантизмом, между «впечатлениями» и «правилами»...

Знакомство с мерзляковской критикой, понимание ее достоинств и слабостей пригодилось Вяземскому позже — когда работал он над своею критической прозой...

Впрочем, и на сей раз занятия продолжались недолго, с тем чтобы оборваться теперь уже навсегда. Двадцатого апреля 1807 года князь Андрей Иванович Вяземский умер. Перед смертью душеприказчиком своим и опекуном малолетних детей он назначил Нелединского — Мелецкого, а Карамзина просил быть руководителем умственного и нравственного воспитания сына, которому еще не исполнилось и пятнадцати...

Возрастом почти ребенок, а развитием и характером самостоятельный молодой человек, Вяземский унаследовал звучное родовое имя и крупное состояние. Он мог не тревожиться за будущее и целиком предаться занятиям, какие по душе. Незначительная должность в Межевой канцелярии, куда его зачислили, не требовала хождения «в присутствии», не отнимала ни времени, ни сил. Жил он то в Москве, то в Остафьеве, много читал и писал, занимался латынью. И в то же время стал завсегдатаем московских гостиных и салонов, где быстро — и надолго — завоевал признание остроумием и искусством вести живую и умную беседу.

«Послание Жуковскому в деревню» — первое опубликованное стихотворение Вяземского. Впоследствии он говорил, что только после встречи с Жуковским начал «писать правильно». Правда, эта дружба длиной в сорок пять лет началась с конфликта, дающего понятие о характере Вяземского. В обращении Жуковского

ему примерещился снисходительно-покровительственный тон, на который — он был в том убежден! — никакого права не давала ни девятилетняя разница в возрасте, ни уже утвердившийся литературный авторитет Жуковского. И юноша дал это понять резко и категорически. Но ссора не состоялась — ответ Жуковского попросту обезоружил Вяземского: «Я замечаю, что Вы по письму моему приписываете мне какую-то смешную гордость и вообразили, что моя старость хочет непременно учить Вашу молодость...»

Тогда же он повстречался с Александром Тургеневым, который стал ближайшим его другом — и оставался им до самой смерти в 1845 году. Можно даже сказать, что эта дружба дошла и до наших дней, сохранившись для нас в огромной переписке, изрядная часть которой издана в пяти томах «Остафьевского архива» и «Архива братьев Тургеневых». В этих письмах запечатлены важнейшие события жизни обоих друзей, содержатся глубокие размышления о политическом развитии Европы и России, даны проницательные и остроумные характеристики многим общественным и литературным деятелям-современникам. Рассказывая о Вяземском, без этой переписки обойтись невозможно. К тому же оба корреспондента превосходно владели эпистолярным жанром, мастерски находили слова и строили фразы, точно выражали мысли.

Александр Иванович Тургенев, второй из четырех сыновей И. П. Тургенева, родился в 1884 году, то есть был на восемь лет старше Вяземского. Детство провел в Симбирском имении, куда его отец, кстати, добрый знакомый А. И. Вяземского был выслан в 1792 году, после разгрома «типографической компании» Н. И. Новикова. Воспитателем Александра Ивановича и его старшего брата Андрея, замечательно одаренного, но рано умершего поэта, был женевец Георг Кристоф Тоблер, знаток немецкой литературы, лично знакомый с Гёте. Под его руководством братья занимались литературными переводами и делали первые шаги в самостоятельном сочинительстве. Когда в 1796 году умерла Екатерина II, И. П. Тургенев возвратился с семьей в Москву и был назначен директором Московского университета. Александр Иванович поступил в университетский пансион, где познакомился и сдружился с Жуковским.

В Германии — в Геттингенском университете — Александр Тургенев прослушал курс историко-политических наук. А затем поступил на службу в министерство юстиции, где принимал деятельное участие в трудах Комиссии по составлению законов и где дослужился до места директора Департамента духовных дел. В 1824 году вышел в отставку.

На рассвете тринадцатого июля 1826 года, в день казни декабристов, он уехал за границу — и оставшиеся ему двадцать лет провел преимущественно там. Много путешествовал, дважды встречался и беседовал с Гёте, осматривал архивы и библиотеки, работал в них, собирая сведения по древней и новой истории России. Материалы, обнаруженные им в Италии, Англии и Франции, были изданы двумя томами в 1841—1842 годах. Его ум, образованность и замечательную душевную отзывчивость ценили Карамзин и Дмитриев. Его дружеское участие поддерживало в трудные дни Батюшкова и Пушкина, Козлова и Баратынского. Благодаря его литературным связям и обезоруживавшему издателей обаянию удавалось анонимно печататься декабристам — ссыльным Федору Глинке и Александру Одоевскому, каторжанину Кюхельбекеру. Его богатые наблюдениями и стилистически безупречные письма из-за границы, образцом для которых в какой-то мере послужили карамзинские «Письма русского путешественника», публиковались в лучших журналах — в «Московском телеграфе», в «Литературной газете», а позже — в пушкинском «Современнике».

Все эти знакомства и поощрительные оценки, которые талантливые и взыскательные друзья давали литературным опытам Вяземского, постепенно утвердили его в правильности избранного пути. Смущало разве что одно: ни разу не слышал он до сих пор отзыва человека, чье мнение ставил превыше всех, — Карамзина. Правда, подопечный не показывал Николаю Михайловичу своих поэтических и критических работ, но кое-что из них уже появлялось в печати: кроме стихов, небольшая статья «Безделки», название которой намекало на стихотворные книги Карамзина «Мои безделки» и его друга Дмитриева «И мои безделки», — тем самым Вяземский давал понять читателю, какого направления он держится в литературе, чьему примеру следует, а затем и первая по-настоящему значительная

статья «Два слова постороннего». В ней уже вполне определенно заявлена позиция Вяземского-критика: его стремление затеять и предельно обострить полемику с литературными противниками и вовлечь в эту полемику читателя, привлечь его на свою сторону.

Конечно, от внимания Карамзина все это не ускользнуло. Но, разобравшись в натуре своего питомца куда тоньше и вернее, чем Вяземский-старший, он прекрасно понимал и то, что литература вполне может оказаться лишь преходящим увлечением порывистого юноши, не более того. На его веку их было немало, молодых людей, заметно и рьяно начинавших поэтический путь, обласканных авторитетами, но быстро выдохшихся и, не умея ничего другого, тускло прозябавших на задворках литературы.

Преждевременная похвала, считал Карамзин, опаснее, чем временное непризнание и даже недооценка юного таланта. Занятно, что это же мнение несколько лет спустя высказал и сам Вяземский:

**Немало видим мы в поэтах жертв несчастных
Успеха первого и первой похвалы...**

Карамзин не спешил поощрять поэтические и критические опыты Вяземского и вообще до поры обходил стороной, не касался этой стороны жизни воспитанника. Однако само общение с Карамзиным — изо дня в день, в бытовом семейном распорядке — оказалось для Вяземского значительнее любых наставлений и указаний. А напряженная работа мысли, возбуждаемая беседами с наставником, чтение только что вышедших из-под пера, едва чернила просохли, карамзинских сочинений решительно повлияли на стремительное умственное развитие Вяземского, да и на все, что делал он впоследствии.

С 1804 года целых двенадцать лет Карамзин жил в Остафьеве, лишь на зиму отлучаясь. Здесь им написаны семь первых томов «Истории государства Российского» (и вообще в судьбе главного труда карамзинской жизни имение Вяземских сыграло роль, можно сказать, спасительную: когда в пожаре 1812 года погибли московские бумаги Карамзина, основная часть материалов, рукописей, выписок, книг, хранившаяся в Остафьеве, которое война обошла стороной, уцелела). Здесь же в 1811 году создана «Записка о древней и новой

России в ее политическом и гражданском отношении», многочисленные попытки опубликовать которую полностью не удавались нескольким поколениям издателей без малого сто восемьдесят лет. Содержащиеся в «Записке» мысли об истории России, становлении ее государственности, о системе образования, экономическом и правовом укладах, наконец, здравые, без апологетики, характеристики всех российских монархов, включая и ныне царствующего, Александра Павловича, все это неизгладимо запечатлелось в сознании Вяземского. В многих его произведениях, вплоть до позднейших, можно обнаружить отзвуки карамзинских размышлений, согласие с некоторыми из его идей и полемику с другими...

Просторная карамзинская комната с белеными стенами, ничем не украшенными, и выходящим в парк окном ежедневно по многу часов оставалась не доступной ни для кого, кроме писателя, который работал за большим столом из некрашенных сосновых досок, ото всего отгородившись листами летописей и старинных книг, уходя мыслью и воображением в глубину веков и возвращаясь оттуда, чтобы занести еще несколько строк в медленно разрастающуюся «Историю...»

«Остафьево достопамятно для моего сердца: мы там наслаждались всею приятностью жизни, не мало и грустили, там текли средние, едва ли не лучшие лета моего века, посвященные семейству, трудам и чувствам общего доброжелательства, в тишине страстей мятежных», — вспоминал Карамзин.

Вяземский так никогда и не обрел образцовой карамзинской усидчивости и основательности в работе, остался верен неравномерному чередованию вспышек «запойного» литераторства и долгих отвлечений от пера и бумаги. Но понимание сущности писательского профессионализма, того, что талант — необходимое, однако далеко не достаточное условие успеха, что мало чего он стоит — без обширных знаний, огромного словарного запаса и стилистической раскованности, — это у него от Карамзина.

Он любил вышучивать собственную лень, неспособность неотрывно и сосредоточенно трудиться над стихами и прозой. И делал это так часто и охотно, что подчас вводил в заблуждение даже близких друзей.

Но в то же самое время — наедине с собою — раз-

мышлял о мастерстве писателя умно и тонко, учился выбранному ремеслу осознанно и рационально. И заносил в записную книжку: «Не довольно иметь хорошее ружье, порох и свинец. Нужно еще искусство стрелять и метко попадать в цель. Не довольно автору иметь ум, мысли и сведения, нужно еще искусство писать. Писатель без слога — стрелок, не попадающий в цель...»

Чем выше мастерство, тем менее оно обращает на себя внимание читателя, тем естественнее речь автора — и тем вернее у читателя складывается впечатление, будто иначе и сказать было нельзя! Писать, по мнению Вяземского, надо так, чтобы в написанном «работы след улыбки не пугал». И еще следует стремиться к лаконичной ясности, лишние слова только затуманивают мысль, топят ее в «изысканности» стиля. «Мы видим много книг: *нового издания, исправленного и дополненного*. Увидим ли когда-нибудь *издание исправленное и убавленное*».

Он выписывает из Вольтера: «Не употребляйте никогда нового слова, если нет в нем трех свойств: быть нужным, понятным и звучным». И не отклоняется от этого завета вводя в литературный обиход множество редких, а то и вовсе не употреблявшихся прежде слов и оборотов.

Он занимается фольклором, изучает народные пословицы, не только вдумывается в их смысл, но и старается понять, как они построены, благодаря чему мигом доходят до ума и легко запоминаются. Того же рода наблюдения он делает над ироническими пассажами Монтеня, парадоксами Вольтера, неотразимыми афоризмами Ларошфуко. Потом эти таинственные свойства, неразъемно переплетенные, обнаружатся в его стихах и статьях, многие строки которых станут «крылатыми».

Он старательно изучает латынь, становится превосходным знатоком поэзии Овидия и Горация. Во множестве читает сочинения французских, немецких, английских авторов, прежних и современных. Как бы прикидывает мысленно расстояние, какое предстоит как можно скорее преодолеть российской словесности, дабы наверстать отставание, стать вровень с литературой европейской.

Он вооружается для литературной борьбы, кото-

рой — он убежден! — не миновать. Ведь уже существует «Беседа любителей русского слова», возглавляемая Александром Семеновичем Шишковым — поэтом и автором «Рассуждения о старом и новом слоге русского языка», верующим, что все поэтические образцы уже даны предшественниками и надо только неуклонно им следовать (заблуждение, впрочем, неоригинальное: уже за полтора века до того Лафонтен, отвечая на упрек в заимствованиях из греческих и латинских предшественников, сказал, что «нам не превзойти древних — на нашу долю они оставили лишь славу хороших последователей»).

Разумеется, деятельность «Беседы» к этому не сводилась. Как установили впоследствии историки литературы, было в ней немало и такого, что благотворно повлияло на развитие, становление самобытной русской словесности, например, критическое отношение к попыткам не вполне продуманно, механически «пересадить на русскую почву» те или иные европейские «растения». Не случайно входили в «Беседу» не только явные «шишковисты», но и Державин, и Крылов, и Гнедич...

Однако то, что хорошо видно издали, в исторической ретроспективе, для современников далеко не так очевидно: для Вяземского и его литературных единомышленников «Беседа» была прежде всего объединением «староверов», противников любой новизны. И он кинулся было «собирать войско» на битву с нею. «Посмотри на членов Беседы, — писал он Александру Тургеневу, — как лошади всегда все в одной конюшне, и если оставят конюшню, так цугом или четвернею заложены вместе. По чести, мне завидно, на них глядя, и я, как осел, завидую этим лошадям. Когда заживем и мы по-братски и душа в душу, и рука в руку?..»

Но тут для Вяземского настала пора в очередной раз отвлечься от литературы, впрочем, вынужденно на сей раз. Два события произошли в эти годы — и веско повлияли на его дальнейшую судьбу.

Летом 1811 года Вяземский, простудившись во время купания, вынужден был остаться для лечения в доме, куда выбрался на пару дней погостить, — в семействе Кологривовых. Хозяин дома был в родстве с Тургеневыми, а хозяйка, Прасковья Юрьевна, послужившая, говорят, Грибоедову прообразом Татьяны Юрьевны в

«Горе от ума», доводилась родственницей, хотя довольно дальней, самому Петру Андреевичу.

Доктор определил воспаление легких. За больным ухаживала дочь Прасковьи Юрьевны от первого брака, княжна Вера Федоровна Гагарина. Она была старше Вяземского на два года, по тем временам, уже не «на выданье», еще не «старая дева», не особенно красива, но обаятельна и женственна, да ведь и Вяземский, как известно, Аполлоном Бельведерским себя не мнил... Словом, заметив, что молодые люди приглянулись друг другу, практичная мать постаралась поторопить помолвку дочери с богатым женихом. Однако беспокоилась она напрасно: потребовалось-то от нее одно только согласие на брак. Вяземский влюбился не на шутку и твердо решил жениться.

Этому намерению попытался воспротивиться Карамзин, полагавший, что девятнадцатилетнему его воспитаннику жениться рано, да и легко воспламеняющаяся душа Вяземского готова ошибиться, принять вспышку увлечения за истинную любовь... Ничего из этого не вышло: как четвертью века раньше отец, так теперь сын сумел настоять на своем — и восемнадцатого октября состоялась свадьба.

Этот любовный союз оказался удивительно прочным и долговечным. Вяземские прожили почти семьдесят лет в мире и согласии, неизменно поддерживали друг друга в трагические дни, каких им выпало немало: из восьми их детей четыре сына — Андрей, Дмитрий, Николай и Петр — умерли в младенчестве, пережили родители и трех дочерей — Марию, Прасковью и Надежду, и лишь сын Павел дожил до преклонных лет. Переписка Петра Андреевича и Веры Федоровны — свидетельство их душевной близости и взаимного уважения. И для друзей Вяземского княгиня Вера была ~~верным другом, поверенным их сомнений, тревог, неудач~~ — это отчетливо слышится в письмах к ней Пушкина или Александра Тургенева...

Второе событие коснулось судьбы не одного Вяземского, но всего поколения: Отечественная война 1812 года.

Отправив жену, ожидавшую первого ребенка, в Ярославль, Вяземский остался в Москве. За несколько дней до Бородинского сражения он писал Вере Федоровне:

«Сейчас получил я письмо от Милорадовича, который зовет меня к себе...»

Сорокалетний боевой генерал Михаил Андреевич Милорадович был одной из колоритнейших фигур в русской армии. В юности он посещал лекции в университетах Кенигсберга, Геттингена и Страсбурга. Немудрено, что образованнейшие из современников видели в нем достойного собеседника. Семнадцатилетним поручиком участвовал в шведском походе. Двадцатилетним командиром полка был под началом Суворова в итальянском и швейцарском походах. В 1812 году ему было поручено формирование в Калуге запасных войск.

За несколько дней до решающего сражения Милорадович со своим корпусом прибыл в Гжатск. Впереди его ждали отличия в нескольких битвах и слава героя войны. Это был, по словам очевидцев, прирожденный воин: в минуты наибольшей опасности он становился особенно оживлен и весел, на смертельный риск шел с видимым удовольствием и улыбкой на устах. А кроме того, он обладал особым даром говорить с солдатами, для которых был «своим», потому что делил с ними тяготы и невзгоды военной поры — не зря служил при Суворове.

Вяземский без промедления откликнулся на зов такого человека. Быть в сражении рядом с Милорадовичем означало непременно очутиться в самой гуще схватки. Гибель прошла на волосок от Вяземского — под ним убило двух лошадей...

«Я в Москве, милая моя Вера. Был в страшном деле и, слава Богу, жив и не ранен, но однако же не совершенно здоров, а потому и приехал немного отдохнуть... Дело у нас было славное, и французы крепко побиты, но однако же армия наша ретировалась... Пропасть знакомцев изранено и убито. Ты меня сохранила...» Письмо это написано через четыре дня после Бородина.

В ополчение Вяземский — из-за болезни — не вернулся. Первого сентября он вместе с Карамзиным выехал в Ярославль, а оттуда — с женою — в Вологду, где и настигли его известия о дальнейших военных событиях.

Здесь он встретился с Ю. А. Нелединским-Мелецким, который, узнав о вступлении Наполеона в Москву,

сказал, что никогда не возвратится в оскверненный неприятелем город. И сдержал слово: после изгнания французов из России отправился в Петербург, где и провел остаток жизни, полтора десятка лет.

Познакомился Вяземский и со служившим в Вологде поэтом Н. Ф. Остолоповым. В одну из встреч Петр Андреевич прочитал Остолопову письмо Александра Тургенева о пожаре Москвы. А несколько дней спустя тот показал Вяземскому стихи, где, перефразируя тургеневские строки, предсказывал: «Нам зарево Москвы осветит путь к Парижу...»

«Таким образом,— вспоминал Вяземский,— в нашем Вологодском захолустье выведен был ясно и непогрешительно вопрос, который в то время мог казаться еще весьма сомнительным в глазах полководцев, и в глазах дальновидных политиков. Недаром говорят, что поэт есть вещей...»

Через два с лишним года «путь к Парижу» победоносно завершился. Жизнь постепенно возвращалась в мирное русло. Однако течение ее уже не могло стать прежним — вялым, как бы сонным. На войне взрослеют быстро: поколение, ушедшее в армию совсем юным, вернулось зрелым, решительным, жаждущим действия и преобразований. Самодержавная Россия не давала возможностей употребить эти качества на пользу отечеству. Молодая энергия растрачивалась большею частью на пылкие разговоры в гостиных. Это дало Вяземскому повод иронически заметить: «Головы военной молодежи ошалели и в волнении. Это волнение — хмель от шампанского, выпитого на месте в 814 году... Эти будущие преобразователи образуются утром в манеже, а вечером на бале».

Но было и другое, что к иронии Вяземского не побуждало. В эти годы возникли два общества, которым предстояло сыграть важную роль в истории России. Первое — Союз благоденствия, объединивший будущих декабристов. Второе — литературный кружок «Арзамас», в котором собрались молодые литераторы и «сочувствующие», чтобы в открытой — на глазах у просвещенной публики — борьбе с «Беседою» преобразовать русскую литературу. Речь шла — не больше и не меньше — о политическом и духовном обновлении России. Одно было связано с другим. Потому-то друзья Вяземского Николай Тургенев (брат Александра Ива-

новича), Никита Муравьев, Михаил Орлов, будучи деятельными членами Союза благоденствия (который поначалу именовался Союзом спасения), входили и в состав «Арзамаса».

Сбылась давняя мечта Вяземского: его литературные единомышленники объединились и могли теперь жить «душа в душу и рука в руку». На собраниях «Арзамаса» царило веселье, шуточные протоколы этих собраний заставляют улыбнуться и сегодня, более полутора веков спустя. Члены кружка при вступлении, пародировавшем таинство посвящения в масоны, надеялись прозвищами-псевдонимами, взятыми из сочинений Жуковского. Сам Жуковский назывался по имени героини своей знаменитой баллады «Светлана», Александр Тургенев — «Золовой арфой», Василий Львович Пушкин, староста кружка, — «Вот я вас», Вяземский, принятый в «Арзамас» заочно, на первом же заседании пятнадцатого октября 1815 года — «Асмодеем», князем демонов...

Безудержное с виду «арзамасское» веселье было на самом деле далеко не безобидным и отнюдь не легкомысленным. Не только остроумными выпадами и насмешками, не только творчеством своих участников, но и самим обликом своим «Арзамас» противостоял чопорной «Беседе». Всем поведением арзамасцы как бы говорили: смотрите, какое это веселое, радостное дело — литература! Прав, прав Вольтер: все жанры хороши, кроме скучных!..

А если приглядеться повнимательней, увидим и то, о чем писал Вяземский: «Мы уже были арзамасцами между собою, когда Арзамаса еще и не было. Арзамасское общество служило только оболочкой нашего нравственного братства. Шуточные обряды, торжественные заседания — все это лежало на втором плане...» И в другом месте: «Это была школа взаимного литературного обучения, литераторского товарищества».

Это — воспоминания, «обратный взгляд», обыкновенно придающий прошлому недостающую ему стройность, логическую связность. Тем любопытнее почти буквальное совпадение этих строк с написанными Вяземским до возникновения «Арзамаса»: «...Мне казалось, что из избранных наших писателей составилось общество. Оно не звалось ни ученым, ни Беседою, ни академиею, и, к большой странности, не внесено

было в адрес-календарь, и потому не считали нужным украсить его людьми, впрочем, именитыми, никогда ничего не писавшими и редко читавшими, как случается иногда в наших академиях...» Здесь — намек, понятный современникам, а сегодня нуждающийся в пояснении, — камешек в огород Академии, не нашедшей среди мало кому ведомых имен места для Карамзина. Для того, чтобы достигнуть цели, ради которой «составилось» это общество, «лучшее средство есть действовать на общее мнение» — издавать свой журнал.

«Мой сон о русском журнале» — так назвал Вяземский заметки, откуда взяты процитированные строки. Всего несколько лет спустя этот сон едва не обернулся явью — в разработанном Вяземским проекте «арзамасского» журнала. «Какое средство имеем к достижению благородной мечты? — спрашивал он себя. И отвечал: — Влияние на публику; как похитить это влияние? Изданием журнала... Во-первых, польза журналов у нас очевидна, а во-вторых, журналов у нас большой недостаток. Во всех других просвещенных землях их гораздо более. Мы можем считать у себя двух только журналистов: Новикова и Карамзина... Нам остается сочетать в журнале примеры двух наших журналистов и разделить издание на три разряда: Нравы, Словесности, Политика. В первом объявить войну непримиримую предрассудкам, порокам и нелепостям... Во втором вести ту же войну с теми же врагами, стреляющими в нас, в здравый рассудок и вкус из окон Беседы и Академии: но вместе с тем, отучая публику от дурных примеров, приучать ее к хорошим и таким образом соединить в руке силу, разрушающую и созидательную. В политике довольствоваться простодушным изложением полезнейших мер, принятых чуждыми правительствами для достижения великой цели: *силы и благоденствия народов*».

Журнал «Арзамаса» не состоялся, несмотря на несколько попыток добиться права на его издание. А намеченную Вяземским программу удалось осуществить, да и то лишь отчасти, уже во второй половине двадцатых и в тридцатых годах — в «Московском телеграфе», «Литературной газете», «Современнике». Но об этом — позже...

Принимая Вяземского в «Арзамас», друзья видели

в нем одного из самых богатых идеями и энергичных членов этого общества, считали его уже вполне сложившимся журналистом и поэтом. Сам же он не желал говорить о своих стихотворных попытках иначе чем с улыбкою:

Пуškai, довольствуясь быть знаем в круге малом,
Я ни одним еще не овладел журналом,
И, пальцем на меня указывая, свет
Не говорит: вот записной поэт!
Но признаюсь, хотя и лестно, я робею:
Легко, не согласясь с способностью моею,
Обогатить, друзья, себе и вам на зло
Писателей дурных богатое число...—

делится он опасениями в послании «К друзьям» — к Батюшкову и Жуковскому. И получает ответ Жуковского:

Ты, Вяземский, хитрец, хотя ты и поэт!
Проблему, что в тебе ни крошки дара нет,
Ты вздумал доказать посланьем,
В котором на беду стих каждый заклею
Высоким дарованьем!..

В 1816 году, приехав в Петербург, Вяземский дебютировал со стихами в присутствии всего «Арзамаса». И получил, наконец, одобрение Карамзина — тем более ценное, что высказано было прилюдно. Не менее лестным стало — и на всю жизнь запомнилось, — что сидевший тут же Иван Андреевич Крылов не только слушал его с редкою заинтересованностью, но и попросил повторить одно из прочитанных стихотворений...

В этот же приезд Вяземский впервые встретился с лицеистом Александром Пушкиным, который, вступая вскоре в «Арзамас», выбрал прозвище «Сверчок», — дескать, из-за печки голос подает, из Царского Села...

О Пушкине Петр Андреевич узнал в конце 1815 года из письма Жуковского: «Я сделал еще приятное знакомство! С нашим молодым чудотворцем Пушкиным!.. Это надежда нашей словесности... Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет». А в другом письме — впечатление от новых пушкинских стихов: «Чудесный талант! Какие стихи! Он мучит меня своим даром, как привидение!»

И вот в марте 1816 года вместе с Карамзиным, Жу-

ковским, Александром Тургеневым, братьями Пушкиными — отцом поэта Сергеем Львовичем и дядей, поэтом Василием Львовичем, — Вяземский отправился в Царское Село. Так началась его дружба с Александром Пушкиным...

Казалось бы, судьба Вяземского складывалась ровно и благополучно. Образованный, талантливый, деятельный, занимающийся делом, приносящим радость, женатый по любви и не зависящий от службы и вообще от чуждой воли — чего еще желать! Однако он чувствовал себя способным на большее, чем есть. К тому же мало-помалу «привольная» жизнь заметно расстроила представлявшееся некогда незыблемым финансовое положение семьи: по выражению Вяземского, он «прокипятил» в карты с полмиллиона. А тут еще друзья отца — и более всех Карамзин — твердили, что негоже ему, сыну князя Андрея Ивановича, растрачивать жизненные силы в праздности, без пользы России. Да и сам Петр Андреевич ощущал прилив душевных сил, которым тесно становилось литературное поприще.

Он решил поступить на службу — не номинальную, а настоящую, где надо много делать — и можно многое сделать. Только чтобы служба эта была непременно при человеке, которого бы он уважал, чьи мнения ценил и — хоть отчасти — разделял. Он не спешил выбирать и приглядывался, пока, наконец, не показалось ему, что такой человек нашелся. Собственно, он знал этого человека и раньше.

Николай Николаевич Новосильцев — давний знакомец отца и Карамзина и один из приближенных императора Александра Павловича. Был, правда, случай, когда государь, желая угодить Наполеону, посоветовал своему любимцу, известному симпатиями к Англии, «поправить здоровье» где-нибудь подальше от Петербурга, ну, скажем, в Австрии. Но по возвращении в Россию — в разгар войны — придворное влияние Новосильцева и его либеральная репутация сделались прочнее прежнего.

Одно время ходили слухи о назначении его министром народного просвещения. И уже тогда Вяземский просил Александра Тургенева проведать о возможности службы в этом министерстве. Слухи, однако, не подтвердились.

...Пройдет каких-нибудь пять лет — и от либерализма Новосильцева не останется и следа: он «прославится» жестокими преследованиями любых проявлений национально-освободительного духа в Королевстве Польском (по-русски обыкновенно писали: Царство Польское). Особенно развернется эта мрачная фигура в следствии по делу польских молодежных организаций в Литве — «филоматов» и «филаретов» — в 1823—1824 годах. Мицкевич, участник этих кружков, арестованный вместе с другими, а после высланный в Россию, изобразит, уже находясь за границей, в эмиграции, эту роль Новосильцева в третьей части драматической эпопеи «Дзяды»...

Конечно, такой перемены в Новосильцеве, связанной к тому же с резким изменением в начале двадцатых годов всей политики Александра I, предвидеть Вяземский не мог. Он знал то, что было известно и другим. Шла осень 1817 года. Новосильцев — царский полномочный представитель в Варшаве — прибыл в Петербург, чтобы обсудить политические реформы, которые император решил «испробовать» в Польше, прежде чем начать их осуществление в России. Польша была выбрана «полигоном», понятно, не случайно.

Почти за полвека до того, в 1772 году, Россия, Австрия и Пруссия воспользовались тяжелым политическим и экономическим положением, создавшимся в Речи Посполитой, и заключили конвенцию о частичном разделе ее территории. А в следующем году вынудили польский сейм признать этот раздел. Как следствие, в Польше возникло и с каждым годом ширилось движение за реформы государственного строя. Национально-освободительная борьба стала своеобразной осью, вокруг которой вращалась едва ли не вся общественная жизнь страны.

В 1791 году была принята Польская конституция. Однако реакционные магнаты, резонно усмотревшие в конституции угрозу своему исключительному положению и многочисленным привилегиям, предали национальные интересы: призвали на помощь иностранные войска. Конституция была отменена. А немного позже собранный в Гродно сейм утвердил новый акт раздела части земель Речи Посполитой.

Это грозило уже полной потерей национальной не-

зависимости, на что народ ответил в 1794 году восстанием под руководством Тадеуша Костюшки. Восстание потерпело поражение. И в 1795 году состоялся третий раздел Речи Посполитой. В результате этого раздела собственно польские земли оказались поделенными между Пруссией и Австрией, а к России отошли белорусские и украинские земли, бывшие некогда под властью Великого княжества Литовского, земли литовские и латышские.

Через двенадцать лет Наполеон, разгромив Пруссию, из части захваченных ею польских земель создал зависимое от Франции Варшавское герцогство, дал ему конституцию, провозглашавшую, в частности, личную свободу крестьян.

После победы союзников над Наполеоном — на Венском конгрессе — польские земли вновь были переделаны: Александр I получил большую часть бывшего Варшавского герцогства; Краков с округом был объявлен «вольным городом».

Так под властью русского царя оказались этнографически польские земли. В то же время были у него и определенные обязательства перед поляками, среди которых он имел сильных сторонников, ожидавших политических реформ.

В ноябре 1815 года Александр I подписал подготовленный князем Адамом Чарторыским и его окружением проект конституции Королевства Польского, государственным устройством которого отныне становилась конституционная монархия. Конституцией предусматривалась выборность нижней палаты сейма, «посольской избы», утверждались неприкосновенность личности, свобода печати, признание польского языка официальным и так далее. Все это противоречило, конечно, самодержавному устройству Российской империи в целом, но для тех, кто тогда составляли окружение императора, не было неожиданностью. Он не раз говорил о несовершенствах «нынешнего устройства государственного управления» и о том, что в ближайшее время его «главнейшие занятия будут по сему предмету». В Польше был сделан первый шаг к общей для России политической реформе, к русской конституции. К тому же «польский опыт» давал возможность проверить на деле: ограничат ли — и если да, то насколько, — конституция и народное

представительство реальную, самодержавную власть, либо послужат ее укреплению и большей популярности? Потому требовалась особенная тщательность в его осуществлении, внимательный контроль, изучение непредсказуемых трудностей и препятствий, ведь после, в масштабах России, преодолеть их будет куда сложнее. Этим-то и были призваны заниматься Новосильцев и его канцелярия.

Вяземский не сомневался: дела, предстоящие в Польше, могут определить будущую судьбу России. Именно к такой деятельности на благо отечества он и стремился.

Желание его осуществилось неожиданно — с виду — легко. В 1817 году в Москву приехал генерал Михаил Михайлович Бороздин, старинный приятель отца Вяземского. По счастливому стечению обстоятельств тогда же в белокаменной оказались и Александр I со всем двором, и вызванный им из Варшавы Новосильцев, с которым Бороздин издавна был в добрых отношениях. «Однажды пригласил он меня обедать с Новосильцевым, — вспоминал Вяземский, — представил и, так сказать, без особенных предварительных объяснений со мною передал меня ему на руки. Новосильцев благосклонно принял меня: участь моя была решена, если не против воли моей, то, так сказать, помимо воли моей...» Надо сказать, что почва уже была подготовлена Карамзиным, ходатайствовавшим перед государем о службе для воспитанника — сообразной его имени, наклонностям и способностям. Так что дальнейшее произошло как бы само собой: Александр Павлович назначил Вяземского в канцелярию Новосильцева — «для иностранной переписки».

Вяземского ничуть не смущало, что он начинает служебную карьеру в том вполне зрелом — по понятиям девятнадцатого века, знававшего и двадцатилетних генералов и двадцатипятилетних министров, — возрасте, когда его сверстники и некоторые из друзей уже успели достигнуть высокого положения в государственной иерархии, а иные — даже и в отставку уйти, посвятив себя семье и «гостиным». Потому что карьера как таковая и прежде не прельщала его, и ныне не она соблазнила. Он полагал, что сумеет наверстать «опоздание», то есть преодолет, наконец, все более увеличивавшийся с годами разрыв меж многочис-

ленными замыслами и практической деятельностью, меж проектами и предприятиями...

Духовной энергии для этого накопилось предостаточно: не нашла она желаемо полного выхода ни в литературных занятиях — стихах, статьях, ни в «Арзамасе», где даже проект журнала оказался неосуществимым, но и не перекипела, не растратилась по пустякам, по разговорам, долгим и пылким, однако ни к чему реальному — к поступку и результату — не ведущим; копилась она, сгущалась, будто бы ждала своего часа. Теперь все недвусмысленно указывало на то, что этот час наступает. Как же не воспользоваться предоставляющейся — и блестящей — возможностью!..

Так подошел к завершению первый — «вольный» — период жизни Вяземского. С большими надеждами на будущее — и без сожалений о минувшем. Как и подобало поэту, Вяземский простился с ним стихами.

Прости, халат! товарищ неги праздной,
Досугов друг, свидетель тайных дум!
С тобою знал я мир однообразный,
Но тихий мир, где света блеск и шум
Мне, в забытьи, не приходил на ум...

Конечно, лирику — еще с катулловых времен, если не раньше, — на роду написано, сам Бог велел воспевать уединение! По традиционным представлениям, оно — благо для творчества: тем большее, чем дальше пребывает поэт в его мгновения от «забот суетного света», чем глубже погружен он в «праздность», без которой поэзия взнуздана и стеснена в движениях.

...С тобой меня чуждались суеты,
Ласкали сны и нянчили мечты.
У камелька, где яркою струею
Алел огонь, вечернею порою,
Задумчивость, красноречивый друг,
Живила сон моей глубокой лени.
Минувшего проснувшиеся тени
В прозрачной тьме толпились вокруг.
Иль в будущем, мечтаньем окрыленный,
Я рассекал безвестности туман,
Сближая даль, жил в жизни отдаленной
И, с истинной перемешав обман,
Живописал воздушных замков план...

Отказаться от всего этого добровольно — ради чего бы то ни было! — поэту непросто. Однако Вяземский сам сделал такой выбор, никто не неволил. И все равно — без печальных нот не обойтись. Но откуда вдруг взялась тревожная?

**Прости! Тебя неверный друг покинет.
Теснясь в рядах прислужников властей,
Иду тропой заманчивых сетей.
Что ждет меня в пути, где под туманом
Свет истины не различишь с обманом?..**

Он вполне откровенен с самим собой: не таит, что в решении его есть место и «заманчивым сетям» честолюбия, отдает себе отчет в том, что, как ни чисты помыслы, но вступает-таки «в ряды прислужников властей», к которым всегда относился, мягко говоря, скептически. Тут дает себя знать удивительное свойство стихов, как бы независимо от автора высветляющих, проясняющих, выводящих на передний план то, что в обыденных, «прозаических» размышлениях почти не обращало на себя внимания, чуть ли не ускользало. Недаром, по слову философа, назвать — значит познать. И дальше — еще резче, еще определеннее:

**И новичок еще в науке гибкой:
Всем быть подчас и вместе быть ничем
И шею гнуть с запасною улыбкой
Под золотой, но тягостный ярем;
На поприще, где беспрестанной сшибкой
Волнуются противников ряды,
Оставляю я на торжество вражды,
Быть может, след своей отваги тщетной
И неудач постыдные следы...**

Впрочем, какое же начинание обходится без беспокойных предчувствий! Веровать в них во все — так, пожалуй, и с места не сдвинешься...

Ему — двадцать шесть. И все прошедшее теперь видится не более чем предисловием к жизни. Пора испытать — что же дальше, там, в самой книге?..



Глава III. «...И с бала я попал в ухаб!..»

Правительство... должно всегда идти навстречу к общему мнению, а не дожидаться, чтобы оно разбежалось и сшибло его с ног... Речь государя, у нас читанная, кажется, должна быть закускою пред приготавливаемым пиром...

*Из письма Вяземского к Александру
Тургеневу, июнь 1818 года*

Злоупотребления режутся на меди, а добрые замыслы пишутся на песке. Я здесь не долго прожил, а успел уже видеть, как разнесло ветром начертание прекрасных предположений... И самые честные люди из видных не что иное, как временщики: по движению сердца благородного бросаются вперед; по привычке трусить — при первом движении августейшего махалы отскакивают назад...

*Из письма Вяземского к Александру
Тургеневу, июнь 1820 года*

Опасливые предчувствия словно бы ищут подкрепления в дурных приметах. По завершении сборов к отъезду в Варшаву выяснилось, что придется задержаться. Прасковья Юрьевна Кологривова давала бал в

честь Александра I и его семьи, дочь и тем более зять ее, только что поступивший на службу, все непременно должны были при сем присутствовать. Поэтому, отправив накануне детей, «чтобы застраховать их от дурного наития понедельничного глаза», лишь на рассвете понедельника сумел он выехать из Москвы — без чересчур неприятных последствий, впрочем, если не считать гаковыми дорожную простуду да еще стихи, внушенные подобным ухабу под полозом «крутым переворотом из бальных платьев в дорожные»:

**Над кем судьбина не шутила?
И кто проказ ее не раб?
Слепая приговор скрепила —
И с бала я попал в ухаб!..**

И сразу же просятся в строки сравнения — одно другого хлеще. Потому что эта заснеженная дорога, как ни ухабиста, все безопаснее и спокойнее, чем та, состоящая сплошь из невидимых глазу ям и ухабов, предстоящая ему теперь неведомо на сколько дней, месяцев, лет...

**Тебя до места, друг убогий,
Достоинство не доведет;
Наедет случай и с дороги
Как раз в ухаб тебя столкнет...**

**Хоть выровнен паркет придворный,
Но встретишь ямы и на нем;
Простак в них сядет, а проворный
Готов вскарабкаться ползком...**

Ну уж нет, такое — не для него!.. Хотя, вероятно, при резкой смене рода деятельности и столь прямое предостережение уместно, иметь его в виду — нелишнее...

А все же — откуда этакая мрачность? Вокруг и впереди — ровным счетом ничего, что наводило бы на нее. Разве не сбылись его чаяния и не едет он служить в единственный «конституционный уголок» империи, в Польшу, которую Александр I наметил участком для производства «опытов правительственного либерализма»? Разве не хочет он всею душой — быть как только возможно полезен в этих опытах, он и язык польский загодя, еще в Москве начал учить ради этого... Так почему же тогда не видит он никаких обнадеживающих просветов в настроении своем? Впрочем, стоит только

захотеть, взглядеться пристально до самовнушения, — и они появятся...

С жильем в Варшаве тоже поначалу нескладно получалось: трижды пытался он обустроиться на новом месте, да все как-то неуютно, не по себе было. Лишь четвертая попытка удалась вполне — Вяземский поселился на Краковском предместье, неподалеку от Королевского замка. «Из спальни видим через узкую улицу Вислу, а из гостиной — площадь, на которой торчит Сигизмунд III... Таким образом окружены мы историей и поэзией... Время здесь самое интересное... «Ум хорошо, а два лучше», говорит пословица: пусть она будет девизом Конституции... Пускай конституция на бумаге родится у нас от конституции на деле: я, как Митрофанушка, не к географу пойду узнавать о ближайшей дороге в город, но к ямщику...» Он еще не разобрался, будучи во власти первых впечатлений, полагает, что польские порядки «на деле», переведенные «на бумагу», благодетельно распространятся на всю Россию, правда, высказывается не без осмотрительности: и себя легковерным «недорослем» готов представить, и письмо итог подводит сдержанно — «...здесь есть какие-то вздохи свободы», не более того...

Служебное поприще его началось под добрыми знаками. Новосильцев к нему благоволил. Да и великий князь Константин Павлович, брат государя и его ближайший поверенный в польских делах, принял нового чиновника в высшей степени любезно. Это — первая встреча. Их путям предстояло перекрещиваться еще не раз.

Второй сын Павла I, Константин, воспитывался вместе со старшим братом под наблюдением бабки, Екатерины II («Его воспитание так же, как и мое, было плохо поставлено», — оценит позже Александр Павлович, отвечая в дружеском разговоре на вопрос о брате). Старшего готовили к роли наследника российского престола; помышляла даже всевластная императрица из собственных рук передать ему скипетр и корону, обделив ими единственного сына, которого терпеть не могла, равно как и всякое напоминание о приведшей ее на трон «внезапной кончине» мужа, Петра III. К тому же, устроенная ею ранняя женитьба любимого внука на принцессе Баденской Луизе (будущей императрице Елизавете Алексеевне), породненность с цар-

ствующим домом Вюртембергским плюс исторически возможные, хоть и далеко не бесспорные претензии на крупнейший германский порт Киль давали Екатерине повод надеяться на то, что стремительно шедшее при ней разрастание Российской империи на восток потомки ее сумеют распространить и на запад, вплоть до французских границ, и на юг, сделав, наконец, Россию истинным Третьим Римом. В осуществлении этих далеко идущих замыслов было поле деятельности и для второго внука.

Увлечшись одним из проектов (вернее сказать — прожектов) светлейшего князя Потемкина и вдохновившись его крымскими победами, она задумала изгнать турок из Европы и Малой Азии, а освобожденные от них земли сызнова объединить в Константинопольскую империю. И посадить на трон внука, которому, кстати, даже имя для этого случая было подобрано специально — Константинополь, как известно, был основан Константином Великим, перенесшим сюда столицу из Рима. Созвучие имен виделось ей верным предзнаменованием. Однако ничего не вышло.

Вынужденный распротиться с мечтами о державной власти (заметим, справедливости ради, без особенных сожалений), Константин решил сделаться полководцем — и великим, не иначе. Но, увы, таланта военачальника судьба ему не уделила. И дальше командования гвардией в войне с Наполеоном он так и не пошел. А после победы с удовольствием обосновался в Варшаве, будучи главнокомандующим польской армией и, обладая, в сущности, всей полнотою власти в Королевстве Польском. В искренне добрых чувствах поляков к себе он был простодушно уверен, да и наделавшая изрядного шуму женитьба его на Иоанне Грудзинской, во всяком случае поначалу, добавила ему популярности среди шляхты. Брак был очевидно неравным. И согласия Александра добился Константин дорогой ценой, поступком, повлекшим, как оказалось, долгие последствия в российской истории: в строжайшей тайне он подписал свое отречение от престола в пользу Николая — на случай смерти бездетного старшего брата...

Впрочем, сам Константин вряд ли считал эту цену непомерной: властвовать Россиею он в ту пору уже не очень-то и стремился. Главною заботой его была армия,

предметом же особой гордости — польская кавалерия...

• Однако удержаться на гребне этой волны популярности он не сумел — и сам был в том повинен. Неудовлетворенное смолоду тщеславие, которого Константин не умел ни преодолеть, ни скрыть, резкость, грубость характера, которую он скрывать и не пытался, постепенно восстановили против него и армию, и аристократию, и простое население.

Но это — после. А пока он — вместе со всеми — нетерпеливо ожидает приезда в Варшаву императора Александра I, который намерен произнести речь на предстоящем открытии польского сейма.

Над этой речью Александр начал работать еще в январе — сделал наброски и передал их для развернутого изложения графу И. А. Капидострии. Однако остался неудовлетворен этим «соавторством»: отверг все замечания и поправки, продиктованные осторожностью, желанием сохранить открытым путь к отступлению. И в конце концов составил весь текст сам. В Варшаву он прибыл первого марта — и еще две недели, консультируясь, в частности, с Константином и Новосильцевым, вносил не менявшие сути дополнения и уточнения, стремясь высказать свои намерения ясно и недвусмысленно. Решимость, с какою он, обыкновенно в критических ситуациях склонный к сомнениям и колебаниям, действовал на сей раз, свидетельствовала, что речи этой придается значение исключительной важности.

И пятнадцатого марта 1818 года Александр сказал речь. Он говорил по-французски — и перед поляками, для которых его слова тут же были переведены на польский, — но все сказанное было откровенно рассчитано на то, что его услышит вся Россия.

«Образование, существовавшее в вашем краю, дозволяло мне ввести немедленно то, которое я вам даровал, руководствуясь правилами законно-свободных учреждений, бывших непрестанно предметом моихмышлений, и которых спасительное влияние надеюсь я, при помощи Божьей, распространить и на все страны, Провидением попечению моему вверенные. Таким образом вы мне подали средство явить моему отечеству то, что я уже с давних лет ему приуготовляю и чем оно

воспользуется, когда начала столь важного дела достигнут надлежащей зрелости...»

Для того, чтобы пошло дословно передаваться из уст в уста, сказано, пожалуй, несколько громоздко, отягчено оговорками, но все же смысл совершенно ясен: быть Конституции не только в Польше, но и во всей России!

Конечно, есть и кое-какие невнятности. Которую, например, «зрелость» можно считать «надлежащей»? Ведь если понимать буквально, то лишь с наступлением этой самой «зрелости», никак не раньше, начнется в России «конституционное правление». И стало быть на волнующий всех прямой вопрос — когда? — прямого ответа в выступлении государя не содержится.

Однако как-то не хочется, неуместным кажется прислушиваться к сомнениям, морщиться скептически, в такой истинно исторический момент, когда самодержец обещает долгожданные перемены, слово в том дает перед лицом всей Европы. И не потому, что вынужден, что власть его покачнулась и стала выглядеть непрочною. Наоборот — он никогда не чувствовал себя так уверенно, как теперь, когда, по общему мнению, он — победитель Наполеона, когда блестящая эта победа еще у всех в сознании — и дает противникам реформ все основания утверждать, что самодержавие в России стоит незыблемо, доказало в войне превосходство свое над иными государственными устройствами и на многое способно еще в нынешнем своем состоянии, стоит ли искать добра от добра! То, что начинает осуществлять Александр I, он делает не по воле обстоятельств, но обдуманно и добровольно...

Чиновникам канцелярии Новосильцева было велено срочно перевести речь Александра на русский язык — для публикации. Вяземскому поручили руководить ответственной частью работы — свести воедино розданные разным переводчикам куски, отредактировать, придать тексту естественность и чистоту завершенности. Это не вполне удалось — из-за отчаянной спешки. Но «государь переводом был доволен».

Все это произвело на Вяземского сильное впечатление. Хотя, как и во всех без изъятия случаях, оптимизм его отнюдь не был безоговорочным — и проскользнула как бы невзначай в письме к Александру

Тургеневу ироническая нотка: «...Он говорил от души или с умыслом дурачил свет»,— Вяземский, право, не был бы собою, когда б не допускал и такой возможности.

И далее: «На всякий случай я был тут, арзамасский уполномоченный слушатель и толмач его у вас. Можно будет и припомнить ему, если он забудет... Государева речь обдала законноположительным (извините меня: я человек придворный. При Македонском покрывил бы я шею; при нашем кривлю языком) паром православный народ, и все заговорило языком законно-свободным (не взыщите и здесь)...»

И все-таки поводов для хорошего настроения пока несравненно больше, чем для колебаний и тревоги. Перевод речи опубликован в газетах. И хотя мысли Александра I о конституции не новы, а некоторые, например, о возможности соединить неограниченное самодержавие с «народным представительством», едва ли реалистичны, прозвучав на всю Россию — и на весь мир! — они привлекли пристальное внимание, всколыхнули всех.

В России речь эту услышали, прочитали, поняли именно так, как оратор того хотел. Декабрист Матвей Иванович Муравьев-Апостол вспоминал, что варшавское выступление Александра разбудило «неописанный восторг во всей мыслящей молодежи». Ему вторили такие трезвые, критически настроенные люди, как Николай Тургенев, Михаил Лунин, Михаил Орлов. Они верили, что осуществление государева замысла — вопрос времени и только. Потому что «гласное изъяснение имеет силу закона в самодержавном правлении».

Однако были и суждения противоположные. А. П. Ермолов писал, что подобная попытка преобразований губительна, потому что, лишившись опоры в дворянстве, правительство не найдет ее и в народе, так что «в руках правителя останется одна власть истребления, то есть силою оружия заставлять покорствовать народ своей воле, когда законы запрещают раболепствовать перед нею!» Остается надеяться, что «не последует никакой перемены, то есть государь при жизни своей оной не пожелает».

В том же духе, хотя и помягче, высказался М. М. Сперанский: «Во всех государствах мало, а у

нас еще менее людей, кои знают различие между свободою политическою и гражданскою. По всей вероятности, смысл речи относится прямо к первой; вторая же *может быть* или по крайней мере *должна быть* отдаленным и постепенным ее последствием».

Словом, как водится, известие о близящихся реформах выявило в обществе весь спектр чувств: от восторга до уныния, от решительной поддержки до полного неприятия. Отныне реформатор был обречен на критику с обеих сторон: слева — за медлительность, справа — за поспешность...

Редкое исключение среди охваченных заразительным этим умонастроением являл собою Карамзин, умудренный опытом историческим и, пожалуй, лучше других знавший Александра со всеми его благими намерениями и человеческими слабостями. Он был далек от восхищения государственным устройством российским, взять хотя бы вот эти строки из его «Записки о древней и новой России»: «Везде грабят, и кто наказан? Ждут доносов, улики, посылают сенаторов для исследования, и ничего не выходит! Доносят плуты — честные терпят и молчат, ибо любят покой. Не так легко уличить искусного вора — судью, особенно с нашим законом, по которому взяточбратель и взяточдатель равно наказываются. Указывают пальцами на грабителей — и дают им чины, ленты в ожидании, чтобы кто на них подал просьбу. А сии недостойные чиновники в надежде на своих подобных им защитников в Петербурге беззаконствуют, смело презирая стыд и доброе имя, которого они условно лишились. В два или три года наживают по несколько сот тысяч и, не имев прежде ничего, покупают деревни». Тем не менее тон его отклика откровенно скептичен: «Варшавские речи,— писал он к ближайшему своему другу Ивану Дмитриеву,— сильно отозвались в молодых сердцах: спят и видят конституцию, судят, рядят, начинают и писать... И смешно, и жалко! Но будет, чему быть...»

Говорить такое в кругу тех же «арзамасцев» не имело смысла: оглушенная собственным энтузиазмом молодежь такого голоса попросту не услышала бы, и даже расслышав — не поверила бы.

Петербургские и московские друзья и единомышленники Вяземского оказались полностью во власти на-

дежд на светлое будущее, хотя знали они только речь Александра.

Что же тогда говорить о самом Вяземском, которому было известно намного больше! Во-первых, он, переводивший и другую речь государя — семнадцатого апреля, на закрытии сейма, — поневоле вчитался в нее: «Свободно избранные должны и рассуждать свободно. Через ваше посредство надеюсь слышать искреннее и полное выражение общественного мнения, и только собрание, подобное вашему, может служить правительству залогом, что издаваемые законы согласны с существенными потребностями народа». Более отчетливого подтверждения приверженности царя к гласному и свободному обсуждению нужд государства нельзя было и желать.

Во-вторых, уже в мае он принял участие в подготовке к работе над конституцией для России: в канцелярии Новосильцева делался перевод на русский язык польской конституции; двадцать второго июля Вяземский заметил в письме к Александру Тургеневу: «...Я ее отвалял...»

Наконец, еще чуть позже там же приступили к главному — к составлению «Государственной уставной грамоты Российской империи», то есть проекта конституции: слово Александра, по всему судя, торопилось стать делом.

«В канцелярии у нас был юрист и публицист француз Deschamps, — вспоминал Вяземский. — Ему Новосильцев передавал соображения и мысли свои: француз, набивший руку во Франции в изготовлении и редакции подобных проектов, писал их, так сказать, прямо набело. Переливка этих работ в русские формы наложена была на меня».

Таким образом, идеи проекта принадлежали Новосильцову, у которого, кстати, уже был опыт такой работы: за несколько лет до того он по поручению Александра I принимал деятельное участие в составлении польской конституции. Конкретным развитием и юридическим обоснованием этих идей занимался П. И. Пешар-Дешан, служивший при Новосильцеве с 1799 года. А на русский язык текст переводил Вяземский (при этом ему — по желанию «заказчика» — пришлось решать специфическую задачу: ни слово «конститу-

ция», ни производные от него в переводе не встречаются ни разу).

В октябре 1819 года во время очередного визита царя в Варшаву основные положения проекта были утверждены.

Правда, внезапная смерть Дешана затормозила работу. Однако к маю следующего года проект был готов и представлен Александру. А к осени — окончательно доработан.

Все это вершилось в глубочайшей тайне. Достаточно сказать, что в конце 1820 года даже царские министры не ведали, что конституция написана. И что достаточно росчерка пера Александра I, чтобы она стала реальностью, законом. Вяземский верил, что перо уже очинено и занесено над бумагою: при встрече с ним в Петербурге — во дворце на Каменном острове — царь был очень приветлив, сказал, что знает об его участии в проекте, доволен им...

Оставалось терпеливо ждать. Но пробудившаяся жажда деятельности требовала выхода — и немедленного. Потому Вяземский с жаром занялся, несомненно, острейшею российской проблемою, без решения которой конституция останется лишь бумажными листками, испещренными пустыми словесами. Первое дело — отменить крепостное право, разрушить рабство, в которое ввергнут темный, непросвещенный народ.

Тут надо сказать, что при всей разноте откликов на мартовскую речь Александра I, одно из произведенных ею впечатлений было общим: это — «сигнал» о назревшем и намеченном вскоре освобождении крестьян. Ходили даже упорные слухи, что указ об этом последует уже в августе 1818 года.

**И крепостных рабов по милости судьбы
В России крепостной искать нам не со свечкой...**

«Там, где учат грамоте, там от большого количества народа не скроешь, что рабство — уродливость и что свобода, коей они лишены, так же неотъемлемая собственность человека, как воздух, вода и солнце, — писал Вяземский к Александру Тургеневу в феврале 1820 года. — Рабство — на теле государства Российского нарост; не закидывая взоров вдаль, положим за истину, что нарост этот подлежит срезанию, и начнем толковать

о средствах, как его срезать вернейшим образом и так, чтобы рана затянулась скорее».

В этом стремлении у него были сильные сторонники. Прежде всего — Николай Иванович Тургенев, крупный правительственный чиновник и один из самых деятельных членов Союза Благоденствия. Его отклик одобрил Вяземского: «Мысли ваши об освобождении крестьян совершенно согласны с мнением тех людей, которые здесь имеют какое-нибудь мнение о сем важном предмете».

Сам Николай Иванович занимался «сим важным предметом» уже довольно давно. И даже проверил на деле некоторые из теоретических своих размышлений. Летом 1818 года он отправился в симбирскую деревню, принадлежавшую ему и двум его братьям. В сентябре Александр Тургенев сообщал Вяземскому: «Брат возвратился из деревни и тебе кланяется. Он привел там в действие либерализм свой: уничтожил барщину и посадил на оброк мужиков наших, уменьшил через то доходы наши. Но поступил справедливо, следовательно, и согласно с нашею пользою...» Этот опыт получил известность широчайшую. Именно на него намекал в «Евгении Онегине» Пушкин:

**В своей глуши мудрец пустынный,
Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил;
И раб судьбу благословил.**

Намек был рискован. К моменту публикации этой главы романа в стихах Николай Тургенев числился государственным преступником, приговоренным по делу декабристов «в первом разряде» — к смертной казни. Спасло его то, что во время декабрьских событий он находился в Англии — и остался в эмиграции.

Однако это будет еще нескоро, семь лет спустя. А пока на дворе — год 1818. Возвратившись в столицу, Николай Иванович вскорости издал книгу «Опыт теории налогов», в которой обосновывал и доказывал необходимость экономических реформ в России, в их числе — первоочередной — отмены крепостничества. Успех книги был необычаен: появившись в ноябре, она к концу года уже была распродана и в следующем мае вышло новое издание. Популярностью повсеместной, вплоть до великосветских салонов, это «скучное» эконо-

номическое сочинение могло поспорить с увлекательнейшими романами: вопросы, в нем затронутые, волновали всю Россию. Не осталось незамеченным и то, что весь доход от продажи книги автор отдал в помощь крестьянам, привлеченным к судебному ответу за недоимки...

В 1819 году Милорадович, к тому времени — петербургский генерал-губернатор, предложил Николаю Тургеневу составить записку о надобностях и путях отмены крепостного права — для Александра I. В записке этой Тургенев рассказал, что, по его мнению, следует сделать, чтобы постепенно подготовить отмену рабства в России. Царь записку одобрил, тем и кончилось...

Но такова, видно, судьба большинства неудавшихся предприятий: они оборачиваются чуть ли не противоположностью своею. Когда Николай Тургенев очутился в изгнании, брат Александр, чтобы материально его обеспечить, продал то самое симбирское имение — вместе с крестьянами! — примерно за четыреста тысяч рублей, огромную по тем временам сумму! На эти деньги Николай Иванович и прожил за границей больше сорока лет. Правда, Александр Иванович долго и придирчиво выбирал покупателя — и наконец хозяином имения стал его двоюродный брат, поклявшийся к тому же «любить и уважать» крестьян (и вынужденный несколько лет спустя их перепродать — уже безо всяких клятв). Однако факт остается фактом. Один из самых толковых и решительных противников крепостного права в трудную для себя минуту воспользовался — хоть и не без угрызений совести — деньгами, вырученными от продажи крепостных.

История эта рассказана здесь вовсе не затем, чтобы уличить ее героев в непоследовательности, тем паче — в лицемерии. Дескать, на словах проповедовали одно, а как дошло до дела — поступили наперекор убеждениям, так сказать, поступились принципами. Крепостное право издавна лежало в основании всей российской государственной постройки. Оно вросло в сознание и психологию людей того времени — в большей или меньшей мере, но всех. Потому даже радикальнейшие его отрицатели полагали, что надобно заменить фундамент и перестроить здание так осмотрительно, чтобы оно, не дай Бог, не рухнуло. Они зара-

нее и тщательно обдумывали каждый шаг, стараясь действовать постепенно и предупредить возможные неожиданные последствия.

Исторического обоснования этому замыслу долго искать не пришлось. Оно лаконично и ясно изложено опять-таки в карамзинской «Записке о древней и новой России». Рабская зависимость крестьян от землевладельцев была давней, но не вечной. «В девятом, десятом, первом-на-десять веке,— говорит Карамзин,— были у нас рабами одни холопы, т. е. или военнопленные и купленные чужеземцы, или преступники, законом лишённые гражданства, или потомки их, но богатые люди, имея множество холопей, населяли ими свои земли: вот первые, в нынешнем смысле, крепостные деревни. Сверх того, владелец принимал к себе вольных хлебопашцев в кабалу на условиях, более или менее стеснявших их естественную и гражданскую свободу; некоторые, получая от него землю, обязывались и за себя, и за детей своих служить ему вечно... Другие же крестьяне, и большая часть, нанимали землю у владельцев только за деньги, или за определенное количество хлеба, имея право по истечении урочного времени идти в другое место. Сии свободные переходы имели свое неудобство: вельможи и богатые люди санивали к себе вольных крестьян от владельцев мало-сильных, которые, оставаясь с пустою землею, лишались способа платить государственные повинности. Царь Борис отнял первый у всех крестьян волю переходить с места на место, т. е. укрепил их за господами — вот начало общего рабства». Тут кончается следование реформаторов за Карамзиным, весьма скептически относящимся к обозримо-скорому освобождению крестьян без убийственных для государства последствий.

Значит, нужен другой союзник.

Александр Тургенев разыскал и скопировал для Вяземского указ Петра I, начинавшийся так: «Обычай в России есть продавать людей, как скотов»,— а затем шло повеление «Сенату заниматься придумыванием средств к искоренению этого обычая». Только дальше бумаги дело не двинулось. Теперь указ вполне мог стать сильным козырем в игре — Александр I любил исторические параллели, выказывающие его достойным наследником Петра Великого...

К тому же в XVIII веке указ этот, конечно, не был тайною для просвещенных россиян. Можно предположить, что именно его имея в виду, Сумароков написал:

**Ах! должно ли людьми скотине обладать?
Не жалко ль? Может бык людей быку продать? —**

строки, которые Вяземский вписал в записную книжку и процитировал при случае, о котором стоит рассказать. Это — история выкупа крепостного стихотворца Ивана Сибирякова у помещика Маслова.

В 1818 году в одном из журналов появилась статья «Природный русский стихотворец». К ней было приложено несколько стихотворений Сибирякова. Судьбой его заинтересовались Вяземский, Жуковский, Федор Глинка, Михаил Орлов, братья Тургеневы. Однако помещик и слышать не хотел о том, чтобы дать ему «вольную». Предпринятые попытки выкупить Сибирякова из крепостного состояния тоже ни к чему не привели. Тогда решено было обратиться за помощью в этом деле к Милорадовичу, охотно откликнувшемуся. Положение, саркастически определенное Вяземским: «Один из первых сановников империи должен просить представителя первого сословия в империи о продаже человека...»

Положение Милорадовича были слишком высоко, влияние слишком значительно, чтобы рязанский помещик осмелился ему отказать. Он и не отказал, но согласие его — и по форме и по смыслу — оказалось таково, что красноречивее некуда: «...Сибиряков обучен еще кондитерству, почему для занятия должностей, ныне им отправляемых, должно заплатить значительную сумму... Считаю не превосходную цену получить за него 10 000 рублей, дабы процентами с оной мог платить занимаемую услугу вместо Сибирякова, не стесняя издержек на воспитание малолетних детей моих...» О детях малолетних особенно к месту и к слову пришлось: а ну как из-за продешевления яблоки от яблони далеко откатятся!..

Сумма была неслыханной! И все же ее собрали — по подписке. Пятьсот рублей дал Вяземский. Передавая деньги помещику, спросили: быть может, возьмет он лишь половину, тоже немало? Но тот, куражась, отвечивал, что благородный человек должен быть ве-

рен слову — сказал «десять тысяч» и не уступит ни рубля!..

Такое замечательное понятие о благородстве следовало по достоинству отметить — предать всю историю огласке. Тогда-то Вяземский и вспомнил сумароковские стихи. А в собственном стихотворении «Сибирякову», обращаясь к крепостному поэту, написал:

**Кто мыслит, тот могущ, а кто могущ — свободен.
Пусть рабствует в пыли лишь тот, кто к рабству сроден.
Свобода в нас самих...—**

и, помянув помещика, предостерег:

**Но ты страшись его завидовать породе,
Ты раб свободный, он — раб жалкий на свободе...**

Стихи разошлись в списках и немало способствовали огласке. А напечатаны они были только через шестьдесят лет...

Случай этот тем сильнее задел Вяземского, что диссонансом резанул по душе, настроенный на скорые перемены в России: «Орлов пишет из Киева: «Сибирякова выкупим мы, но нас кто выкупит?» — «Дети наши, если всё пойдет подобру-поздорову», — буду я отвечать ему...»

Надо еще сказать, что столь горячее участие Вяземский принял в судьбе человека, чей поэтический талант оценивал весьма скромно. «Вообще, сердце у меня не лежит к поэтам-самоучкам, — признавался он. — Ломоносовых из них не выходит, а отчуждаются они от среды, им свойственной и в которой могли бы они быть полезны себе и своим, и насильственно ввергаются в коловорот, который, рано или поздно, разбивает их...»

Он оказался прав: Сибиряков вскоре бросил заниматься литературой. Но не в том дело, если удалось сделать на земле одним свободным человеком больше!

Слово поэта не расходилось с делом: в крестьянине, «холопе», он видел не раба, но человека. И предлагал поправку к привычному словоупотреблению: «Несправедливо называем холопами царедворцев. В своих холопах найдете мало льстецов и суеверных обожателей господской власти. Напротив, таковых, если найдутся, приличнее называть *царедворцами*. Вообще в служителях домашних встречаешь какую-то врожденную независимость и недоброжелательство, которые могут быть

очень неприятны для службы, но утешительны в отношении человечества...»

Это не отвлеченное рассуждение, но отзвук отношений Вяземского с крепостными. Недаром «вольнотпущенники» его обыкновенно оставались в имении. И когда получивший «вольную» управляющий попросил не отлучать его от места, Вяземский отметил в письме к Александру Тургеневу, что, стало быть, верность его не на рабстве была основана.

Вместе с тем, ратуя за отмену крепостного права, он понимал, что именно по крупным помещикам, таким, как братья Тургеневы или он сам, эта мера ударит всего чувствительнее. «Мелкопоместному не трудно будет искать в другом промысле двух или трех тысяч рублей, которые он в поте лица вытягивает из крови своих рабов; но нашему брату не легко будет вызывать из земли сто тысяч рублей, которые теперь, лежа на боку, выкачиваем, как насосами, из своих...»

Однако строить благополучие свое исключительно на рабстве себе подобных — все равно, что прикуривать, сидя на пороховой бочке. «Хотите ли ждать, чтобы бородачи топором разрубили этот узел? И на нашем веку, может быть, праздник этот сбудется. Рабство — одна революционная стихия, которую имеем в России. Уничтожив его, уничтожим всякие предбудущие замыслы. Кому же, как не нам, приступить к этому делу?» Иного способа предотвратить революцию, по его мнению, быть не могло. Значит, следовало прибегнуть к этому. Не говоря уже о том, что мирный путь — по твердому убеждению Вяземского — главное условие всех будущих преобразований в России.

В стихах можно сказать об этом, например, так:

**Природы старший сын, ближайший братьев друг
Свободно поведет в полях наследный плуг,
И светлых нив простор, приют свободы мирной,
Не будет для него темницею обширной...—**

и ничего более не добавлять, не разъяснять. Когда же разговор переходит от поэзии к практике, того и гляди, вдумчивый слушатель поинтересуется: ну, хорошо, допустим, вы правы в обозначении цели, да не мешало бы прояснить, какие меры предлагаете для ее достижения?

Вяземский предлагает: «Святое и великое дело было бы собраться помещикам разного мнения, но единодуш-

ного стремления к добру и пользе, и без всякой огласки... рассмотреть и разбить подробно сей важный запрос, домогаться средств к лучшему приступу к действию и тогда уж, так или сяк, обнародовать его и мысль поставить на ноги...»

Сказано — сделано! В мае 1820 года граф Воронцов, князь Меншиков, граф Потоцкий, братья Тургеневы и князь Вяземский подписали и подали Александру I записку, «в которой верноподданнейше просили его о позволении приступить теоретически и практически к рассмотрению важного государственного вопроса об освобождении крестьян от крепостного состояния...» Просьба была совершенно умеренная. Да и разве не это же самое два года назад сулил государь, выступая в польском сейме, в числе многих и разнообразных конституционных благ! Но как-то успел позабыться эпизод, почти одновременно со звучанием знаменитой речи случившийся...

В мае 1818 года Николай Тургенев рассказывал Вяземскому в письме: «В номере 17-м «Сына Отечества» прошу вас заметить статью об иностранных крестьянах. Она написана... против одной статьи, в которой доказывается, что иностранные крестьяне бедны, несчастны, бегут толпами в Россию; и всё это оттого, что они не крепостные. Статья «Сына Отечества» произвела много суждений в публике и много толков. Все же кончилось тем, что начальство запретило печатать такие статьи, как *pour*, так и *contre**. Это совсем неудивительно, ибо у нас все кончится или запрещением, или приказанием. Когда-то нам запретят быть хамами и прикажут быть порядочными людьми... При этом нельзя не подивиться, что, если запрещают рабство бранить, то вместе запрещают и хвалить его...»

Вряд ли правительство всерьез верило, что, запретив полярные крайности в упоминаниях о крепостном праве, оно тем самым хоть кого-либо убедит, что рабство — в порядке вещей, и спорить тут не о чем. Цель была поскромнее: перекрыть гласное выражение мнений на сей счет, потому что любые пристрастные высказывания вызывают отклик и взывают — между строк — к действиям. Вяземский это понимал: «В обширной спальне России никакие будильники не допускаются...» А

* *Pour* — за; *contre* — против.

многочисленные, со всех сторон обступающие запреты — не что иное, как признание власти в собственной слабости.

«Верноподданнейшая» записка, равно как и прежде изложенные соображения Николая Тургенева, не имела успеха у царя. Будущее — из светлого — становилось все более туманным.

Однако Вяземского это не тревожило. Пожалуй, ни до, ни после не жил он так собранно и напряженно, как в те варшавские годы, неизменно оказываясь в центре событий, чтобы подтолкнуть их и направить, куда считал необходимым. «Все интеллектуальные поры мои были растворены, я точно жил душою и умом», — вспоминал он. Литературные занятия, недавно бывшие главным, если не единственным, делом, отодвинулись на второй план: «Стихи мне почти надоели; черт ли в охоте говорить всегда около того, что мыслишь и чувствуешь, а там вдруг вырвется хороший стих, коего мысль себе присваиваешь из хозяйственного расчета...»

Подобное состояние бывало хорошо знакомо и другим поэтам. Пушкин, признавшись, что «лета к суровой прозе клонят», устремился — вслед за Карамзиным — в исторические труды. Тютчев уделял своим политическим размышлениям и статьям куда больше внимания, чем гениальной философской лирике. Грибоедов видел оправдание жизни в том, что он — автор грандиозного (и, как оказалось, неосуществимого) дипломатического проекта, а не создатель великой русской комедии. Рылеев главным своим делом считал не стихи, а участие в политической борьбе, в декабристском движении, и провозглашал: «Я не Поэт, а Гражданин...»

Однако и в самые бурные «нелитературные» времена «хорошие стихи» то и дело «вырывались» из-под пера Вяземского.

Волшебницей зимой весь мир преобразован;
Цепями льдыстыми покорный пруд окован
И синим зеркалом сравнялся в берегах...
Там ловчих полк готов; их взор нетерпеливый
Допрашивает след добычи торопливой, —
На бегство робкого нескромный снег донес;
С неволи спущенный за жертвой хищный пес
Вверяется стремглав предательскому следу,
и довершает нож кровавую победу...

Это «Первый снег». Стихи, заученные Пушкиным наизусть и принесшие Вяземскому славу лирического поэта. Из них — эпитафия к первой главе «Евгения Онегина». На них сослался Пушкин, когда в пятой главе написал:

**Согретый вдохновенья богом,
Другой поэт роскошным слогом
Живописал нам первый снег
И все оттенки зимних нег;
Он вас пленит, я в том уверен,
Рисую в пламенных стихах
Прогулки тайные в саях...—**

и все понимали, кого он имеет в виду.

Они и впрямь прекрасно запоминаются, эти звучные строки, эти картины, набросанные сверкающими поэтическими красками, эта элегически светлая печаль:

**Но в памяти души живут души утраты.
Воспоминание как чародей богатый,
Из пепла хладного минувшее зовет
И глас умолкшему и праху жизнь дает...**

Не менее знаменитым стало написанное тогда же стихотворение «Уныние», одно из тех, о которых Пушкин говорил, что читатель легко может узнать князя Вяземского «в стансах метафизических»:

**Уныние! вернейший друг души!
С которым я делю печаль и радость,
Ты легким сумраком мою одело младость,
И расцвела весна моя в тиши...**

Но тишина нарушена. Окружающая — внешняя — жизнь резко поколебала душевное равновесие, расстрожила, подтолкнула к действию:

**В душе моей раздался голос славы:
Откликнулась душа волненьям на призыв;
Но, силы испытав, я дум смирил порыв,
И замерли в душе надежды величавы.**

**Не оправдала ты честолюбивых снов,
О, слава! Ты надежд моих отвергла клятву,
Когда я уповал пожать бессмертья жатву
И яркою браздой прорезать мглу веков!..**

У поэзии Вяземского словно бы есть эхо, сопровождающее его жизнь, чтобы снова и снова возникнуть в стихах. Пятьдесят с лишним лет спустя поэт вернулся,

умудренный опытом, к тем же словам и к тому же ритму, будто стихотворение и не прерывалось — только до поры до времени продолжало жить вдали от читательских взгляда и слуха:

Нет, слава лестное, но часто злое бремя,
Для слабых мышц моих та ноша тяжела.
Что время принесет, пусть и унесит время:
И человек есть персть, и персть его дела...

Уныние — такое, каким написал его Вяземский, — пожалуй, самое устойчивое внутреннее его состояние. Это — как бы черта отсчета для всякого душевного движения.

«Я думаю, мое дело не действие, а ощущение, — заносил он в записную книжку, — меня надобно держать как комнатный термометр: он не может ни нагреть, ни освежить покоя, но никто скорее и вернее его не почувствует настоящей температуры». Сравнение понравилось точностью — он не раз потом повторял его в письмах.

В той же записной книжке, несколько страниц спустя, размышляя о назначении писателя в обществе, Вяземский снова употребил сравнение «физическое» — словно бы с компасом, хоть и не названным прямо: «Писатель не есть правитель. Он наводит на прямую дорогу, а не предводительствует».

Легко продолжить этот ассоциативный ряд. Например, обратить внимание, что в «термометре» было нечто и от «барометра»: он не только точно показывал, что есть, но чутко предвидел, предсказывал перемены общественной и политической «погоды». И прогнозы эти, как правило, вполне подтверждались событиями.

Очевидная щедрая одаренность, искренний интерес к чужим, но не чуждым, национальным обычаям и культурным традициям, терпимость к иным взглядам и мыслям — в сочетании с отточенностью суждений и остроумной манерой их изложения — снискали Вяземскому признание в варшавском обществе. Поначалу замкнутый и отчужденный, он довольно скоро нашел среди поляков немало друзей. Двери всех знаменитых домов были для него открыты. И не потому только, что он — родовитый аристократ, способный повлиять на решение наиболее острых польских проблем. Двери,

быть может, и открывались перед именем, но сердца — перед умом и характером.

Среди русских чиновников в Варшаве Вяземский был «белой вороной». Большинство из них, держась друг друга, целеустремленно выслуживали чины — он стремился как можно глубже понять Польшу и поляков: совершенствовался в польском языке, следил за местными газетами и литературными новинками, стал завсегдатаем театра, который — по его словам — «был тогда для поляков не только развлечением и забавою, но и священным историческим преданием и народным служением». Увлёкся он и польской классикой — литературой, культурой, историей. Одним из первых среди русских писателей Вяземский принялся за поэтические переводы с польского — и друзей своих звал к тому же. Несомненной его удачей стали переводы басен замечательного деятеля польского Просвещения, крупнейшего польского поэта и прозаика XVIII века Игнация Красицкого.

В августе 1818 года Вяземский совершил большое путешествие по Польше. В его записках мелькают десятки названий: Новое Място, Коньске, Радошице, Лопушно, Малогощ, Жарновец, Величка... И тут же — зарисовки, беглые характеристики каждого из местечек, зорко подмеченные детали народного быта и черточки национальных нравов. Вяземский легок и неприхотлив. Быстро сходится с людьми. Может часами оживленно беседовать. Или танцевать «до упада мазурку», так что партнерша изумленно вскинет брови: «Вы танцуете совсем как польская нация». А потом — проспаться до утра в коляске...

Легкость естественно уживается с серьезностью мыслей и занятий. В Кракове Вяземский пытливо осматривает один из старейших в славянских странах, основанный еще в XIV веке Ягеллонский университет с его европейски знаменитой библиотекой, богатой редкостными фолиантами и уникальными рукописями. Трезво замечает, что «русские любимы, может быть оттого, что австрийцы и пруссаки ненавидимы...» Присматривается к жизни освобожденных от крепостной зависимости крестьян — и видит в ней не одни только светлые стороны. Скажем: кто должен помогать им, если засуха, недород, голод? В России — по закону, хоть и не всегда исправно соблюдаемому, это обязан-

ность помещика, иначе его имение попадет под опеку казны. С освобождением крестьян закон этот, понятное дело, утратит силу. Значит, надо предусмотреть меры, которые смогут его заменить...

Он многое сумел увидеть и понять. И сделал вывод: «Польша когда-нибудь России откроется, и Россия упрекнет себя в нелепом предубеждении...» Толки о «природной» враждебности поляков к России — миф, настойчиво и с выгодой для себя поддерживаемый самодержавием: в оправдание и прежней и нынешней своей политики. Раздел Польши он считал роковой исторической ошибкой, но, коль скоро она уже совершена, надо постараться смягчить и постепенно искоренить ее последствия. Потому что «диктаторство штыков дело пагубное не от того, чтобы воины были непросвещеннее и безнравственнее других, но оттого, что опасно видеть вооруженную силу, присвояющую себе и силу управляющую».

Надо сказать, что эта точка зрения до некоторых пор совпадала с мнением Александра I, считавшего ошибочной польскую политику бабки, Екатерины II, и одно время как будто всерьез подумывавшего над тем, как поправить дело. «Под восстановлением Польши, — пояснял он в одном из писем, — я имею в виду соединение всех бывших частей Польши, включая и области, отошедшие к России, кроме Белоруссии, так, чтобы границами Польши являлись Двина, Березина и Днепр». Но благие намерения государя таковыми и остались...

Все, что Вяземский наблюдал вокруг во время путешествия и по возвращении в Варшаву, мало-помалу убеждало: надежды на перемены, смягчения во внутренней политике прочных оснований под собою не имеют, скорее всего правительство так и не станет распространять на Россию «либеральных польских опытов», на деле — не на словах — толком и не начатых, а напротив — попытается и Польшу окончательно подчинить жестким порядкам остальной империи.

В письме к Михаилу Орлову, написанном в 1820 году, уже на исходе пребывания Вяземского в Польше, он давал понять, что вконец распростился с воодушевлением, которое было вызвано два года назад варшавскою речью Александра I и продолжает властвовать

умами либерально настроенной части русского общества: «Не быть им свободными, пока мы будем в цепях; не царствовать у них законам, пока у нас Божиею Милостью будет царствовать самовластие». Вряд ли удастся распутать клубок, который потянули не за тот конец нитки. Начинать-то надо с России — только в том случае, если в ней будет принята и утвердится конституция, свобода беспрепятственно распространится: от центра к окраине, но не от окраины к центру...

Издаেকে, едва ли не первым среди современников он заподозрил, что у «дней александровых прекрасного начала», как сказал Пушкин, будет, скорей всего, далеко не прекрасное продолжение. Разрушительное противоречие заключалось в том, что «тайна», с первых же дней плотно окутавшая все связанное с работой над русской конституцией, никак не вязалась со словами царя о великой пользе гласности — и лишала его единственной, по сути, возможности переменить и решающим образом привлечь на свою сторону общественное мнение, которое теперь оказалось прикованным к бесплоднейшему из занятий — к не ограниченному сроками ожиданию перемен...

Стоит подивиться остроте политического чутья Вяземского: изначально и вскользь допуская, что Александр «с умыслом дурачил свет», то есть и Россию, и Европу, а после безусловно уверовав в то, никак не мог он знать, что «преданный без лести» Аракчеев отозвался о знаменитой речи в сейме, опираясь более на осведомленность свою, не на догадки: «...это такая вещь, которую мудрость императора предполагает для заграничных газет...»

Нет сомнений, что эти настроения, свое отношение к происходящему Вяземский открыто выражал не только в письмах и записях «для себя».

Именно они сделали его желанным гостем в польских гостиных, будь то дом боевого генерала Юзефа Зайочка, ставшего наместником Польши и получившего княжеский титул, или писателя Юлиана Урсына Немцевича, сподвижника Тадеуша Костюшки в восстании 1794 года, отсидевшего два года в Петропавловской крепости и освобожденного после воцарения Павла I, восемь лет прожившего в Америке, автора пьес, стихов и прозы, из которых самыми знаменитыми были комедия «Возвращение депутата» и книга «Исто-

рических песен», патриотических дум, напоминавших о временах независимой Польши (одну из них — «Глинский» — перевел и включил в свою книгу «Думы» Рылеев).

Много позже, в 1828 году, как раз Немцевич сообщит Вяземскому, что тот единогласно избран членом Общества любителей наук в Варшаве — за «постоянное доброжелательство к нашему несчастному народу...»

Прожив два года в Варшаве, Вяземский уже не пытался отгонять от себя мрачные предчувствия, напротив — зорко искал им подтверждений. И находил. Когда в 1820 году в Троппау собрались члены Священного союза, державшие под своим «диктаторством штыков» — после победы над Наполеоном — всю Европу и почитавшие потому себя вправе распоряжаться судьбою любого из европейских народов, Вяземский насторожился: началось! «В старые годы народы могли еще питать надежду изредка поживиться за счет ваших личных ссор: теперь заключили вы между собою полное перемирие, чтобы все свои средства сосредоточить против общего врага: против народов...»

В высокопарных речах о великой исторической пользе, которой неустанно готовы служить все члены Священного союза, о всеобщем благе, заботы о котором якобы только их и занимают, он ясно расслышал то, ради чего, собственно, и затеялось пышное представление: «...этот Конгресс не что иное, как заговор самодержавия против представительного правительства» — то есть против любых попыток ограничить монархию. Прогноз начал сбываться.

Заручившись полной поддержкой союзников, Александр I отправился домой. По пути остановился в Варшаве — и снова, как два года назад, выступил перед сеймом. Только теперь он обошелся без завораживающих либеральных посулов, речь его звучала совсем по-иному.

Открывая второй сейм Королевства Польского, император был сух, сдержан и предостерегал от вредоносного влияния «якобинских идей». Все прежние обещания, с которыми он предстал некогда перед лицом России — и Европы, — были преданы забвению. Он дал слово? Но разве он не хозяин слову своему? Вот и берет его назад...

Конечно, истинной причиной отказа Александра I

от реформаторских планов было сильное и все нарастающее сопротивление им подавляющей части дворянства, да и в заграничных союзниках он не почувствовал поддержки. Однако для современников крушение реформ персонифицировалось в нем.

Можно ли гордиться точностью своего предвиденья, если, осуществившись, оно полнит душу отчаянием? Сколько месяцев назад было отправлено письмо, в котором он убеждал Александра Тургенева: «Нас морочат, и только; великодушных намерений на дне сердца нет ни на грош. Хоть сто лет он живи, царствование его кончится парадом, и только».

Хлесткая метафора неожиданно реализовалась: он увидел в Варшаве парад. И не поленился описать это зрелище — символ самодержавной России: «Дождь, сырость с неба так и падает, а вся кавалерия мочится на учении. Разумеется, и государь тут. Вот что они называют царствовать. Глупость пуще неволи».

С убийственной иронией он разбивал «аргументы» царя, которые тот считал достаточными, чтобы объяснить — и оправдать — отказ «даровать» России законную свободу. «Народ еще не созрел для конституции! — говорят вам здесь и там. Басенная лиса говорила: виноград зелен! Лисы исторические говорят, что мы зеленые для винограда... Деспотизм — зло; а зло может ли быть приготовлением добра?.. Прошу покорно, России созреть для конституции под солнцем Аракчеевых, Турьевых и прочих!..»

Нет оснований сомневаться в первоначальной искренности благих намерений Александра I. Как и в том, что отказ от них стал причиной глубокого душевного кризиса, отмеченного всеми близкими к царю в последние годы его жизни. Но было здесь и другое. Он охотно воспользовался случаем создать себе добрую репутацию в просвещенной Европе и, казалось, был готов подтвердить ее — делом. Когда же дошло до дела, у противников реформ нашелся союзник в самом характере Александра, крайне болезненно относившегося к утрате хотя бы крупицы своей власти. Эту черту «властителя слабого и лукавого» подметил в «Мемуарах» близко его знавший польский и русский государственный деятель князь Адам Ежи Чарторьский. Он писал, что Александру Павловичу «нужны были только наружный вид и форма, воплощения же их в действитель-

ность он не допускал. Одним словом, он охотно согласился бы дать свободу всему миру, но при условии, что все добровольно будут подчиняться исключительно его воле».

Не особенно, впрочем, полагаясь на «добровольность», Александр и возглавляемый им Священный союз провозгласили в Троппау свое «право» силою подавлять революционное движение в любой стране, не испрашивая на то «дозволения» у ее правительства. Он не сомневался: что и как бы ни происходило, непременно найдутся дипломаты, историки, журналисты, писатели, достаточно искусные, чтобы представить его всеевропейским миротворцем.

Вяземскому было ясно, что самодержцу всея Руси «звание примирителя дорого и по сердцу... для того, что дает средство при первой искре, вылетающей из трубы где бы то ни было, сесть в коляску и ускакать от России, которая дома, как неугомонный заимодавец, не дает ему покоя ни днем, ни ночью, требуя уплаты векселей, давно протестованных перед судом людей и небес...»

Не сдерживая язвительности, рисует он образ царя, вращающего Россией «с почтовой коляски».

Он и друга своего, мягкого и доброго Жуковского, живущего при дворе, обучающего жену царя русскому языку и сочиняющего романтические баллады и элегии, пытается убедить: «...Полно тебе нежитьсь в облаках: спустись на землю и пусть по крайней мере ужасы, на ней свирепствующие, разбудят энергию души твоей. Посвяти пламень свой правде и брось служение идолов. Благородное негодование — вот современное вдохновение!»

Слово сказано. Конечно, требовать такого от Жуковского немислимо, вернее сказать — бесконечно наивно: уж в этом-то Вяземского не заподозрить. Ну, да и не о Жуковском он говорит — о себе. Ртутный столбик «термометра», о котором он недавно писал, стремительно пополз вверх и замер на высшей точке. Стихами обозначено начало отсчета. Это — «Уныние». Стихами отмечен и предел: «Негодование».

**Я правде посвятил свой пламенный восторг;
Не раз из непреклонной лиры
Он голос мужества исторг.**

**Мой Аполлон — негодование!
При пламени его с свободных уст моих
Падет бесчестное молчанье
И загорится смелый стих.**

Смелость была осознанной. Вяземский отдавал себе отчет в том, что у такого стихотворения нет никаких шансов пройти через цензуру, которая готова видеть недозволенные намеки даже в учебнике грамматики. «Негодование» еще в замысле предназначалось не для печати. Не о нем ли слова поэта в письме к Александру Тургеневу: «Дай срок; я на горах свободы взгромоздил такую штуку, что только держись: так Сибирью на меня и несет...»? И не о том ли говорил он в другом письме — в самый разгар работы над «Негодованием»: «Теперь не время осторожничать. Пусть правда доходит до ушей, только бы не совсем пропадала в пустынном воздухе...».

**Негодование! огонь животворящий!
Зародыш лучшего, что я в себе храню,
Встревоженный тобой, от сна встаю
И, благородною отвагою кипящий,
В волненьи бодром познаю
Могущество души и цену бытию.**

Страстность этой речи напоминает пылкие монологи современника Вяземского, героя грибоедовской комедии Чацкого. Но тот говорил в гостиных, проповедовал перед глухими, за что и удостоился репутации безумца; к тому же он обличал лишь то, что близко видел и хорошо знал, — круг людей, считающих себя «цветом общества». Вяземский метил выше — в самую власть, в ее носителей, в ее законы и порядки.

**Насильством похоти потоптаны уставы;
С ругательным челом бесчеловечной славы
Бесстыдство предсидит в собрании вельмож.
Отцов народов зрел господствующих страхом,
Советницей владык — губительную лесь;
Печальную главу посыпав скорбным прахом,
Я зрел: изгнанницей поруганную честь...**

Высокий стиль оды, вызывающий в памяти поэзию Державина, искусно сочетается здесь с резкостью античной сатиры. Недаром Вяземский глубоко изучал творчество Горация. Да и Ювенал, гневный «бичеватель пороков», был в ту пору очень популярен среди либе-

ральной российской молодежи, и голос его слышится здесь. Наконец, еще одно имя — поэта, «царям грозившего плахою», Радищева. Сам Вяземский считал «Негодование» подобным «Путешествию из Петербурга в Москву» — сочинением антиправительственным. Читателям-современникам пояснений не требовалось. Для них «собрание вельмож» было Государственным Советом Александра I, а «отцы народов» — главарями Священного союза.

**Здесь у подножья алтаря,
Там у престола в высшем сане
Я вижу подданных царя,
Но где ж отечества граждане?
Для вас отечество — дворец,
Слепые властолюбья слуги!
Уступки совести — заслуги!
Взор власти — всех заслуг венец!**

Здесь — переключка с рылеевским «К временщику». Но у Вяземского все сильнее и резче. Такой обнаженной ораторской остроты не найти даже в признанных обличительных сочинениях, как «Горе от ума» или пушкинская «Деревня».

**Ищу я искренних жрецов
Свободы, сильных душ кумира —
Обширная темница мира
Являет мне одних рабов.**

Замечательно мастерство, с каким Вяземский «разламывает», разводит по соседним стихам слова, составляющие привычную «поэтическую» связку: «жрецов — свободы». Одно резко вколочено в конец строки, другое — в начало следующей. И потому оба — под ударением. Между ними — внезапная пауза, приостанавливающая взгляд и слух, возвращающая условному образу-клише его первоначальный, реальный смысл. Да еще демонстративно-небрежная, «державинская» рифма «жрецов — рабов» — неблагозвучная, в сравнении со всеми остальными рифмами, но эта «неточность» как бы подчеркивает противоречие понятий: жрецов — рабов, их внутреннюю «нерифмуемость»...

За несколько лет до «Негодования» в записной книжке Вяземского появилось такое признание: «Я всегда люблю в многолюдном обществе допрашивать спины предстоящих: которые из них подались бы на

палки? И всегда пугаюсь числом моих изысканий...»

И еще одна прямо относящаяся к этим стихам инвектива — из письма 1818 года: «На нас от рождения нашел убийственный столбняк. Ни век Екатерины, со всей уродливостью своею, век много обещавший, ни 1812 год,— ничто не могло нас расшевелить. Пошатнуло немного, а тут опять эта проклятая Медузина голова, то есть невежество гражданское и политическое окаменило то, что начинало согреваться чувством...»

**Свобода! пылким вдохновеньем,
Я первый русским песнопеньем
Тебя приветствовать дерзал...**

Здесь неточность. Полтора десятка лет спустя Пушкин в черновике-наброске «Памятника» скажет вернее: «...вслед Радищеву восславил я свободу...»

**Но где же чистое горит твое светило?
Здесь плавает оно в кровавых облаках,
Там бедственным его туманом обложило,
И светится едва в мерцающих лучах...**

И снова Пушкин откликнется: через пять лет в «Андрее Шенье» многие строки заставят посвященных вспомнить «Негодование», а это четверостишие он и вовсе почти процитирует — о свободе:

**Сокрылась ты от нас; целебный твой сосуд
Завешен пеленой кровавой...**

Чем ближе к концу стихотворения, тем более страстным становится голос поэта:

**Там хищного господства страсти
Последнею уловкой власти
Союз твой гласно признают;
Но под щитом твоим священным
Во тьме народам обольщенным
Неволи хитрой цепь куют.**

Александр Тургенев, введенный в заблуждение излюбленными разговорами Вяземского о дилетантизме своем, скорописи, недостаточной работе над стихами, увидел в этих строках обмолвку: «Союз твой гласно признают...» Не другое ли тут хотел ты сказать?»

Вяземский ответил: «Да, гласно, то есть на бумаге и на кафедре Европы, а под рукой развертывают этот

союз со свободой и связываются с макиавеллическим тиранством». И обман тем омерзительнее, что он — преступление против совести. Потому что «гласность — совесть государства».

А дальше — опять о свободе, о могуществе ее:

**Ты снимешь роковую клятву
С чела, поникшего к земле,
И пахарю осветишь жатву,
Темнеющую в рабской мгле...**

Политическая свобода первым делом отменит крепостное право, даст крестьянам волю. Но не только...

**Твой глас, будитель изобилья,
Нагие степи утучнит.
Промышленность распустит крылья
И жизнь в пустынях водворит,—**

это уже прямой отзвук бесед с Николаем Тургеневым, убежденным, что конституционная монархия, сменив собою самодержавие, откроет путь стремительному экономическому развитию России. Можно сказать, что в этих строках жгато, поэтически выражена политическая и экономическая программа Северного общества декабристов. «Видно, мне на роду написано быть конституционным поэтом...»

И вдруг — крутой поворот стиха. Кажется, что заговорил один из наиболее решительно настроенных участников республиканского Южного общества, чья первая задача — уничтожение монархии.

**Он загорится, день, день торжества и казни,
День радостных надежд, день горестной боязни!
Раздастся песнь побед вам, истины жрецы,
Вам, други чести и свободы!
Вам плач надгробный! вам, отступники природы!
Вам, притеснители! вам, низкие лъстецы!**

Что-то очень знакомое слышится в этой интонации, когда читаешь «Негодование» впервые. Искать недолго, — конечно, концовка «Смерти поэта» Лермонтова. Трудно допустить, чтобы ему не попадалось стихотворение Вяземского, разошедшееся в десятках и сотнях списков и многими твердое наизусть...

**Пот холодный страха и стыда
Пробьет на их челе угрюмом,**

**И честь их распадется с шумом
При гласе правого суда.**

Вяземский, подобно Радищеву, «царям грозит плахою». Только теперь это — не условный образ, а вполне реальные «очертания четырнадцатого декабря». Не даром декабристы широко распространяли «Негодование», считали его одним из самых сильных произведений в своей агитационной поэзии.

Да и сам поэт охотно раздавал списки «Негодования» всем желающим. Узнав, что Александр Тургенев показывал некоторые его стихотворения жене Александра I, он писал: «Я рад, что царица... увидит, что делается в этой России, управляемой с почтовой коляски... Но, впрочем, что она моего знает? Шептанье, лепетанье, но голос мой грудной заглушен цензурою. Дайте ей «Негодование»... Мои слова — зерна: сами собою они ничего не значат, но вверенные почве производительной, они могут приготовить богатую жатву».

Однако друг был осторожен. И призывал к тому же Вяземского. Спору нет, «Негодование» — «лучшее произведение» Вяземского. Да только беды бы не было...

«Я заставил одного поэта*, служащего в духовном департаменте,— рассказывал он в надежде вразумить автора «криминальных» стихов,— переписать твое «Негодование». В трепете приходит он ко мне и просит избавить его от этого. «Дрожь берет при одном чтении,— сказал он,— не угодно ли вам поручить писать другому?» — «Согласен»,— отвечал я». А в следующем письме снова предупреждал: «Негодяйки» по почте посылать нельзя... Я всем читал ее, все ею восхищались, но и тебе и себе беды бы наделал, если бы не поступал с нею осторожно».

С первых же посланий в Варшаву Александр Тургенев остерегал Вяземского от неосмотрительно решительных слов и поступков. Особенно слов. Иногда — как бы в шутку:

**Бесславье примыкает к славе.
Друг Вяземский, ты на мель сел:
В Москве умно ты врать умел,
Умей умно молчать в Варшаве.**

* Б. М. Федоров (1798— 1875) — поэт и литератор, с 1818 г. служил в Департаменте духовных дел под началом А. И. Тургенева, а с 1821 г. был его секретарем.

Чаще — всерьез, хотя и не прямо, обиняками: «Точно ли, как меня здесь уверяли, наш министр в Царьграде перлюстрирует все письма к русским, даже к своим ближайшим чиновникам?..»

В Царьграде, при «министре», то есть полномочном после России в Турции, служил младший из братьев — Сергей Тургенев. Непонятно только, с какой стати вопрос задан Вяземскому, живущему в тысячах верст от Царьграда? Очевидно — потому что порядки российские повсюду те же, а Новосильцев — тот же «министр», разве что не в Царьграде, а в Варшаве, невелика разница! «Постарайся узнать под рукою, что делают из перехваченных писем у вас», — просит Александр Тургенев чуть позже. Стало быть, сомнений не осталось. Наконец, «Негодяйки» по почте посылать нельзя...» И все это отправляется... почтою!

Впрочем, склонный к подозрительности Александр Иванович и не догадывался об истинном размахе перлюстрации. Например, о том, что просматривается не одна заграничная, но и внутренняя — между Москвой и Петербургом — переписка. Причем, к занятию этому имел прямое отношение их общий приятель, петербургский почт-директор Константин Яковлевич Булгаков, а позже, в тридцатых годах, в Москве — его коллега и старший брат, Александр Яковлевич...

Петр Андреевич тоже не сомневался, что у переписки его есть «посторонние» читатели. Но если бороться с этим невозможно, значит, следует поступить парадоксально: воспользоваться перлюстрацией — в своих целях. Не прикусывать язык, не прибегать к намекам и иносказаниям, напротив — открыто говорить в письмах то, что хотел бы, но лишен возможности высказать высокому начальству: «Не поручусь за ненарушимость переписки нашей и предаюсь безмолвно, то есть, напротив, гласно, на жертву всяких пакостей».

Десять лет спустя, в «Исповеди», предназначенной уже прямо для императора, он выразился еще определенной: «Я писал... в надежде, что правительство наше, лишенное независимых органов общественного мнения, узнает через *перехваченные письма* (курсив мой.— В. П.), что есть однако же мнение в России, что посреди гнусного молчания, господствующего на равнине нашего общежития, есть голос бескорыстный, укорительный представитель мнения общего». Он сознательно

сделал из писем своих трибуну для разговоров с правительством. И не упускал случая «припомнить» царю обещания, которые тот «забыл».

Много позже так же станет поступать декабрист Михаил Лунин: его письма из Сибири, с каторги, откровенно рассчитаны на перлюстрацию...

Этот удар — «через перехваченные письма», — нанесенный почти наугад, попал точно в цель. Вяземский многое предполагал, но никак не мог знать, что надзор за ним был установлен чуть ли не сразу по его приезду в Варшаву. Дружба русского чиновника с поляками, пусть и лояльными, не доставляла его начальству никакого удовольствия. Да еще и доносы на него сыпались от «доброжелателей», как из рога изобилия. А переписка его, прежде чем отправиться к адресатам, попадала на стол ни к кому иному — к «благодетелю» Новосильцеву. Обыкновенно такие «истории» остаются гипотезами, доказать их трудно, перлюстраторы, как правило, следов не оставляют. Но в архиве Новосильцева сохранилась записка, адресованная великому князю Константину Павловичу: «Я имею счастье передать вашему императорскому высочеству отрывок из письма г-на Тургенева князю Вяземскому, касающийся событий, которые имели место в Санкт-Петербурге в одной из военных казарм... Я гарантирую согласованность этого отрывка со всем текстом». Вот ведь как, с гарантией...

А под «событиями» подразумевается восстание Семеновского полка...

Добро еще, что по разившейся с годами лености почтенный Николай Николаевич не все письма читал с должным вниманием — и не заметил, что Вяземский, как бы между прочим, проговаривался иной раз друзьям в прозрачных намеках о работе над русской конституцией. Иначе не миновать бы неприятностей чиновнику, нарушившему государево предписание содержать все это за семью печатями. Правда, в ноябре 1819 года в парижской газете, издававшейся Бенжаменом Констаном, сообщалось — со ссылкой на «письмо из Варшавы, пришедшее необычным путем», — о скором введении конституции в России и даже вкратце излагалось ее содержание. Как сказала Жермена де Сталь, «в России все тайна и ничто не секрет»...

Однако и без того тучи над головою Вяземского по-

немногу сгущались. «Высокие читатели» узнали «через перехваченные письма» много нелицеприятного. Например, что ни в одном просвещенном государстве зрителям не возбраняется «за свои деньги» всяко выражать в театре мнение об игре актеров. А в Варшаве им было запрещено свистеть и шикать — после того, как освищенной оказалась актриса, которой «покровительствовал» сам великий князь. К слову, чуть спустя история, — так сказать, «в худшей редакции» — повторилась в Петербурге, откуда высочайшим повелением был выслан герой войны 1812 года Павел Катенин, подвистнувший в театре императорской любимице...

Мог Константин прочитать у Вяземского и о себе, вернее — о порядках, насаждаемых им в армии: «Здесь преподается систематически курс посрамления достоинства человека, и кто успешно выдержит полный опыт, тот смело может выдать себя за отборного подлеца и никакого соперничества в науке подлости не страшиться...» Сарказм Вяземского бил нещадно: «Я только тогда и хорош, когда лаю». По мнению правительства, пора было положить этому конец.

В апреле 1821 года в Петербурге, пребывая в отпуске, Вяземский получил письмо от Новосильцева. Александр I запрещал ему возвращаться в Польшу. Резкость, почти грубость запрета была оскорбительна. «Я и до опалы хотел идти в отставку, — писал он Михаилу Орлову. — Мне и самому казалось неприличным быть в глубине совести своей — в открытой противоположности со всеми действиями правительства». Если бы тем дело и ограничивалось! Но ведь не только «в глубине совести», а и в письмах, и в разговорах неприватных выражалась эта «противоположность»!

Неожиданности в решении царя не было. Возмутила лишь форма: «Я изгнан позорно, когда дети мои и весь дом, и дела требовали моего присутствия в Варшаве».

Он тут же подал прошение об отставке. И заодно попросил Карамзина, к чьему слову Александр I прислушивался, не ходатайствовать за него. Все же Карамзин переговорил с государем и передал Вяземскому, что тот зла на него не держит и готов снова принять на службу — только не в Польшу. Вяземский отказался.

«Вас похищают у нас, — писал, узнав об этом Немцевич, — Вас удаляют от мест, где Вы были всеми любимы и уважаемы за Ваш прямой, открытый нрав, образ мыс-

лей, вкус к литературе, наконец, за Ваши познания...»

Вскоре Вяземский уехал из Петербурга в Москву — под тайный полицейский надзор, смысла в котором, по правде говоря, не было ни малейшего, — самые дотошные агенты могли бы разнюхать сущие пустяки по сравнению с тем, что он открыто говорил и писал. Случившаяся перемена не ввергла его в уныние. Столбик ртути в «термометре» по-прежнему колебался близ «негодования». С жадностью, соскучившись, вернулся Вяземский к литературному труду.

Михаил Орлов писал ему: «Вооружись пером и сядь за работу... По всем дошедшим до меня слухам, твой ум совершенно созрел, и ты готов к отработанию важнейших политических предметов».

Вяземский отвечал: «Ты не знаешь, до какой степени цензура наша давит все, что не словарь, а подобие мысли. Некоторые примеры ее строгости и нелепости уморили бы со смеху Европу! Как посмотришь на то, что печаталось при Екатерине, даже при Павле, и то, что теперь вымарывается из сочинений! У меня есть перевод всей Польской конституции, хартии и образовательных уставов. Хочу испытать, допустят ли до печати...» Не допустили. Не только перевод, но и многое еще другое. А документы эти были опубликованы восемьдесят шесть лет спустя.

Правда, печатался Вяземский часто. Многие журналы — в их числе «Полярная звезда» декабристов Рылеева и Бестужева — видели в нем желанного сотрудника.

Оно и понятно. Если Петербург был сценою в театре российской жизни, то Москва — партером, где в одном из кресел расположился пристрастный зритель Вяземский и напряженно следил за разыгрывающимся действием, будучи всякий миг готов остро откликнуться на происходящее, иронически оценить и режиссуру и игру артистов, а заодно — настроить соответственно изрядную часть остальной публики.

Чутко реагирует он на все «климатические» изменения, на колебания «температуры», осмысливает и определяет их, не боясь подчас риска выдать желаемое, ожидаемое за уже утвердившееся: «Теперь прошло уже время врожденной, предвечной покорности. Люди хотят покориться не прихоти, а пользе, и для того все, что рассуждает, признает необходимостью царства-

ние законов и свержение царствования воли...»

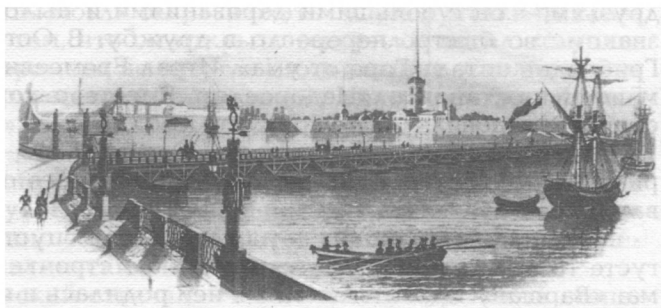
В Москве вокруг него собрались самые одаренные писатели, художники, музыканты.

«Познакомьтесь с Грибоедовым,— рекомендовал он друзьям,— он с большими дарованиями и пылом». Их знакомство быстро переросло в дружбу. В Остафьеве Грибоедов читал «Горе от ума». Играл Еремеевну в домашней постановке «Недоросля». Вместе с хозяином сочинил водевиль «Кто брат, кто сестра»...

Среди частых собеседников Вяземского — Дмитриев, Кюхельбекер, один из вождей Северного общества Никита Муравьев...

Но обида не проходит — даже три года спустя, в августе 1824 года, прорывается горечью в строчках письма: «Варшаву также я люблю: в ней родилась и погасла эпоха деятельности моего ума. Все интеллектуальные поры мои были растворены; я точно жил душою и умом. Теперь половина меня оглохла и отнялась...» Кто без греха — идеализировать, хотя бы слегка, прошлое в укор настоящему?..

И все-таки именно благодаря отставке судьба привела Вяземского в самую гущу общественных и литературных событий, творившихся в России. И готовила ему испытание. Близился к концу 1825 год.



Глава IV. Четырнадцатое декабря — тринадцатое июля

Подпрапорщики не делают революции, а разве производят частный бунт.

Вяземский. Записные книжки

Ограниченное число заговорщиков ничего не доказывает, — единомышленников много, а в перспективе десяти или пятнадцати лет валит целое поколение к ним на секурс...

*Из письма Вяземского к Жуковскому,
конец 1825 года*

Четырнадцатое декабря 1825 года Вяземский провел в Петербурге. На Сенатской площади его не было.

Среди декабристов оказалось много его друзей и близких знакомых. Он после писал о декабристах — о «братьях на каторге».

Метался близ воинского строя нескладный штатский — Вильгельм Кюхельбекер, крайне возбужденный решающим и, как скоро стало ясно, переломным днем своей жизни. Он даже попытался застрелить великого князя Михаила, да пистолет дал осечку (потом Михаил простит Кюхельбекера — и смертный приговор, вынесенный Кюхле, «даст осечку», его заменят каторгой)...

Полную противоположность ему являл другой бывший лицеист Иван Пущин, неизменно хладнокровный Большой Жанно, великолепно владеющий собою, твердо знающий, чего хочет — и как этого добиться. Несколько лет назад он отказался от многообещавшей военной карьеры, вышел в отставку из гвардии и занял отнюдь не «престижную» должность судьи — чтобы не бросающейся в глаза, черновой работой подготавливать законность на смену произволу и тем самым приближать грядущие перемены. Потом, объясняя следователям свое присутствие на Сенатской площади, он скажет: «Нас по справедливости назвали бы подлецами, если бы мы пропустили нынешний единственный случай...»

А недалеко от этих двоих — знаменитый автор гражданственных стихов Кондратий Рылеев. Пора слов для него позади, ныне — пора действий. Он еще надеется, что вот-вот удастся привести в движение этот темнеющий на снегу прямоугольник, этих людей, уже сделавших решительный и необратимый шаг, но замерших перед следующим, не решаясь посягнуть на то, что с детства преподносилось им как нечто вечное и священное, — на российскую государственность, олицетворенную самодержцем. Он еще не хочет поверить в поражение, смирится с ним. Не знает, что из всех, кто сейчас на площади, ему, да еще Каховскому, остался самый малый отрезок жизни — семь месяцев без одного дня...

Лишь по случайности не появился на площади Николай Тургенев, неистовый «хромой Тургенев», как назвал его Пушкин. В тот день он был вдали от Петербурга — за границей, в Англии, которая со следующего утра стала для него изгнанием.

Да и Пушкин, который в тайном обществе не состоял, выехал, было, из ссылки, но дурные приметы, по его словам, заставили поворотить, вернуться, — не пустили в столицу и дальше, в Сибирь...

Казалось бы, Вяземский, участник Бородинского сражения и «московский корреспондент» рылеевской «Полярной звезды», единомышленник и соавтор Николая Тургенева по планам освобождения крестьян, человек, считавший, что ему «на роду написано быть конституционным поэтом», — в такой день на Сенатской площади более чем уместен. Но его даже и вообразить среди восставших, как ни старайся, невозможно. Почему?

Еще в 1817 году он вместе с Николаем Тургеневым,

Никитой Муравьевым и Михаилом Орловым пытался расшевелить членов «Арзамаса», убедить их бросить «пустые забавы» и обратить силы на разумное служение обществу. Борьба с «Беседою» — это замечательно! Да еще такая веселая — с насмешками, шутками, пародиями, эпиграммами! Но ведь в самодержавной России, где не допускается и намек на политическую оппозицию, литература остается единственной возможностью пробудить сознание граждан, заставить каждого задуматься о том, что свобода — такое же неотъемлемое его достояние, как воздух! И вправе ли писатель не касаться вопросов общественных и политических?

Эти речи настойчиво зазвучали на заседаниях «Арзамаса». И когда бы вызвали они общий отклик, «Арзамас» мог стать своеобразным «писательским филиалом» Союза благоденствия. Однако большинство членов кружка остались чужды политическим идеям. Именно тогда наметилась первая трещина разногласий, начало распада «Арзамаса», просуществовавшего всего несколько лет.

Щедрая на бурные события эпоха далеко развела бывших литературных единомышленников. Арзамасцы Михаил Федорович Орлов и Никита Михайлович Муравьев предстали перед следствием в связи с событиями 14 декабря. И по ту сторону стола, среди противников своих увидели арзамасца Дмитрия Николаевича Блудова, который, «имея авторское дарование, ... до сорока лет и более не мог решиться ничего написать», а теперь, наконец, «получил литературную известность прологами своими к действиям палачей». Арзамасец Александр Сергеевич Пушкин сетовал на лютую глупость и невежество цензуры, которую ведал министр народного просвещения арзамасец Сергей Семенович Уваров. А опальный арзамасец Петр Андреевич Вяземский советовал придворному арзамасцу Василию Андреевичу Жуковскому «не знаться с царями»...

В 1821 году Союз благоденствия был распущен и возникли два тайных общества: Северное, склонное видеть будущее политическое устройство России в ограниченной, конституционной монархии, и Южное, охваченное республиканскими идеями. По времени это совпало с вынужденной отставкой Вяземского, с резким усилением его оппозиционных настроений и недовольства правительством. Программа Северного общества была

близка Вяземскому — это можно вычитать хотя бы из «Негодования». Он считал, что отмена крепостного рабства и ограничение царской власти конституцией и «народным представительством» послужат стремительному развитию России, где «40 миллионов народа... выбившись из сил, ждет суда одного человека».

Довольно было сделать всего шаг, чтобы оказаться в кругу декабристов. Вяземский его не сделал.

Знал ли он о существовании тайного общества? Безусловно — тому есть неоспоримые подтверждения! Да и не будь их, возможно ли предположить, чтобы будущие декабристы не попытались привлечь к себе в соратники Вяземского, в архиве которого сохранились самые полные и точные списки агитационной поэзии, распространявшейся членами общества, автора «Негодования» и переводчика варшавской речи Александра I? Если даже далекому от политики Жуковскому они предлагали вступить в Союз благоденствия...

В 1819 году Сергей Трубецкой, будущий кандидат во временные диктаторы России, дал Жуковскому прочесть устав Союза. Овступлении в Союз речи не было, однако Василий Андреевич прекрасно понял смысл этого приглашающего жеста и, возвращая устав, мягко, но с полной определенностью отказался: «Устав заключает в себе мысль такую благодетельную и такую высокую, для выполнения которой требуется много добродетели,— сказал он.— Я счастливым бы себя почел, если бы мог убедить себя, что в состоянии выполнить его требования, но, к несчастью, не чувствую в себе достаточной к тому силы».

Пожалуй, из друзей своих разве что Пушкина не пытались декабристы вербовать в члены тайного общества.

Через тридцать лет после декабрьских событий Вяземский, просматривая готовящиеся к изданию сочинения Пушкина, возле отрывка, написанного в Кишиневе в 1821 году, заметил: «...Хоть он и не принадлежал к заговору, который приятели таили от него, но он жил и раскалялся в этой жгучей и вулканической атмосфере. Все мы более или менее дышали и волновались этим воздухом».

А еще двадцать лет спустя, комментируя для собственного собрания сочинений посвященные Пушкину страницы статей, пояснял: «Он любил чистую свободу, как любить ее должно, но из того не следует, чтобы каж-

дый свободолюбивый человек был непременно и готовым революционером. Политические сектаторы 20-х годов очень это чувствовали...»

Решительно опровергал Вяземский мнение, возникшее чуть не сразу после восстания и настолько живучим оказавшееся, что иной раз повторяется и в наши дни, — будто, оставляя Пушкина в стороне от своих замыслов, декабристы желали «сберечь дарование его и будущую литературную славу России. Рылеев и Александр Бестужев, вероятно, признавали себя такими же вкладчиками в сокровищницу будущей русской литературы, как и Пушкин, — но это не помешало им самонадеянно поставить всю эту литературу на одну карту, на карту политического быть или не быть».

Кроме того, желание «сберечь дарование» Пушкина, держа в тайне от него свою деятельность, свидетельствовало бы о том, что члены Общества предполагали не только восстание, но и поражение, и расправу царскую.

Между тем в вопросе о *вооруженном восстании* среди декабристов, как известно, отнюдь не было единства. Можно сказать, что стечение обстоятельств — внезапная смерть Александра I и временное междуцарствование в России, — выведшее декабристов на Сенатскую площадь, тем не менее застало их врасплох, на стадии разработки планов, один из которых был рассчитан на 1826, другой — и того дальше, на 1840 год. Происхождение этой последней даты довольно любопытно. В самом деле, заглядывая на два с лишним десятка лет вперед, члены Общества не могли не отдавать себе отчета в том, что, даже оставаясь на государственной — или военной — службе (а большинство из них к тому времени уже вышли бы в отставку), они занимали бы положение слишком высокое для прямого участия в осуществлении этого плана, что воплощать его предстояло ими воспитанным и подготовленным людям следующих поколений. Будучи — преимущественно — военными, они прочнейшую опору свою видели в армии, поднять которую против Александра I, «победителя Наполеона», возможным станет лишь тогда, когда сопричастных той победе в ней не останется. И можно предположить, что прибавление к году победы четвертьвекового срока службы в армии и дало дату — тысяча восемьсот сороковой...

Все пришлось менять на ходу, «сметывать на живую

нитку» — выступать под диктовку момента. Не потому ли почти все участники восстания оказались психологически не готовы к поражению — это видно хотя бы из их поведения в первые дни следствия.

Неучастие Вяземского в Обществе нисколько не мешало ему дружить, да на свой лад и сотрудничать с декабристами. И его положение стало бы по-настоящему опасным, проведай власти о проступке серьезнейшем: о том, что Вяземский познакомил с полным текстом проекта конституции своего друга Никиту Муравьева и, судя по всему, Николая Тургенева.

Правда, еще в 1820 году он читал «некоторые места из проекта Российской конституции» навестившему его в Варшаве младшему из братьев Тургеневых, Сергею Ивановичу. Но тогда это, стань известным начальству, едва ли сильно повредило бы Вяземскому: дело считалось решенным, случайное — и «приватное» — разглашение его было разве что грехом, но никак не злым умыслом. Так что скорей всего он отделался бы легким испугом.

Совсем не то — теперь, пять лет спустя.

Муравьев был автором декабристской конституции, одобренной Северным обществом. При чтении ее становится ясно: автор знаком с «конституционной» работою Вяземского. Правда, держа ответ перед Следственной комиссией, Муравьев лишь намекнул, что его проект родствен тому, который намеревался воплотить в России покойный государь, но намек «не дошел»: среди членов комиссии не оказалось никого, подробно посвященного в конституционные планы Александра I. Сказать же больше — означало признать, что читал строго секретные бумаги. У комиссии достало бы сообразительности докопаться, что получить эти бумаги он мог единственно от Вяземского. Иначе говоря, что правительственный чиновник Вяземский совершил тяжкое государственное преступление.

До сих пор мы говорили о том общем, что было у Вяземского с декабристами. Но существовали и серьезные разногласия. Прежде всего, Вяземский, как он выразился, дал «твердое отражение» самой идее *тайного* общества: «Я всегда говорил, что честному человеку не следует входить ни в какое тайное общество... Всякая принадлежность тайному обществу есть уже порабощение личной воли своей тайной воле вожаков. Хорошо подготов-

ление к свободе, которое начинается закабалением себя...»

Вяземский не нуждался ни в службе, ни в литературных заработках. Крупное, хотя и несколько расстроенное, состояние обеспечивало ему эту независимость. Пока правительство затевало политические реформы, он всячески ему помогал — трезвыми мыслями, дельными замечаниями и мастерством придавать замыслу словесную завершенность. Когда же царь «забыл» обещания, Вяземский решительно и резко «напоминал» о них. Письма его и статьи сочинялись с тем расчетом, чтобы разбудить общественное мнение, которое со временем, разбежавшись, сшибет правительство с ног...

Кроме того, Вяземский не разделял неприязненного отношения декабристов к «немцам», к иностранцам, занимавшим видные правительственные должности и посты в России. И был совершенно согласен с Карамзиным в том, что «царствование Романовых, Михаила, Алексея, Феодора, способствовало сближению россиян с Европою, как в гражданских учреждениях, так и в нравах, от частых государственных сношений с ее дворами, от принятия в нашу службу многих иноземцев и поселения других в Москве... и явная польза, явное превосходство одерживали верх над старым навыком в воинских Уставах, в системе дипломатии, в образе воспитания или учения, в самом светском обхождении...» Польза государственная была важна и Вяземскому, а кто ее приносит — не имело значения. Правда, несколько лет спустя он написал в знаменитом своем «Русском божестве»:

**Бог бродяжных иноземцев,
К нам зашедших за порог,
Бог в особенности немцев,
Вот он, вот он, русский бог.**

Но это — ирония. И совсем по другому поводу: пародирование официальной фразеологии, о чем нам еще придется говорить. А если без шуток, то, верно, потому и прижились они так хорошо в России, эти «немцы», что и самые худородные из них превосходят чуть не любого из родовитых местных «управляющих», не способных справиться с царящими бестолковщиной и неразберихой.

Для декабристов вопрос стоял иначе и связывался с пробуждением и ростом национального самосознания:

дескать, засилие «немцев» не дает развернуться отечественным талантам. Да и что могут иностранцы понимать в русских делах! Разве что готовы они тормозить все прогрессивное, чтобы сохранить влиятельное свое положение... Происходила подмена понятий: за частностью — конкретными исполнителями волевых монарших решений — неотчетливо выделась проблема более общая — устарелость, неповоротливость всего государственного механизма...

Следует упомянуть еще и «польский вопрос»: по мнению большинства членов Северного общества, Польша и впредь должна была оставаться «частью» России, пусть «автономнее», чем ныне, но об отделении, о предоставлении ей полной самостоятельности речи быть не могло. Они, «северяне», и с «южными» коллегами разошлись не в последнюю очередь из-за того, что те «открыли сношения с поляками», суля им — в случае победы — политическое решение проблемы, вплоть до отделения Польши от России.

Вяземский, знакомый с Польшею не понаслышке, был уверен, что в этом пункте программа «северян» ошибочна, не выгодна, прежде всего, самой России. Ведь это выглядело, по сути, продолжением — пусть в более мягкой форме — политики Александра I в отношении Польши. А именно открытое неодобрение этой политики привело Вяземского в оппозицию к правительству — и в опалу.

Наконец, главное, что уж никак не позволило бы ему стать декабристом: черта, хорошо знакомая его друзьям, — скептицизм. Сохранилось множество отзывов и высказываний Вяземского о декабристах и их деле. Все они скептически: он не верил в это дело не *после*, но *до* неудачи на Сенатской площади. Он ее предвидел.

Он считал, что революцию в России взялись делать не те люди и не теми средствами. Встретившись много лет спустя с уцелевшими и воротившимися из ссылки декабристами, он заметил, что «затея совершить государственный переворот на тех началах и при тех способах и средствах, которые были в виду, уже победоносно доказывает», что «это были утописты, романтики в политике»...

Это — не благоприобретенная мудрость старости, но лишь повторение — другими словами — сказанного по горячему следу событий, когда сгустками выплескива-

лось на бумагу то, что раньше было крупными рассыпано по разговорам и письмам.

Расправа над декабристами поразила его совершенно бессмысленной жестокостью. Зачем было казнить или гнать на каторгу, когда можно «выслать за границу, и Европа и Америка не устрашились бы от наводнения наших революционистов. Не подобными им людьми совершается революция не только в чуже, но и дома». Иными словами, Николай I расправился с «подпрапорщиками», простоявшими почти целый день на площади и ничего существенного не предпринявшими, так, словно они повторили в России Французскую революцию — взяли приступом Бастилию и отрубили королю голову.

Вяземский превосходно знал историю Французской революции. А его друзья и знакомые играли не последние роли в «событиях четырнадцатого декабря». Потому-то он видел, что Пестель — не Робеспьер, Рылеев — не Марат, а Сергей Муравьев-Апостол — не Бабеф. Здесь нет и малейшего неуважения к русским революционерам из дворян, но есть понимание того, что за французскими вождями были народные массы, русские же вознамерились освободить народ без участия народа, не рискнули — да и не могли рискнуть — на попытку пробудить эту «единственную революционную стихию».

Именно эту — решающую — слабость декабристов с замечательною точностью заметил и четырьмя стихами означил отнюдь не «романтик в политике», поэт, чье сближение с Вяземским еще предстояло, — Тютчев:

**О жертвы мысли безрассудной,
Вы уповали, может быть,
Что станет вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить...**

У скептицизма есть неодолимое свойство: всякий миг он направлен во все стороны одновременно. Не веря в благие намерения и действия правительства, Вяземский не верил и в революцию. Поэтому ни он, ни другой знаменитый скептик — Грибоедов — никак не могли очутиться среди заговорщиков на Сенатской площади четырнадцатого декабря. Разве что поодаль, зрителями — подобно Карамзину...

И все же попытка завербовать Вяземского в Северное общество была предпринята. Осенью 1825 года из Петер-

бурга в Москву приехали А. Бестужев и А. Якубович. «Мне говорили после, — вспоминал Вяземский, — что Якубович и Александр Бестужев были откомандированы в Москву, чтобы меня ощупать и испытать. Они у меня обедали. Разговор коснулся и немцев в России...» Легко догадаться, что тем дело и кончилось.

В этой истории странным выглядит, что Якубович тогда и сам не был еще членом Общества, вступил в него чуть позже; Бестужев же, хотя и состоял в Обществе, но отнюдь не в числе активнейших участников. Товарищи не раз упрекали его за чересчур малую роль в общих делах. Да и Следственная комиссия, далеко не склонная смягчать чью-либо участь, признала его вину мало-значительною.

К тому же Якубович был едва знаком с Вяземским. Бестужев знал его чуть лучше: для него Вяземский был поэт, и только поэт, чьи сатирические и публицистические стихи проходят через цензуру в печать, как корабль проходит сквозь строй неприятельской эскадры, либо, примером тому — «Негодование», расходятся в списках и заучиваются наизусть.

Пожалуй, даже если долго искать, трудно было в Обществе найти людей, меньше подходивших в вербовщики Вяземского, чем Бестужев с Якубовичем.

И совсем уж неудачным увидится выбор, если вспомнить, что среди ведущих деятелей Северного общества были Николай Тургенев и Иван Пущин. А уж Никита Муравьев подходил, казалось бы, для этой роли просто идеально! В самом деле, старинный приятель Петра Андреевича, человек близких ему взглядов на основные российские проблемы, пользовавшийся его — рискованной! — помощью в работе над своим проектом конституции... И ездить специально к Вяземскому у него необходимости не было: как раз в сентябре Муравьев прибыл в Москву — встретиться со здешними членами Общества и выступить перед ними с докладом. Тут бы и повидаться — по старой дружбе — с Вяземским: поговорить, убедить.

Не поговорил. Не убедил. Это попробовал сделать Александр Бестужев, который знал Вяземского плохо. Никита Муравьев знал его слишком хорошо. И понимал, что затея безнадежна.

Но была, думается, еще одна веская причина, по которой наиболее дальновидные из декабристов с види-

мою легкостью отступились от желания превратить дружеские связи с такими людьми, как Вяземский, Пушкин или Грибоедов, в связи политические, вовлекая их в Общество. Они чувствовали, что в цепочке, которая должна протянуться от их замыслов к осуществлению есть слабое звено...

Существует рассказ о том, как один из приближенных Александра I показал ему список офицеров своего полка, «замешанных в тайные общества». И как Александр ответил: «Князь, Вы лучше, чем кто-либо, знаете, что я причиной этого, что я дал повод. Возьмите Ваш список. Я не хочу его знать».

Эпизод этот так безукоризненно согласуется с созданным официальной николаевской пропагандой посмертным образом «Александра Благословенного», столь явно «венчает» этот образ, что, скорей всего, не было его, а мы имеем дело с одною из многих поздних легенд. Но, если так, возникла она не на пустом месте. Александр знал о тайных обществах, узнал, едва они появились. «Не мне их судить»,— сказал он о заговорщиках. Сам был некогда в заговоре против отца своего, Павла I, на престол сел в результате этого заговора, иные участники которого еще доживали свой век в отставке, вдали от столицы, отосланные с глаз долой, но не вымаранные из памяти. И он действительно «дал повод», когда, выступая перед польским сеймом, пообещал «даровать» конституцию всем народам Российской империи.

Сами декабристы определенно связывали становление Общества с этой речью Александра I, давшей тому, на их взгляд, и правовое, и моральное основание.

«Право союза,— писал Михаил Лунин,— опиралось также на обетах власти, которой гласное изъявление имеет силу закона в самодержавном правлении». И, приведя цитату из Варшавской речи царя, продолжал: «Это изречение вождя народного, провозглашенное во всеуслышание Европы, придает законность трудам тайного союза и утверждает его право на незыблемом основании».

Князь Сергей Трубецкой, один из немногих осужденных, доживших до свободы, вспоминал: «Некоторые молодые люди, бывшие за отечество и царя на поле чести, хотели быть верной дружиной вождя своего и на прищипе мира. Они дали друг другу обещание словом и

делом содействовать государю своему во всех начертаниях его для блага своего народа...» Однако император, «довольный приобретенной славою, не радел о благоденствии своих подданных, словом сказать, обленился,— ко всему этому должно прибавить черты деспотизма против многих лиц и гонение на те идеи совершенствования, которые сам прежде старался распространять...»

Здесь, конечно, кое-что подправлено, как говорится, задним числом. Старый князь «забыл» о некоторых серьезных вещах, например, о том, что замысел царевубийства возник и обсуждался в Обществе как раз на первых порах его существования, то есть до отказа Александра от конституционных обещаний,— и это как-то не вяжется со стремлением быть «верной дружиной вождя своего и на поприще мира». Как нередко бывает с мемуаристами, Трубецкой попытался представить потомкам события — и себя вместе с ними — в наиболее выгодном свете. Но главное сказано верно: антиправительственные настроения особенно резко проявились в Обществе после отречения царя от «либерального» политического курса.

О том же говорит еще один свидетель, которому смело можно доверять: едва ли кто был посвящен в существо дела лучше, чем он. Великий князь Константин писал в феврале 1826 года — в разгар следствия по делу декабристов — своему царствующему брату: «К концу царствования покойного государя было много вещей, от которых он бы и отказался, но было уже слишком поздно, и обещание, раз оно было дано, при наличии всех неоспоримых доказательств, не могло быть взято обратно». На это Николай I ответил: «Между тем, чтобы желать чего-либо почти обещанного, и тем, чтобы предупредить правительство в его мероприятиях тайными и, следовательно, преступными способами, разница громадная».

Строго говоря, именно такова разница между декабристами и Вяземским — разница между «предупреждением» и «желанием». Как видим, Николай тоже понимал, что действия декабристов берут начало из «обещанного». «Почти» можно отбросить — обещания были недвусмысленными.

Однако с момента, когда декабристы начали сокрытую до поры от посторонних глаз борьбу за политическую власть в России, возникли опасности, с которыми

следовало считаться всерьез. Трудно захватить власть. Еще труднее ее удержать: это невозможно без широкой общественной поддержки. Вводить диктатуру, способную силою подавить любое несогласие, не только прямое, но и пассивное сопротивление новому режиму, члены Северного общества не хотели. Пример Французской революции, обернувшейся диктатурой, абсолютной властью Наполеона, еще не устарел: среди декабристов было немало участников войны 1812 года.

Наиболее дальновидные понимали, что не стоило питать особых надежд на сочувствие общественного мнения, когда дело шло об уничтожении самодержавного правления «победителя Наполеона» и знаменитого «либералиста-миротворца» Александра Павловича.

Государственный переворот — вещь несложная в сравнении с переворотом в сознании граждан государства. Для этого — второго — переворота единомышленники, не участвовавшие в заговоре, были нужнее и полезнее, чем для бунта на Сенатской площади. На их поддержку после победы декабристы могли рассчитывать. Потому главою первого — временного — правительства своего намечали всеми уважаемого либерала Н. С. Мордвинова. Потому не упорствовали в желании сделать членами тайного общества Вяземского, Грибоедова или Жуковского, а некоторых, как Пушкина, и вовсе оставили в стороне: их роль, вероятно, была впереди...

История распорядилась иначе. Дружба Вяземского с декабристами испытана была скорее и не так, как они ожидали.

Сын декабриста, Евгений Иванович Якушкин, ссылаясь на Ивана Пущина, рассказывал: «Вечером 14 декабря, после разгрома на Сенатской площади, к И. И. Пущину приехал один из его друзей, П. А. Вяземский... Находясь под свежим впечатлением событий и предвидя неизбежный арест Пущина, Вяземский предложил приятелю сохранить у себя наиболее ценные бумаги. Пущин охотно принял предложение и передал Вяземскому запертый портфель, в котором находились стихи Пушкина и Дельвига, неизданные сочинения Рылеева и текст Конституции Н. Муравьева. На следующее утро Пущин был арестован и заключен в Петропавловскую крепость, пережил следствие и суд, смертный приговор и последующую ссылку в Сибирь. Осенью 1856 года Пу-

щин был амнистирован... Портфель, пролежавший замкнутым 32 года, вернулся, наконец, к своему владельцу».

Долгое время этот рассказ считался совершенно достоверным. И лишь сравнительно недавно исследователи обнаружили письмо Михаила Пущина к брату, где он сообщает, что передал портфель Вяземскому на хранение в 1841 году. То ли Иван Пущин запямятовал, то ли Якушкин-младший ошибся, для нас важнее другое: здесь выражена непоколебавшаяся за три десятка лет уверенность в том, что Вяземский — верный и неизменный друг декабристов. Уместно вспомнить, что Вяземский помогал публиковать сочинения «вычеркнутых из списка живых» писателей-декабристов, — разумеется, без подписей, ведь упоминание в печати имен «государственных преступников» было невозможно. И что среди напечатанных таким образом в начале тридцатых годов стихотворений Александра Одоевского, присланных «из глубины сибирских руд», два — «Бал» и «Амур-Анакреонт» — посвящены Вяземскому. Дружба его с членами тайного общества никогда и ни для кого не была секретом.

Поэтому Николай I не сомневался в причастности Вяземского к «событиям 14 декабря». Каково же было, верно, его удивление, когда оказалось, что имя Вяземского ни в «Следственном деле», ни в «Алфавите» декабристов вообще ни разу не упомянуто. Его нет среди «оставленных без внимания», куда угодили его знакомые Чаадаев, Дельвиг, Катенин, Раич, ни среди «вполне оправданных», как Грибоедов. Это имя так и не прозвучало на следствии, хотя Следственная комиссия подробнейшим образом допрашивала людей из ближайшего окружения Петра Андреевича: Михаила Орлова, Ивана Пущина, братьев Муравьевых, брата княгини Веры — Федора Гагарина.

Как мы уже знаем, показания против Вяземского мог бы дать один Никита Муравьев, но смолчал. Другой декабрист, располагавший любопытнейшими для Следственной комиссии сведениями об опальном князе — Николай Тургенев, — перед следствием так и не предстал: английское правительство не выдало его русским властям. Впрочем, думается, и в его молчании вряд ли следует сомневаться. Много лет спустя, когда упоминания о 1825 годе стали уже безопасными, он в своей книге не назвал Вяземского — опасаясь ему повре-

дить — даже в связи с «верноподданнейшею» попыткой добиться отмены крепостного права.

Остальным же декабристам по этому поводу и скрывать было нечего. Они твердо знали, что Вяземский не был и не хотел быть членом тайного общества.

Николай I так никогда в это и не поверил.

«Скажу без унижения и гордости,— писал Вяземский несколько лет спустя «высочайшему читателю»,— имя мое, характер мой, способности мои могли придать некоторую цену моему завербованию в ряды недовольных, и отсутствие мое между ними не могло быть делом случайным или от меня независимым...»

Тем не менее Вяземский остался в глазах Николая I человеком неблагонадежным, неуличенным декабристом, избежавшим «положенного» наказания. Предубеждения этого царю хватило на целых тридцать лет, до самой смерти.

А поэт и не домогался ни доверия, ни милостей царя. Александром I он бывал недоволен, подчас говорил о нем резко, неллицеприятно. Но все-таки отдавал должное и достоинствам его, среди которых — и создание военного Союза, сокрушившего наполеоновскую империю, едва не поглотившую всю Европу, и образованность, и дружественные отношения с Карамзиным, и, наконец, «благие намерения» в отношении России, хоть и не доведенные до воплощения.

Во всех же высказываниях Вяземского о Николае I сквозит едва сдерживаемое презрение. Иногда оно прорывается на страницу: «...Этот же, как бы он ни старался, будет всегда лишь выскочкой на троне, и вы увидите, что он покажет нам соответствующие замашки». Вяземский тщательно зачеркнул в записной книжке эти строки — оставлять их, даже для себя, было слишком опасно... Зато другие, немногим менее резкие отзывы, он не поостерегся и по почте посылать. Например, такой: «Что ни говори, а я от него всего страшусь и ничего не надеюсь, потому что чудесам не верю...»

На другой день после восстания на Сенатской площади Николай I начал следствие по делу декабристов. Как ни старался он изобразить Следственную комиссию и суд беспристрастными и не зависимыми от него, это могло обмануть лишь самых наивных, либо тех, кто хотели быть обманутыми. Пережив четырнадцатого декабря смертельный ужас, он теперь сам стоял за ширмой и

дергал за ниточки судей-марионеток, потому что права мести за унижение ужасом — его, властителя великой России! — не собирался уступать никому!

Вяземский почувствовал все это сразу и безошибочно. Семь месяцев — от выхода декабристов на площадь четырнадцатого декабря и до казни пятерых их руководителей тринадцатого июля — он в записных книжках и письмах вел нечто вроде собственного расследования: следствие по делу императора Николая Павловича, человека, пытающегося извратить и ход и смысл событий, едва не приведших его к потере престола, — и оправдать таким образом свою жестокость, человека слабодушного, потому что, как считал Вяземский, сила духа проявляется в милосердии, а не в жестокости.

Это были семь месяцев высочайшего и неослабевающего напряжения души и ума Вяземского. Кажется, время сгустилось и замедлилось, чтобы дать ему высказать все, что накопилось и созрело.

Если Николай I хотя бы заглянул в эти записи, он мог бы безмерно гордиться своею пронизательностью: и сами декабристы не высказывались о нем резче и отрицательней, чем Вяземский, «декабрист без декабря», как назвал его в тридцатых годах нашего столетия историк литературы С. Н. Дурылин.

Многие из этих записей были вымараны цензурою из собрания сочинений Вяземского — через полвека после того, как были сделаны: они нисколько не утратили остроты.

Друзья Вяземского резонно опасались, что в таком возбужденном, взвихренном состоянии он, чье дело «не действие, а ощущение», может совершить поступок или высказать открыто мысли, которые роковым образом повлияют на его судьбу.

«...Только ради Бога и дружбы,— просил его Карамзин,— не вступайтесь в разговорах за несчастных преступников... У вас жена и дети, ближние, друзья, ум, талант, состояние, хорошее имя: есть что беречь...»

Жуковский прислал письмо, в котором выражал надежду, что теперь-то его друг убедился в бесплодности прежних идей, оппозиции, попыток что-либо изменить. Замечательно, что всего четыре месяца назад Вяземский и сам нечто очень похожее писал Пушкину в Михайловское: «Ты сажал цветы, не сообразясь с климатом. Мороз сделал свое, вот и все...» А дальше — о том,

что оппозиция в России не может быть серьезным «промыслом», но только занятием «для себя и своих пенатов»...

С тех пор многое переменялось — в один пасмурный декабрьский день. И Вяземский отвечает Жуковскому, опровергая свои же недавние слова.

«Почему последние происшествия могли бы переменить мой образ мыслей?.. Разве ода Хвостова должна переменить понятие наше о поэзии? Ты в этом случае судишь, как простолюдины знати, которые унижают поэзию, потому что она им кажется ремеслом одних Шаликовых, Хвостовых и что перед судом их близоруким всё мешается в одно: и начала, и существенность, и последствия, и злоупотребления. Твердого образа мыслей, одним словом, истины и того, что каждый почитает истинною, не собьют побочные стечения, случайные применения, частные противоречия...»

В своем отношении к происшедшему четырнадцатого декабря на Сенатской площади он прежде всего отделяет частности от сути, зная, что современники того или иного события, как правило, наиболее чувствительны именно к частностям. Вот и в этом случае репутации декабристов в общественном мнении тяжкий урон нанесла дикая выходка «штатского» Каховского — убийство Милорадовича, героя войны, не только искренне почитаемого всеми участниками Французской кампании, но и дружески связанного со многими из них, человека замечательно храброго, доброго и открытого, с толком употреблявшего свое влияние при дворе и в обществе: достаточно напомнить его роль в выкупе Сибирякова или в смягчении — по просьбе Александра Тургенева — наказания Пушкину, чья «Гавриилиада» неслезанно раздражила Александра I. Вяземский, как известно, был с Милорадовичем при Бородине, видел его «в деле», ценил прочно сложившиеся между ними добрые отношения. Трагически-бессмысленная гибель генерала была для него личной потерей. Тем не менее он понимал, что это — не закономерное последствие, но скорее несчастный случай, противоречащий общим ненасильственным замыслам и действиям декабристов.

К частностям причисляет он и собственные — подчас весьма значительные — расхождения с идеями и программой Северного общества. Потому что теперь для него куда важнее сходство — в убеждениях.

Его убеждения не из дружбы с декабристами возникли и не зависят от успеха или неудачи декабристских предприятий. Потому что это — его опыт, мировоззрение, мысли. Идея не становится хуже из-за потерпевшей крушение попытки реализовать ее, применить на практике. А вот фальшь и ложь, явственные Вяземскому с первых же сообщений о работе Следственной комиссии, свидетельствуют, выдают, что власти насмерть перепуганы и вовсе не чувствуют за собою ни правоты, ни общественной поддержки.

«Не имею в себе... твердого убеждения в истине показаний, выводимых нам Левашовыми, Чернышевыми... Я, например, решительно знаю, что Муравьев-Апостол не предавал грабежу и пожару города Василькова... К чему же эта добровольная клевета?.. Чего же ожидать, на какую достоверность надеяться, когда подобные примеры совершаются на глазах наших? И это известие не уличное, оно почерпнуто из официального источника...» Иначе говоря, если «гласность — совесть государства», то, используя ее подобным образом, государство показывает себя попросту бессовестным.

Уличив блистателей законности в намеренной лжи, Вяземский тем не ограничился — понял и причину, и цель ее: это далеко рассчитанный мошеннический ход, призванный ужаснуть публику, погасить в ней сочувствие, вызвать отвращение к заговорщикам. Рисуя одну другой мрачнее картины того, чего в действительности *не было*, Следственная комиссия готовилась представить то, что *было*, не правдиво, не истинно, но в таком виде, как выгодно устроителю спектакля — Николаю. Ведь на очереди главный — и самый опасный для подсудимых! — пункт обвинения: покушение на жизнь государя. Это — гвоздь всей программы!

«Я не верю, не могу верить положительным замыслам о цареубийстве. В пылу прений, может быть, одна или две буйные головы указывали на это средство, но оно не было общим и основательным положением Общества. — И после того ты дивишься, что сострадаю жертвам и гнушаюсь даже помышлением быть соучастником палачей?..»

Увлекаемый негодованием, этим «современным вдохновением», Вяземский не заметил, что произошло: он проговорился! Он так сжато и точно описал то, что происходило в Обществе вокруг вопроса о цареубийст-

ве, что оговорка «может быть» несущественна. Это — не догадка. Это — точное знание. Свидетельство, что знал он не только о существовании Общества, но и о «внутренних» его делах. Теперь, видя, как следователи стараются извратить факты, он реагирует с поразительной чуткостью: задолго до суда и приговора говорит о «жертвах» и о «палачах», то есть о казни — как деле, уже решенном Николаем I.

Отсюда — всего один шаг до оправдания не только самих декабристов, но и их действий. И Вяземский без колебаний делает этот шаг.

«Я охотно верю, что ужаснейшие злодеяния, безрассуднейшие замыслы должны рождаться в головах людей, насильственно и мучительно задержанных. Разве наше положение не насильственное? Разве мы не согнуты в крюк? Откройте не безграничное, но просторное поприще для деятельности ума, и ему не нужно будет бросаться в заговоры, чтобы восстановить в себе свободное кровообращение, без коего делаются в нем судороги...»

Тут — пауза, передышка в развитии мысли, необходимая Вяземскому, чтобы оговорить, подчеркнуть, что выведена *общая* закономерность зарождения заговоров и тайных обществ, не зависящая от его личного отношения к декабристам и к происшедшему: «Доказательством тому, что я не одобрял ни начала, ни средств, кои покушались привести в действие, есть то, что я пишу тебе из Москвы...» Читай: не из Петропавловской крепости.

Впрочем, кто же может теперь поручиться, что там не очутится!

Боюсь примерзнуть сиднем к месту
И, волю осознать любя,
Пытаюсь убеждать себя,
Что я не подлежу аресту,—

написал Вяземский примерно в те же дни. Убедить себя в этом, право, было нелегко. Особенно если перед глазами, допустим, Михаил Лунин, давно отошедший от Общества, да, к слову, и не принимавший в его деятельности большого участия, но тем не менее арестованный, а в будущем погибший на каторге.

Выход на Сенатскую площадь — по Вяземскому — естественная реакция людей, которых власти стремятся

довести до судорог. И если судить декабристов, то перед тем же судом в роли обвиняемого должно предстать и самодержавие.

«Не буду оправдывать, например, голодного,— продолжал Вяземский дружеское письмо, больше похожее на публицистическую статью или публичную проповедь,— который, спасаясь от смерти собственной, нанесет ее ближнему, чтобы похитить у него кусок хлеба, но, постигая причину, в душе своей признаюсь, что отчаяние голода должно довести человека до исступления. И если по законам достоин будет наказания один голодный, то по нравственности гораздо большего нареkania достоин тот, кто добровольно допустил его до голода».

Мысль завершена — и неотразима. И Вяземскому вдруг становится досадно, что, не будучи членом Общества и не представ перед следователями, он лишен случая высказать все это громогласно: «В этом отношении жалею, что чаша Левашова прошла мимо меня и что не имею случая выгрузить несколько истин, остающихся во мне под спудом. Не думаю, чтобы удалось мне обрратить своими речами, но, сказав их вслух тем, кому ведать сие надлежит, я почел бы, что не даром прожил на свете и совершил по возможности подвиг жизни своей».

В эти месяцы ни у одного документа, обнаруженного правительством, не было, вероятно, читателя более внимательного и пронизательного, чем Вяземский. Он чувствовал, что «августейший режиссер» разворачивающегося спектакля не уверен в себе, снова и снова пытается убедить всех в законности подготавливаемого им якобы единственно возможного кровавого финала. Старается делать это как бы между прочим, но неизбежно проговаривается, не может не проговориться, не запутаться в нагроможденных сверх меры фальшивых «аргументах» и «свидетельствах». И Вяземский всякий раз мгновенно ловит его на слове...

Правда, записи Вяземского временно обрываются. Двадцать второго мая 1826 года умер Карамзин. Связь между двумя трагическими событиями очевидна — в этой смерти слышен отзвук грома четырнадцатого декабря, когда историограф, находясь среди зрителей на Сенатской, простудился, да так и не смог уже оправиться от простуды, а более — от пережитого в тот день потрясения.

«Один умный человек,— писал Карамзин Вязем-

скому в 1818 году, — сказал: «Я не люблю молодых людей, которые не любят вольность». Если он сказал не бессмыслицу, то вы должны любить меня, а я вас». Теперь на его глазах неотвратимо несло навстречу гибели вольнолюбивых молодых людей, кому жизнь Карамзина была школой, без которой, по замечанию Ю. М. Лотмана, «человек пушкинской эпохи не стал бы тем, чем он сделался для истории России», распадалась связь времен, кончалось *карамзинское время* русской истории. И сразу стало нечем дышать...

Он убедился, что был прав, написав за пять лет до того: «Не знаю, дойдут ли люди до истинной гражданской свободы; но знаю, что путь дальний и дорога весьма не гладкая». Но сознание правоты не служило утешением. Он оказался первым, кто задохнулся в николаевское тридцатилетье, в первый же год... Будут и другие...

Эта потеря ошеломила Вяземского. «...У меня как будто что-то отпало от нравственного бытия моего и как-то пустее стало в жизни... Смерть друга, каков был Карамзин, каждому из нас есть уже само по себе бедствие, которое отзовется на всю жизнь, но в его смерти, как смерти человека, гражданина, писателя, русского, есть несметное число кругов все более и более расширяющихся и поглотивших столько прекрасных ожиданий, столько светлых мыслей...»

Однако предаваться горю — не время. Надо принять заботы о семье Николая Михайловича, как некогда тот взял на себя заботы о детях князя Андрея Ивановича Вяземского.

Вскоре после похорон Вяземский со своею старшей сестрой, вдовой Карамзина Екатериной Андреевной и ее детьми уехал в Ревель. Здесь он прожил почти до конца 1826 года. И отсюда пристально наблюдал за происходившим в столице.

В начале июня, когда завершалась подготовка к суду над декабристами, был опубликован указ Николая I: «В ознаменование благоволения нашего и признательности к отличному подвигу, оказанному лейб-гвардии Драгунского полка прапорщиком Иваном Шервудом против злоумышленников, посягавших на спокойствие, благосостояние государства и самую жизнь блаженных памяти государя императора Александра I, все милостивейше повелеваем к нынешней фамилии его прибавить

слово Верный, и впредь ему, так и потомству его именоваться Шервуд Верный...»

Об «отличном подвиге» Шервуда Вяземский был слышан. Будучи знаком с некоторыми видными декабристами и пользуясь их доверием, «герой» еще в июле 1825 года сочинил первый донос, опередив всех желающих донести. Да и после четырнадцатого декабря его показания «в двойную цель попали»: облегчили работу Следственной комиссии и отягчили участь многих подсудимых.

Вяземский иллюзий не питал, всего ожидал от Николая. Но бесстыдство указа все же его поразило. Власть гласно отводила доносу и предательству почетное место в государственной системе, открыто признавала подлость одною из прочных своих опор.

Вяземский сочинил своеобразный комментарий к этому указу. «Правительство может и должно вознаграждать такие политические добродетели деньгами, но не похвалами, подобающими одним нравственным деяниям. По рассудку оно обязано признательностью за такую услугу, но по совести не может уважать услужника. Зачем же ханжить и выдавать перед светом черное за белое, доносчика за спасителя отечества... Таких спасителей можно подкупить за сто рублей. Легко найти человека, который из корысти выдаст вам тайну вашего противника... Таково положение Шервуда. В его деле нет нисколько великодушия, ибо он продавал слабых сильным; нельзя и назвать его подвига *верностью*, ибо достойное уважение соблюдение *верности* должно быть сопряжено с жертвованиями, с опасностью. Здесь нет ни того, ни другого...»

Шервуд — мелкий мерзавец. С него довольно было бы и мимоходом брошенной Вяземским «поправки» к указу, дескать, две буквы оттуда по случайности выпали,— и вот уже прикипела намертво к доносчику новая кличка, никто из порядочных людей не зовет его иначе, чем Шервуд Скверный. Но и кроме Шервуда, как известно не одному Вяземскому, в сочинителях доносов на декабристов правительство недостатка не испытывало. Так что дело не в Шервуде, а в том, кто создал в государстве такую атмосферу, которая поощряет морально развращенных и корыстных «граждан» к доносу и наушничеству, кто не совестится объявлять подлость подвигом. Поэтому Вяземский продолжает.

«Довольно и того, что выгоды правительства часто основаны на нравственных непристойностях, чтобы не сказать хуже, но, по крайней мере, пользуйтесь ими во мраке тайной полиции, а не выводите их с наглостью на белый свет, и помните, что можно любить измену, но должно презирать всегда изменников... Как же правительству объявить всенародно добродетельным подвигом то, чем стал бы гнушаться честный человек...»

В этом рассуждении — с произвольно ворвавшимся в него прямым, во втором лице, обращением — каждое слово метит в Николая I. Провозглашение Шервуда героем — примерно то же самое, что и изображение декабристов чудовищными преступниками, каких свет не видывал. На фоне их «преступления» царь представляет поступок Шервуда «отличным подвигом», достойным прославления в потомстве. «Низости бунтовщиков» противопоставляется «благородство рыцаря доноса». И это, по Вяземскому, отвратительнее всего.

«Правительству не должно слишком явно ругаться простосердечием нашим. Довольно и того, что его, и следовательно наша польза,— не удержался Вяземский, съязвил-таки! — не позволяет ему отплатить презрением и опозорить гласным образом услугу Шервуда... Двух нравственностей быть не может: частной и народной. Она все одна».

И снова он раздумывает и говорит, судит и оценивает, как бы глядя со стороны, как вдруг срывается, переходит «на вы»: «На то у вас и деньги, чтобы кормить государственную нравственность. Но берегитесь жаловать гражданственными венцами и цicerоновскими отличиями предателей товарищества, шпионов, донощиков. Они навоз общества политического, им пользуешься при случае, но все держишь на заднем дворе и затыкаешь себе нос, когда мимо проходишь. Что вы скажете, если страстно-благодарный агроном в память хорошего урожая, доставленного ему навозом, станет держать его в гостиной, на почетном месте, в богатом хрустальном сосуде и станет заставлять гостей прикладываться к нему?..» В глазах Вяземского, царствующий «благодарный агроном» недалеко ушел от жалкого прапорщика, поступившегося, дабы выслужиться, единственным, что у него было,— честью...

Значение этой записи оказалось неожиданно шире, чем мог ожидать автор. Пятьдесят восемь лет спустя, в

1884 году, цензура вымарала ее из подготовленного к печати тома сочинений Вяземского. Нисколько не смогло повлиять на охранительную цензорскую решимость ни то, что Вяземского уже не было в живых, ни даже то, что издание готовил муж его внучки, граф С. Д. Шереметев, один из приближенных внука Николая I, императора Александра III.

За три года до того, первого марта 1881 года народо-вольцы убили Александра II. Пятеро были повешены — пятеро, как и в 1826 году! Потому во всякое упоминание о декабристах цензура вникала особенно въедливо, страшась аллюзий и аналогий. Строки о Шервуде, хоть и не напоминали о «первомартовцах», зато невольно приводили на память событие более позднее — неожиданно ставшую гласной и взбудоражившую современников историю провокатора Дегаева, выдавшего в конце 1882 года властям своих товарищей-революционеров. Правда, его-то правительство героем не провозгласило, но и не «опозорило гласным образом» его «услугу», предоставило «наследнику Шервуда» возможность уехать за границу...

Однако, блестяще расшифровав смысл указа о Шервуде, Вяземский не обратил внимания на одну, казалось бы, частности. На слова, что целью декабристов — среди прочего — было посягательство на жизнь Александра I, которого ко дню восстания уже не было в живых! Не Николая, Константина или Михаила (в которого, к слову, пытались стрелять). А именно Александра. Для сочинителя указа это было важнейшее место! Еще бы! Он-то сам куда как милостив: своих недругов непременно простил бы — как «простил», заменив казнь каторгой, Кюхельбекера, целившего в Михаила. Но его личное великодушие вынуждено молчать: покушались на Александра Благословенного — и пощады быть не может!

То же самое, только другими словами, Николай повторил еще не раз: и в документе, учреждавшем Верховный уголовный суд над декабристами, и в день казни — в «Манифесте о совершении приговора над государственными преступниками...» Он лгал сознательно, желая изобразить убийство своего августейшего брата единственной целью тайного общества, а самих декабристов — бандой убийц. Лгать пришлось много и часто. Потому что и те, кто рады были бы поверить ему, пони-

мали, что банда убийц не выходит строем на площадь и не стоит там, ожидая, пока ее разгонят картечью...

Вскоре после указа о Шервуде в руки к Вяземскому попал выпущенный несколькими месяцами раньше документ, по всей видимости отношения к делу декабристов не имевший. Это был императорский манифест «О ссылке в Сибирские губернии на работы в горные заводы финляндских преступников, подпавших по законам оного края смертной казни, но от оной все милостивейше освобожденных». Суть манифеста проста. Конечно, государь имеет право помилования и облегчения участи преступников, заявлял Николай Павлович, но он, в отличие от предшественников своих, намерен пользоваться этим правом неукоснительно. С единственной оговоркой: «...если преступление не будет толикой важности, что целью оного было нарушение общего существования, спокойствия государственного, безопасности престола и святости величества...»

Вяземский сразу заметил, что эта «оговорка» — главное в манифесте, ради нее он весь написан! В ней, за исключением не очень понятного и еще менее грамотного «нарушения общего существования», перечислено все то, за что Николай собрался судить декабристов — и за что миловать не считает возможным.

Одною фразой Вяземский как бы перечеркивает все лишнее: «И без него — без манифеста — знают, что государь имеет право помилования и облегчения, если, впрочем, вечная каторга в Сибири похожа на облегчение». Последними словами — мимоходом — разгромив витиеватый николаевский стиль, прямо названо то, что скрывалось за не лишеной стыдливости формулировкой: «ссылка... на работы в горные заводы...»

Единственное, что в манифесте имеет значение: «Может быть, это предисловие к последствиям Верховного суда и род повешения, что государь не почитает себя в праве миловать тех, коих преступление...» То есть декабристов.

Судя по всему, никто в России не увидел в «финляндском» манифесте «прелюдии» к финалу трагедии, разыгранному царем на рассвете тринадцатого июля 1826 года в Петропавловской крепости. Кроме Вяземского.

По многочисленным свидетельствам современников,

все ждали помилования — в последний момент, под виселицами. Кроме Вяземского.

Он — единственный, кто нимало не сомневался в казни пятерых декабристов. Несколько словно бы вскользь брошенных слов оказалось ему достаточно, чтобы безошибочно представить себе будущие события. Подобно тому, как его современник, великий зоолог Кювье мог по нескольким костям восстановить строение давно вымерших животных...

За три дня до казни, десятого июля, Петр Андреевич писал жене: «На днях грянет гром, душно мыслить и чувствовать... Хорош прелюд для ваших московских торжеств и празднеств! Совершенно во вкусе древних, которые также начинали свои празднества жертвами и излияниями крови ближнего!..» Это — намек на предстоящую коронацию Николая, которая по традиции должна была состояться в Успенском соборе Московского кремля.

Неделю спустя весть о казни уже до него дошла. «При малейшей возможности, тотчас вырвался бы я из России надолго... Для меня Россия теперь опоганена, окровавлена: мне в ней душно, нестерпимо... Я не могу, не хочу жить спокойно на лобном месте, на сцене казни!..»

Двадцатого июля — еще одно письмо к Вере Федоровне. Слово никак не может выговориться Вяземский, утолить боль: «О чем ни думаю, как ни развлекаюсь, а все прибывает меня невольно и неожиданно к пяти ужасным виселицам, которые для меня из всей России сделали страшное лобное место...»

Накануне он занес в записную книжку: «...13-е число жестоко оправдало мое предчувствие. Для меня этот день ужаснее 14-го. По совести нахожу, что казни и наказания несоизмерны преступлениям, из коих большая часть состояла в одном умысле... Одна совесть, одно всезрящее Провидение может наказывать за преступные мысли, но человеческому правосудию не должны быть доступны тайны сердца, хотя даже и оглашенные». «Выскачка на троне» задумал и осуществил преднамеренное убийство пятерых людей — за то, что они заставили его однажды пережить унижительный страх.

Вяземский навсегда остался при убеждении, что это было именно убийство, которому правосудие лишь послужило ширмой. Процесс и приговор он «по совести»

считал незаконными. Более того, взялся это доказать — логически и даже юридически! Процитированная запись открывает удивительный документ: составленный Вяземским своеобразный обвинительный акт по делу императора Николая Павловича!

«Личная безопасность, государственная безопасность — слова многозначительные, а потому не нужно придавать им смысл еще обширнейший и безграничный, а не то безопасность одного члена или целого общества будет опасностью каждого и всех». Вот что, по убеждению Вяземского, произошло в России между четырнадцатым декабря и тринадцатым июля: страх одного члена общества, Николая I, за свою личную безопасность привел его к тяжкому преступлению — к убийству. Все названо своими именами.

«Я защищаю жизнь против убийцы, уже поднявшего на меня нож, и защищаю ее, отъемля жизнь у противника; но если по одному сознанию намерений его спешу обеспечить свою жизнь от опасности, еще только возможной, лишением жизни его самого, то выходит, что убийца настоящий не он, а я».

Немного дальше следуют строки с виду «отвлеченные» — размышления о смертной казни. «Закон может лишить свободы, ибо он ее и даровать может, но жизнь изъемлет из его ведомства... Человек, закон не могут по произволу даровать жизнь,— следовательно, не властны они даровать и смерть, которая есть ее естественное и непосредственное последствие». Если вдуматься, он обвиняет религиозного Николая I во вмешательстве в божественные дела, в святотатстве, не больше и не меньше!..

Однако Вяземский знал, что у всех этих его высказываний в защиту подсудимых есть оппонент посерьезнее, чем Николай I, который, кстати, дальновидно позаботился этим «союзником» обзавестись. «Легенду о Карамзине» он начал творить сразу же после смерти Карамзина, видя в том едва ли не идеальное дополнение к уже созданной «легенде об Александре Благословенном». Отношения между царем и историографом рисовались идиллическими, многолетняя близость их объяснялась не только взаимной приязнью, но и единомыслием во всех вопросах. И как бы само собой получалось, что декабристы выступали не только против Александра, но и против Карамзина, своего же наставника, оли-

цветворения высшей духовности и нравственности. Стало быть, они *бездуховны и безнравственны*.

На деле все обстояло далеко не так, никакой идиллии не было и в помине. Был — в августе 1825 года — последний разговор Карамзина с Александром, ясно показавший, что пути их разошлись: достаточно упомянуть, что хлопоты Карамзина о месте русского консула во Флоренции означали и отказ его от должности придворного историографа. Было — после смерти Александра — молчание о нем: «Нам лучше безмолвствовать красноречиво», — хотя не мог он не понимать, как ждут от него, Карамзина, мемуаров, каких — ни по стилю, ни по содержанию — никому другому не написать, которыми вся Россия будет зачитываться. Был, наконец, подведен — для себя — неутешительный итог: «...вместе с Россиею оплакивая кончину его, не могу утешать себя мыслию о десятилетней милости и доверенности ко мне столь знаменитого венценосца: ибо эти милости и доверенности остались бесплодны для любезного Отечества».

Словом, живой Карамзин в «союзники» не годился. Мертвый возразить не мог. За него — на свой лад — это сделал Вяземский. Воспитанник Карамзина, неизменно готовый выступить в защиту его от любых нападков, сам оказывается вынужденным к полемике с учителем — это единственная возможность воспротивиться небескорыстной николаевской попытке канонизировать его облик. «Карамзин говорил гораздо прежде происшествий 14-го и не применяя своих слов к России: «честному человеку не должно подвергать себя виселице». Нет, бывают времена, когда честному человеку должно подвергать себя виселице!»

Последнюю фразу цензор вымарал из издания 1884 года: слишком уж отдавала она памятью и о казни «первомартовцев», и о последовавших за нею смертных приговорах.

А затем Вяземский заставляет продолжить спор с Карамзиным... самого Карамзина!

Тацит велик; но Рим, описанный Тацитом,
Достоин ли пера его?
В сем Риме, некогда геройством знаменитом,
Кроме убийц и жертв, не вижу ничего.
Жалеть об нем не должно:

**Он стоял лютых бед несчастья своего,
Терпя, чего терпеть без подлости не можно!**

Заключительную строку карамзинского стихотворения Вяземский прямо «применяет» и к «происшествиям 14-го», и к России. Это уже звучит оправданием не только самих декабристов, но и их выхода на Сенатскую площадь: они не хотели и не могли терпеть, «чего терпеть без подлости не можно!» Не раз и не два говорил он прежде, что не одобряет их образа действий, и вот, следуя логическому движению собственных мыслей, пришел к признанию права на эти действия, права на революцию.

В своем обвинительном заключении Вяземский не оставляет ни одной неясности, которая позволила бы добровольным адвокатам противника выстроить защиту. Так, Николай I, изображая сторонним свое наблюдение за ходом событий, подчеркивал тем самым объективность и беспристрастие следствия и суда. Зачем же, в таком случае, спрашивает Вяземский, председателем Следственной комиссии он назначил своего брата — великого князя Константина? «Дело это не могло подлежать ведомству его суда, ибо он был по званию своему, по родству пристрастное лицо. Движение 14-го декабря было устремлено столько же против него, сколько и против брата... Одно могло бы оправдать это назначение: намерение утушить это дело и кончить все-прощением, за исключением некоторых лиц. Тогда бы ответственность милосердия падала на брата, как на кровавого исполнителя царских мыслей...»

Ровно такова же цена «беспристрастия» Верховного суда, специально оговорившего, словно предупреждая и без того нереальный порыв царя к милосердию, что «преступления столь высокие... самому милосердию..., кажется, должны быть недоступны». Все было predetermined, члены суда меньше всего думали о законе, они лишь стремились угодить Николаю. Написанное ими не выдерживает критики.

«Как нелеп и жесток доклад суда! Какое утонченное раздробление в многосложности разрядов и какое однообразие в наказаниях! Разрядов преступлений одиннадцать, а казней по-настоящему три: смертная, кааторжная работа, ссылка на поселение...»

Вяземский не мог знать того, что потом узнали ис-

торики из опубликованных писем и прочих документов Николая и его окружения. Что за месяц до вынесения приговора «независимым» судом Николай писал своему брату Константину о предстоящей казни, продумав даже детали: «Предполагаю произвести её на эспланаде крепости». И что Николай подсказал суду, какова именно должна быть казнь — «без пролития крови», то есть виселица.

На простых примерах Вяземский показал, что в решениях суда нет ни последовательности, ни системы. И не может быть. Суд — инсценировка, фарс, который должен придать царской мести видимость законности. Ведь не случайно судьбы то и дело на все лады повторяют обвинение в «умысле цареубийства».

«Что за верховный суд, который, как Немезида, хотя и поздно, но вырывает из глубины души тайны и давно отложенные помышления и карает их как преступления налицо?..»

Затем — о приговоре: «Вы не даёте Георгиевских крестов за одно намерение и в надежде будущих подвигов: зачем же казните преждевременно и *убийственную болтовню*... ставите вы на одних весах с убийством уже совершенным».

Он во всем разобрался, ни строки, ни интонации не упустив. Остаётся сделать вывод. «Правительство спрашивает у с в о и х с о о б щ н и к о в: не преступны ли те, которые меня хотели ограничить, а вас обратить в ничтожество, на которое вас определила природа и из коего вывела моя слепая прихоть?.. Ибо вот вся с у щ н о с т ь с у д а: вольно же вам после говорить: *«таким образом, дело, которое мы всегда считали делом всей России, окончено»*. В этих словах замечательное двоясмыслие. И конечно, дело это было делом всей России, ибо вся Россия страданиями, ропотом участвовала делом или помышлением, волею или неволею в заговоре, который был ничто иное, как вспышка общего неудовольствия...»

Иначе говоря, в этой тяжбе с декабристами самодержец виновен вдвойне: и в том, что его власть вынудила чистых и честных людей восстать, и в том, что потом он убил их за этот поступок.

Оценка эта осталась неизменной и много лет спустя. В 1845 году к Вяземскому в руки попало письмо Николая, написанное пятнадцатого декабря 1825 года, на

следующий день после выступления декабристов. «Здесь открытия наши весьма важны, и все почти виновники в моих руках. Гвардия себя показала как достойно памяти ее покойного благодетеля», — сообщал Николай.

Казалось бы, давно притупилась острота событий двадцатилетней давности. Вяземский уже полтора десятка лет — не опальный «декабрист без декабря», но видный государственный чиновник. Тем не менее, как и в двадцать шестом, он мигом ловит Николая на психологически отнюдь не случайной грамматической неточности: «В сем письме между прочими ошибками замечательна следующая: *все почти виновники*, вместо *почти все виновники*. И точно, в числе было немало *почти виновников...*» Ему еще в пору следствия и суда стало ясно, что Николай умышленно «с большим запасом» очертил круг обвиняемых, чтобы поуменьшить впечатление от убийства *всего пятерых*. И тут же Вяземский не отказывает себе в удовольствии лишний раз уличить царя в намеренной лжи: «Да кто же, кроме части гвардии, и начал возмущение?» К тому же случай не первый: и в царствование «покойного благодетеля» бунтовал именно гвардейский полк — Семеновский!

«Искренность» Николая I, на взгляд Вяземского, была под стать его же «милосердию». В 1830 году, узнав, что Александр Тургенев хлопочет о реабилитации брата, он предостерегал друга, что это не только бесполезно, но и — главное — безнравственно по отношению к остальным осужденным: «Ты можешь желать помилования, но и оно невозможно, ибо оно было бы несправедливостью для других, и если миловать, так миловать скорее из тех, ...которых жизнь какая-то живая смерть, не политическая, не умозрительная, но положительная смерть...»

И еще резче, безжалостней: «У нас выражение «требовать суда» — неологизм!.. Ты говоришь себе: «Был бы он в России, приезжай он в Россию в то время, он был бы совершенно оправдан». Сбыточное ли это дело? Можно ли минуту сомневаться в неотразимой истине, что он был бы осужден наравне с другими?..»

От косвенных утверждений он переходит к прямым, к доказательствам: размышляет о «Всемиловивейших манифестах» — царских амнистиях, которые не коснулись «политических преступников», декабристов.

«...Какое имеет право правительство на своей радости простить вора, который украл у меня мою собственность, и выпущенный безнаказанно снова вкрадется в мой дом и обокрадет его, или простить судию, который противузаконно и бессовестно оскорбил меня в правах моих помещика и гражданина? Пускай правительство, т. е. двор прощает своих врагов... Право помилования теряет все высокое достоинство свое, становится безнравственным и не производит никакой общей народной радости, ибо народ не сочувственник бездельникам, которые сидят под судом за кражу или лихоимство. Народ всегда порадуется прощению так называемых политических преступников, ибо, что ни говори, а он вражды к ним не имеет и почитает их не своими врагами, а врагами правительства».

Ясно, Николай никогда их не простит. Не для того он затевал и целых семь месяцев — акт за актом — разыгрывал свое «правосудие»!

Но Вяземский не был бы Вяземским, если бы все обдумал, назвал своими именами и на том успокоился. Нет, ему надо, чтобы обвиняемый узнал мнение обвинителя.

А для этого есть верный способ, открытый еще в годы варшавской службы: письма! Благодаря перлюстрации, их содержание становится известно правительству!

В письмах второй половины 1826 года к жене, из Ревеля в Москву, Вяземский не только откровенно высказался о следствии, приговоре и казни, но и после того продолжал постоянно говорить о декабристах. То посылал переписанное предсмертное письмо Рылеева и восклицал: «Какое возвышенное спокойствие!» То писал об отъезде жен декабристов в Сибирь, вслед за мужьями, и называл это истинным подвигом на фоне всеобщих трусости и холопства.

Узнав о казни, он, уже было собравшись в Москву, решил остаться в Ревеле, чтобы не присутствовать на коронации Николая.

«Ты спрашиваешь, когда буду? Право, не знаю теперь. Прежде полагал я приехать ранее, но мысль возвратиться в торжествующую Москву, когда кровь несчастных жертв еще дымится, когда тысячи глаз будут проливать кровавые слезы, эта мысль меня пугает и душил... Я почел бы за злодейство участвовать в праздни-

ках и радоваться общею радостью, когда есть столько несчастных исключений...» Так что пусть уж новый самодержец учиняет злодейство — без него.

В начале августа, за несколько дней до коронации, он напоминал Вере Федоровне: «Желал бы знать скорее, когда будет коронация, чтобы приехать к шапочному разбору... Я человек не праздничный, да и к тому же это материалы для моего биографа: 1-е. Проезжал в таком-то году через Ригу и не видел Риги. 2-е. Был москвичом и не хотел возвратиться в Москву на коронацию...» И там же иронически упрекал жену за то, что она умалчивает «о восторге, с которым народ встречал Царя».

Это был откровенный вызов. И чтобы отвести у читателей сомнения в том, к кому обращены на самом деле все эти места в письмах, Вяземский сделал к одному из них приписку, где прямо сказал, что знает о перлюстрации своей переписки: «Я не против от этого, но прошу только вас, господа, на письменных заставах команду имеющие, недолго задерживать наши письма! Я знаю, что вы не очень грамотны и довольно тупы по своей природе и что легко не разбираете вы ни руки моей, ни смысла моего...»

И подписался: «С глубочайшим высокопочтением имею честь пребыть вашим... (Что, бишь, вы? — превосходительство, или выше, или еще выше? Право, не знаю; но сами вставьте титла, а я со всею покорностью слуги, который из передней ругает своих господ, но повинуется) ...всепокорнейшим слугою князь Петр Андреевич сын Вяземский, отставной камер-юнкер и более ничего».

По российской иерархии титулов выше «превосходительства» было «высокопревосходительство», а еще выше — «высочество», то есть царская семья, глава которой — Николай I. И, разумеется, не случайно сопоставление себя, князя Вяземского, со слугою — в царском доме, в каком же еще!

В этом нравственном споре, где неограниченной светской власти, хитрости и жесткости противостоят незабываемая система духовных ценностей, острая мысль и сознание своей правоты, превосходство Вяземского очевидно. Законы государственного правосудия временны, они возникают и исчезают, но вечны законы высочайшей человеческой морали, напоминал Вяземский. И

по этим вечным законам он осудил полновластного хозяина законов временных. Теперь уже можно сказать, что история утвердила его приговор...

Трагические переживания и напряженные раздумья этих семи месяцев давали знать о себе еще многие годы: их отголоски обнаруживаются в жизни Вяземского и пять, и пятнадцать, и тридцать лет спустя. Одним из первых и совсем немногих в России пришел он к убеждению: многое можно было еще разрешить, предотвратить до декабря 1825 года; теперь — поздно. Случившееся — не конец, но лишь начало сумрачной полосы российской истории. Прогноз на предстоявшие десятилетия был неутешительным — и осуществился полностью.

Всякая попытка не то, чтобы оправдать, — хотя бы немного обелить убийцу декабристов виделась ему аморальной, отвратительной. И вдвойне — если исходила она от поэта, как это случилось с Иваном Козловым, которого прежде Вяземский неизменно поддерживал в несчастьи: привлекал внимание публики к сочинениям «поэта, который столь нравственно привлекателен»; не афишируя — «только между нами», — помогал деньгами. В конце 1826 года, выпуская свой перевод поэмы Байрона «Невеста Абидосская», Козлов в посвящении подольстился к Николаю, «Чей первый царства день был днем бессмертной славы, Спасеньем алтарей, России и Державы...»

«Хотел бы похвалить поэму, — откликнулся Вяземский, — но рука не подыметя упомянуть об эпистоле. Не наше дело судить, а все-таки сто двадцать братьев на каторге. Можно бы полжизнью купить забвение 14-го декабря, а не то, что воспевать его, разве с тем, чтобы призывать милосердие на головы виновных и жертв. Не говорю уже о чувстве, но досадою на неприличие».

Снова — при всякой возможности — сводит, нет, сталкивает он понятия: «виновных и жертв». Осужденные не по вине декабристы — в его глазах — не столько «виновные», сколько «жертвы». Снова «прибывает» его «невольню и неожиданно к пяти ужасным виселицам». И сострадая «братьям на каторге», он этою мерой мерит и души окружающих, вглядываясь в их поступки, вслушиваясь в слова, вчитываясь в стихи.

У него самого в эти месяцы стихи отошли на второй план, оттесненные страстной публицистикой стилисти-

чески безупречных заметок и писем, обращенных — очевидно — и к современному, и к будущему читателю (и биографу). Пожалуй, только в одном из немногих написанных тогда стихотворений можно обнаружить след событий, потрясших поэта. Это стихотворение называется «Море» и начинается светло и беззаботно:

Как стаи гордых лебедей,
На синем море волны блещут,
Лобзаются, выряют, плещут
По стройной прихоти своей.
И упивается мой слух.
Их говором необычным,
И сладко предается дух
Мечтам пленительным и тайным...

Здесь — ни одной тревожной ноты. И это даже немного странно — бросающимся в глаза несоответствием своим романтической традиции, где море — «свободная стихия», в любой миг готовая разразиться бурей, символ неукротимости, мало подходящий для картин столь идиллических и гармонических.

Но именно такова в глазах поэта картина, если сравнить (а как не сравнить?) это море с другим — с морем жизни, волны которого бывают обыкновенно и мутнее, и мрачнее, и злобнее. А эти волны — перед взором — совсем иные:

В вас нет следов житейских бурь,
Следов безумства и гордыни,
И вашей девственной святости
Не опозорена лазурь.
Кровь ближних не дымит в ней;
На почве, смертным непослушной,
Нет мрачных знамений страстей,
Свирепых в злобе малодушной...

Хотя до конца стихотворения еще больше пятидесяти строк, в этих восьми — самое важное. Они — о декабристах, об их гибели, о «свирепости в злобе малодушной» Николая I. И хотя современники не могли, конечно, знать строк Вяземского о тринадцатом июля в его записных книжках и письмах к жене, отголосок которых в этом стихотворении совершенно отчетлив, они прочитали стихи именно так — и не ошиблись. Прочитали — потому что ждали, искали у поэта отклика на трагедию, поразившую всю Россию. Так понял его и

Пушкин, ответивший на присланное в письме «Море» восьмистишьем:

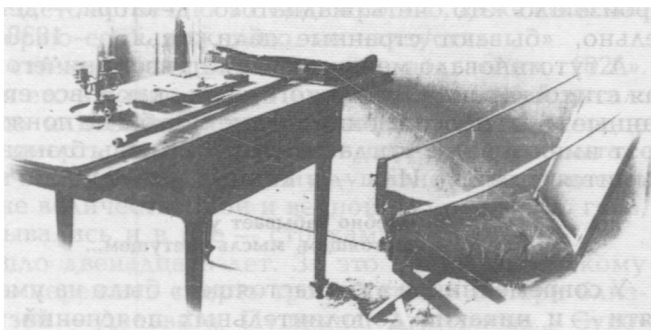
Так море, древний душегубец,
Воспламеняет гений твой?
Ты славил лирой золотой
Нептуна древнего трезубец.
Не славь его. В наш гнусный век
Седой Нептун земли союзник.
На всех стихиях человек —
Тиран, предатель или узник.

Это — тоже о декабристах, но обнаженнее, резче, рассчитано только на *своего* читателя, на друга, никак не на публикацию: слишком прозрачны направленность и смысл. Но пушкинское стихотворение не просто ответ на «Море» и своего рода дополнение к нему, есть у него и конкретный — «непоэтический» — повод: до Пушкина дошли слухи, что заочно приговоренный к смертной казни добрый его знакомец и бывший арзамасец, а ныне государственный преступник Николай Тургенев тайно схвачен в Англии, и его *морем* везут в Россию; «узник» — указание на эти слухи, к счастью, не подтвердившиеся...

Может показаться, что, обмениваясь такими стихами, Вяземский и Пушкин и писали их, нисколько не заботясь о прочих читателях. Это не так. Потому что в ту пору стихи неопубликованные бывали не менее, а часто и более широко известны, чем изданные. Включенные в письмо, они легко отделялись, уходили за его пределы: их заучивали наизусть, вписывали в альбомы, распространяли в списках. Не стесненные цензурными соображениями, они находили кратчайший путь к разуму и сердцу читателя-современника, для которого предметным и ясным было все, что для нас теперь — намек и подтекст.

Верно и глубоко понять это (и не одно это) стихотворение Вяземского возможно, лишь если хорошо знать события и время, когда оно было написано, события и время, о которых только что рассказано. Однако случай этот — скорее исключение: обыкновенно документов, помогающих «реконструировать», сколь-нибудь внятно представить себе происходившее, сохраняется мало, а то и вовсе никаких. Нам никогда не прочитать стихи так, как читались они, едва были написаны: они для нас «закодированы» течением времени, тем, что

культурно-исторический контекст, в который они были естественно включены, дошел до нас лишь фрагментарно, обрывочно, и в полной мере невосстановим. Так что рассчитывать приходится только на искусство чтения, благодаря которому иной раз удастся приблизиться к пониманию стихов, вчитавшись и вслушавшись в слова и их соприкосновения, в ритм стихового движения, определив место стихотворения среди прочих вещей того же автора — и между сочинениями его предшественников, современников, последователей. Но об этом мы поговорим в следующей главе.



Глава V. «Моя поэзия, весь мир мой в двух словах...»

...А тут неожиданный стих, неведомо с чего,
На ум мой налетит и вцепится в него;
И слово к слову льнет, и звук созвучья ищет,
И леший звонких рифм юлит, поет и свищет.

Вяземский. «Сумерки»

Странное дело: очень люблю и высоко ценю певучесть чужих стихов, а сам в стихах своих нисколько не гонюсь за эту певучестью. Никогда не пожертвую звуку мыслью моею. В стихе хочу сказать то, что сказать хочу...

Из «Автобиографического введения» к Полному собранию сочинений Вяземского

Стихотворение Вяземского «Море» появилось в печати в 1828 году. Это был рискованный поступок.

В том, что касалось декабристов, срока давности для Николая I не существовало: все тридцать лет своего правления он резко противился всякому напоминанию об участниках «событий 14-го декабря», любому, даже отдаленному, намеку на их судьбу. Был даже случай, когда подали ему выбранную для бенефиса французского актера Брессана, более десяти лет игравшего

на петербургской сцене, драму Гюго «Марион Делорм». Николай наугад раскрыл ее — на строчках о казни героев, швырнул книгу на пол и запретил постановку. Произошло это четырнадцатого декабря, — действительно, «бывают странные сближенья!» — 1838 года.

А тут миновало меньше трех лет, всего ничего, и читая стихотворение Вяземского, царь, как и все его подданные — из просвещенных, — не мог бы не понять, что поэт имел в виду, когда написал: «Кровь ближних не дымится в ней...» Или — в конце:

**Волшебю забывает ум
О настоящем, мысль гнетущем...**

У современников это «настоящее» было на уме и памяти — и никаких дополнительных пояснений им не требовалось. Они жили в том же мире, что и поэт, в том же круге событий и образов.

Постепенно и неотвратимо все это уходило в прошлое, утрачивало остроту для следующих поколений. Стихи как бы покрывались патиной времени, застывали, конкретность примет и знаков эпохи выветривалась, сглаживалась. «Море» превращалось в одно из многих «морей» романтической поэзии, вписывалось в целую галерею этой поэтической маринистики, вызванной к жизни драматическим ощущением неодолимого разрыва между идеалом и действительностью, все слышнее перекивалось с прочими вариациями традиционнейшего этого мотива, вплоть до пушкинского описания из «Сказки о царе Салтане». Отделяясь и отдаляясь от поэта, стихи все глубже затаивали свое *происхождение*, на первый план выступала *тема*.

В подобных случаях как-то забывается, что стихотворение в жизни поэта — не отдельный эпизод, который можно извлечь, ничего не повредив и не изменив. Оно — часть этой жизни и связано множеством нитей с биографией автора, с его временем, с людьми, составлявшими его окружение, наконец, с остальным его творчеством: с другими стихами, заметками, письмами — и более ранними, и поздними.

Поэтому нередко одно стихотворение, внимательное прочитанное, не вырванное из этой системы связей, пусть даже не до конца проясненных, дает своеобразный «ключ» к чтению и других сочинений поэта. Особенно если он, как Вяземский, в разное время возвра-

щался к некоторым темам, обращался к ним снова и снова, как бы разглядывая уже виденное — взглядом иного опыта и возраста. Он замечал эту свою особенность: «Часто встречаюсь с самим собою, даже несколько повторяю себя, но, право, не наизусть».

Под стихотворением «Море» — дата: «Лето 1826». Посылая его в конце июля Пушкину, Вяземский писал: «...Я пою или визжу сгоряча, потому что на сердце тоска и смерть, частное и общее горе...» Он попытался найти опору ускользающему душевному равновесию в картине величественной и вечной. Но отчаяние, гнев, боль врывались и в нее — строками и словами...

Прошло двенадцать лет. За это время Вяземскому довелось пережить смерть троих детей и потери близких друзей — Дельвига, Пушкина, Дмитриева... Суровее и жестче стало его отношение к жизни, большая часть которой, мнилось ему, позади. В таком состоянии приехал он в 1838 году в английский курортный город Брайтон.

Сошел на Брайтон мир глубокий,
И, утомившись битвой дня,
Спят люди, нужды и пороки,
И только моря гул широкий
Во тьме доходит до меня.

Казалось бы, повод к стихам тот же — душа поэта снова ищет опору в вечном, чтобы выстоять под натиском временного. Но тщетно — находит она лишь созвучия собственному смятению.

О чем ты, море, так тоскуешь?
О чем рыданий грудь полна?
Ты с тишиной ночной враждуешь,
Ты рвешься, вопишь, негодуешь,
На ложе мечешься без сна.

Вяземский уже спознался с бессонницей, она посещает его все чаще, чтобы с годами и вовсе почти перестать разлучаться с ним. «Бессонница моря» ему близка и понятна. И не случайно он теперь не *видит* море, как это было когда-то, только *слышит* его: все чувства сосредоточены в одном, в слухе, обостренном — до галлюцинаций.

Красноречивы и могучи
Земли и неба голоса,

Когда в огнях грохочут тучи
И с бурей, полные созвучий,
Перекликаются леса.

Но гаснет короткая вспышка озвученного видения. И еще острее становится одиночество — с воспоминаниями и горестными мыслями.

Но всё, о море! все ничтожно
Пред жалобой твоей ночной,
Когда смутишься вдруг тревожно
И зарыдаешь так, что можно
Всю душу выплакать с тобой.

Это — одно из самых пронзительных стихотворений Вяземского, написанных на переломе жизни — от зрелости к старости.

И еще двадцать девять лет миновало. Жизнь уже и правда почти прожита. Старость кончается. Пора оглянуться, может быть, в последний раз. И снова перед Вяземским — море.

Опять я слышу этот шум,
Который сладостно тревожил
Покой моих ленивых дум,
С которым я так много прожил
Бессонных памятных ночей,
И слушал я, как плачет море,
Чтоб словно выплакать всё горе
Из глубины груди своей...

Он подсказывает нам обратиться к тому — давнему — стихотворению: «Опять я слышу...» Шум моря, «который *сладостно* тревожил», о котором поэт говорил: «И упивается мой слух... И *сладко* предается дух...»

Напоминание подчеркнуто не только грамматически: в прошедшем времени говорится то же, что некогда произносилось в настоящем, — но и самую формой стихотворения, его строфикой. Оно, как и первое, 1826 года, состоит из восьмистиший, только теперь каждое из них — как бы зеркальное отражение прежних. Достаточно хотя бы взглянуть в расположение рифм: раньше перекрестная рифма (когда первая строка четверостишия рифмуется с третьей, а вторая — с четвертой) была во второй половине строфы, а опоясывающая (первая — с четвертой, вторая — с третьей) — в первой половине. Ныне — наоборот. Сделано это, разумеется,

не сознательно, не нарочно: просто память поэта, в которой зазвучали старые стихи, послужила своего рода зеркалом, когда бывшая тема вновь возникла из-под пера...

А вот и явственное указанное на «Брайтон»:

Дневной свой подвиг соверша,
Земля почилла после боя;
Но бурная твоя душа
Одна не ведает покоя,—

там, если помните, были и «мир глубокий», и «битва дня»...

Когда-то волны олицетворяли для поэта бессмертие и неизменность природы, наедине с которой особенно остро ощутима мимолетность человеческого бытия. Но волны его судьбы, то спокойные, то штормовые, прокатились и ушли от взгляда, как эти валы, ломающиеся на последнем взлете в нескольких шагах от берега и пенными брызгами рассыпающиеся у ног. И кажется: вот-вот море откроет этому многому познавшему и пережившему человеку «глубокий смысл» жизни, тайну, над которой вечно бьется и которую вечно не может разгадать каждый из живущих...

Мы внемлем чудный твой рассказ,
Но разуметь его не можем;
С тебя мы не спускаем глаз,
И над твоим бессонным ложем
Стоим, вперя жадный слух:
И чуем мы, благоговея,
Как мимо нас, незримо вея,
Несется бездны бурный дух!.

Чтобы прочитать — неторопливо, с междустрочными паузами и междустрофными пробелами — эти три стихотворения одно за другим, нужно всего несколько минут — а стихи провели нас через сорок с лишним лет жизни Вяземского. Он знал это свойство поэтической речи, когда писал:

Мое сокровище, хотя и дар случайный,
Моя поэзия, весь мир мой в двух словах...

Время поэзии сжато, сгущено. От строки до строки могли пролежать дни, месяцы, годы насыщенной событиями жизни поэта. И прожитое сказалось, выказалось в том, что стихи получились именно такими, как есть.

Наверно, поэтому их нельзя читать бегло и вскользь. Это — занятие медленное. И лишь тогда плодотворное, когда участвуют в нем не только глаза, но и слух, память, знания, воображение.

Прошлый век, который — из некоего пристрастия к эстетической субординации и историческим параллелям — называют «золотым веком» русской поэзии, был пронизан и озвучен стихами. То и дело — естественно и к месту — поэты в стихах цитировали друг из друга, не замыкая цитату в кавычки и не ссылаясь на автора, который и без того известен читателю, не столь бдительному, чтобы тотчас же заподозрить поэта в заимствовании или — того хуже — в плагиате. Он, читатель, наблюдал, как поэты спорят и соглашаются, возражают прочитанному и дополняют сказанное другими. А поэты отлично знали не только свои, но и чужие стихи — и прошлые, и современные. Например, в переписке Вяземского обнаруживаются приведенные — по случаю — строки Сумарокова и Хераскова, Ломоносова и Озерова, Батюшкова и Жуковского, Дмитриева и Пушкиных, дяди и племянника...

Мысль, изложенная в письме, повторилась — иными словами — в статье. Фраза из статьи, ритмизируясь, переходила в стихи. Когда Вяземский в одном из поздних стихотворений говорил о своей музе, что она,

**...если иногда от скуки
К стиху еще подводит стих,**

**То разве из одной привычки,
Так на лежанке в вечерок,
Сквозь сон передвигая спички,
Старушка вяжет свой чулок,—**

он попросту перефразировал, переадресовал себе сделанную в молодости заметку о Хераскове: «Я представляю себе Хераскова за стихами в виде старой бабы за чулком: руки ее сами собой идут, а она дремлет, но чулок между тем вяжется...»

Таких примеров можно бы привести множество. Поэты разговаривали между собой на известном в совершенстве языке — и публика, тоже неплохо обученная этому «коду», понимала, о чем речь. Опубликованные сочинения редко проходили, почти и не могли пройти не замеченными читателями; да что там напечатанные! — и рукописные, «непрорвавшиеся» через цензу-

ру, а то и вовсе изначально не предназначенные для печати, обычно были на слуху и в круге чтения. Ну, а стихотворные обращения и ответы были делом вполне привычным, «отправитель» и «адресат» равно пребывали на виду. Пусть между окликом и откликом пролегли месяцы, даже годы,— это не имело значения.

Со временем, однако, «код» устаревал. Одни поэты зачислялись в классики, другим отводилась роль «современников» этих классиков, не более того, третьи и вовсе позабывались. Общее действие распадалось на отдельные, разрозненные монологи.

Все же можно попытаться, для примера, восстановить — хотя бы отчасти — один такой диалог, где собеседники — поэты Вяземский и Баратынский.

Мой дар убог и голос мой не громок,
Но я живу, и на земли мое
Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах; как знать? душа моя
Окажется с душой его в сношеньи,
И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.

Эти стихи Баратынский написал в 1828 году. Их непременно вспоминают чуть ли не в любом размышлении об этом поэте.

А теперь — немного прозы: «...Поэт носит свой мир с собою: мечтами своими населяет он пустыню, и когда говорить ему не с кем, он говорит сам с собою. Вероятно, вот отчего многие из прозаистов и почитают поэтов безумцами. Они не понимают, что за выгода говорить на ветер, в уповании, что ветер этот куда-нибудь и когда-нибудь занесет звуки их души; что они сольются в свое время с отзывами всего прекрасного... На поэзию есть эхо: где-нибудь и как-нибудь оно откликнется на ее голос».

Так писал Вяземский в статье «Сонеты Мицкевича», которая появилась... в 1827 году. Последние строки о польском поэте, которого Вяземский горячо рекомендовал своим друзьям, прямо обращены к Пушкину и Баратынскому — «...освятить своими именами желаемую дружбу между русскими и польскими музами», то есть заняться переводами из польских поэтов, в первую очередь, из Мицкевича.

Миновать Баратынского статья эта никак не могла.

Даже если бы и не совпала она по времени с периодом самой тесной дружбы двух поэтов, их частых встреч — в Москве и Остафьеве. Вяземский писал Александру Тургеневу: «Чем более вижусь с Баратынским, тем более люблю его за чувства, за ум, удивительно тонкий и глубокий, раздробительный. Возьми его врасплох, как хочешь: везде и всегда найдешь его с новою своею мыслью, с собственным воззрением на предмет».

Если помнить, что Вяземский выше всего ценил в писателях способность самостоятельно «раздробительно», то есть аналитически мыслить, отстаивал право на существование «поэзии мысли», станет ясна превосходная степень этой похвалы.

Интерес и уважение были взаимными. Это видно хотя бы по стихотворению Баратынского 1834 года «Князю Петру Андреевичу Вяземскому», которое мы уже читали и которым в 1842 году была открыта книга «Сумерки», посвященная Баратынским Вяземскому. Через два года Баратынского не стало...

Однако для Вяземского мысленный разговор с Баратынским на этом не оборвался. Он на тридцать четыре года пережил своего младшего друга. Он многих младших — и надолго — пережил...

В его стихотворении середины шестидесятых годов «Поминки» самые дорогие поэтические имена:

Дельвиг, Пушкин, Баратынский,
Русской музы близнецы,—

названы первыми и в том порядке, в каком ему довелось прощаться с ними.

Наконец, в 1869 году вышло из печати Полное собрание сочинений Баратынского. Оно не стало событием в литературной жизни тех лет. Поэт и прежде был не слишком знаменит, теперь его почти забыли. Но уж отклик-то Вяземского ждать себя не заставил! Видимо, он одним из первых определил причину несправедливости современников к замечательному поэту: Баратынский пришел в поэзию после Пушкина, так и остался в его тени; ведь, как известно издавна, одна тропа узка «для двух кумиров»...

А разговор все длится — в мыслях и памяти. И внезапно прорывается наружу, выплескивается в стихах уже восьмидесятитрехлетнего Вяземского. Сначала неявно, сдержанно:

**Вот, например, хотя бы грешный я:
Судьбой дилетантизм во многом мне дарован,
Моя по всем морям носилась ладия,—**

помните, у Баратынского: «Понятны вам все дуновенья,
Которым в море бытия Послушна наша ладия...» —

**Но берег ни один мной не был завоеван,
И в мире проскользит бесследно жизнь моя...**

Потом переключка со стихами покойного друга становится звучнее, откровенней:

**Но все же, может быть, рожден я не напрасно,
В семье людей не всем, быть может, я чужой,
И хоть одна душа откликнулась согласно
На улетающий, минутный голос мой.**

Так встречаются в поэзии два голоса — в последний раз. И два стихотворения сквозь прозрачное для звука сорокалетье звучат согласно, словно отражая друг друга и не искажая отражений. Потому что, кроме ясного и печального их смысла, кроме простых и понятных с первого чтения слов, становится вычтенным и образ «друга в поколеньи», найденного каждым из этих поэтов — в другом, и отзыв друга...

Такое в поэзии случается нередко. Кажется, прочитал стихотворение, перечитал — и вот уже все в нем прочувствовал, во всем разобрался, уловил созвучие собственным мыслям и переживаниям. Но стоит побольше узнать о поэте и его времени — и оказывается, что стихотворение многое утаило от нас, что оно было некогда еще и как бы перекрестком поэтических путей, пройденных разными людьми, связанными дружеством, либо, может быть, и не встречавшимися никогда, словом в беседе поэтов, которая станет явственной и для нас, если вслушаться...

**Несись с неукротимым гневом,
Мятежной влаги властелин!
Над тишиной окрестной ревом
Господствуй, бурный исполин!**

**Жемчужною, кипящей лавой,
За валом низвергая вал,
Сердитый, дикий, величавый,
Перебегай ступени скал!**

Стихотворение «Нарвский водопад», написанное летом 1825 года, не раз привлекало пристальное внимание исследователей и историков литературы. Потому что в досконально изученной, казалось бы, переписке Пушкина с Вяземским к этому стихотворению относится фрагмент, без которого не может обойтись ни один разговор о пушкинском отношении к поэзии в середине двадцатых годов.

В письме от четвертого августа 1825 года из Ревеля в Михайловское, посылая Пушкину «Нарвский водопад», Вяземский писал: «...Только надобно кое-что исправить. Заметь и доставь мне замечания... Я доволен тут одним нравственным применением, но стихи что-то холодны!»

Надо сказать, что на стихи «пылкие», или, скажем мягче, «горячие», Вяземский никогда не бывал щедр. И обычно некоторая «холодность» стихов, кстати, отмечаемая и дружелюбными, и враждебными критиками, не особенно его беспокоила. Стало быть, здесь этим словом передано, скорей всего, чувство внутренней неудовлетворенности, недовольство тем, как воплотился замысел в слова и строки.

Пушкин откликнулся сразу по получении письма со стихами, четырнадцатого августа: «Мой милый, поэзия твой родной язык, слышно по выговору, но кто же виноват, что ты столь же редко говоришь на нем, как дамы 1807-го на славяно-росском... Благодарю очень за водопад. Давай мутить его сейчас же...» Дальше — довольно много замечаний, часть которых Вяземский учел, продолжая работу над стихотворением. Одно это могло бы послужить опровержением сложившегося у современников — не без «подсказки» Вяземского — мнения, будто стихи Вяземского — вольно вылившиеся на бумагу импровизации, править которые поэт не любил, да и едва ли умел...

Попробуем присмотреться к этим замечаниям и разобратся — какими увидел стихи Пушкин, по всей вероятности, первый их читатель? Надо только помнить, что цитирует и критикует он первый вариант, подчас сильно отличающийся от того, что теперь перед нами.

Вторая строка была такова: «Сердитый влаги властелин...» Пушкин заметил неточность: «Водопад сам состоит из влаги, как молния сама огонь». По-своему он прав: в собственных стихах того времени он стремился

не только к поэтической, но и к логической точности слов в стихе, снимал пресловутое противостояние «алгебры» и «гармонии».

Вяземский в ответном письме нашел, что возразить: «Называя водопад *властелином влаги*, я его лицетворю, забывая этимологию его, говорю о том незримом *porteur**, побудителе водяной суматохи». Он «забывает этимологию» — происхождение слова «водопад» от «падающая вода». Мы ведь нередко подобным образом пользуемся словами «метафорически», не обращая внимания на их строение, а следуя лишь тому «конечному» смыслу, который связан со словом в представлении окружающих нас людей.

Тем не менее строку Вяземский переделал. Но совсем не так, как предлагал Пушкин. Он просто изменил эпитет и его принадлежность: «Мятежной влаги властелин». Вместо «Сердитый» (властелин) поставил «Мятежной» (влаги). Одним движением пера и уклонился от смыслового повтора (если «Несись с *неукротимым гневом*», то уж ясно, что «сердитый», незачем сбавлять эмоциональное напряжение), и привел строку к более естественному звучанию, избавившись от «неработающей» инверсии, и сохранил необходимый, на его взгляд, «лицетворяющий» образ.

Логическая точность в этом случае не играла, по Вяземскому, существенной роли. Ему, столь жестко логичному в статьях, письмах, даже записях «для себя», теперь — в стихах — куда важнее подготовить переход поэтической мысли от одного к другому и сделать это психологически убедительно, «лицетворить» водопад, а если «филологическая» логика тому помехой, то и бог с ней, с логикой!.. Ведь о водопаде-то он пишет лишь затем, чтобы передать, выразить состояние человека в бурные минуты жизни, раскрыть это состояние в ярком, зримом сравнении с водопадом. Все стихотворение — ничто иное, как развернутое сравнение.

Когда замечания Пушкина совпадали с этой задачей, он охотно принимал их. И без колебаний отвергал, если видел, что поправки могут увести от цели. Мыслью своею он не собирался жертвовать ничему: «В стихе хочу сказать то, что сказать хочу...»

* Moteur — двигатель (франц.)

А вот как выглядели в первоначальном варианте две других строфы:

Под грозным знаменем свободы
Несешь залогом бытия
Зародыш вечной непогоды
И вечнобьющего огня!

.....
Как ты, внезапно разгорится,
Как ты, растет она в борьбе,
Терзает лоно, где рождается,
И поглощается в себе.

Это уже — о сравнимой с водопадом «страсти в святилище души» человеческой...

Пушкин: «Зародыш непогоды в водопаде: темно. Вечнобьющий *огонь* — тройная метафора... «Как ты, внезапно разгорится...» — Ты сказал о водопаде *огненном* метафорически, т. е. *блистающий, как огонь*, а здесь уже переносишь к жару страсти сей самый водопадный пламень...»

И снова Пушкин прав — со своей точки зрения, — когда объясняет, что в стихе, помимо всего прочего, необходима и логическая точность слова и что нельзя оправдать ее отсутствия тем, что те или иные слова употреблены не в прямом, а в символическом значении. Такие требования он предъявлял к самому себе.

Впрочем, через одиннадцать лет Пушкин снисходительнее отнесется и к «тройной метафоре», и к прочим «неточностям», встретившись с ними в стихах другого поэта, — и даже публикует его стихи в своем «Современнике». Но об этом — чуть позже.

Вяземский смотрел на все это иначе. Первую строфу он переработал основательно, почти целиком, а вторую — лишь немного подправил:

Противоречие природы,
Под грозным знаменем тревог,
В залоге вечной непогоды
Ты бытия принял залог.

.....
Как ты, внезапно разразится,
Как ты, растет она в борьбе...

Действительно, стих «Под грозным знаменем свободы» больше подошел бы стихотворению шестилетней давности — «Негодованиею». В нем подсознательно

возник внезапный и резкий отзвук тогдашних настроений, веры, что «грозное знаменье свободы» побудит царя выполнить данное обещание, демократизировать российскую государственность. Теперь же уместнее образ, хотя и столь же с виду отвлеченно-риторический, но более «зашифрованный», заключающий в себе предчувствие близких «тревог» — на дворе, напомним, август 1825 года — и не так бросающийся в глаза во втором стихе, как на поверхности строфы...

Остальная правка лишь проясняла мысль, показавшуюся Пушкину «темною». От «тройной метафоры» Вяземский отказался. Похоже, на этот прием, который в будущем стал в поэзии полноправным и довольно распространённым, он «набрел» случайно, убедительно оправдать его присутствие в стихах не смог — и не стал упорствовать.

В последней строфе он заменил одно слово — но как! Вместо «разгорится» — «огня»-то больше нет! — появился предложенный Пушкиным и ничуть не более подходящий водопаду глагол «разразится», да еще «внезапно» (здесь Пушкин советовал поставить что-нибудь понейтральней, но — нет, осталось, как было). А ведь водопад, говорит сам поэт, «вечная непогода», в этом его «залог бытия».

Внешняя логика снова нарушена, разумеется, вполне сознательно: речь в конце стихотворения идет о стихийно возникающей в душе страсти, о «водопаде» этой страсти, где логике нет места, так сказать, по определению.

Интересно проследить теперь, как совершился этот непросто давшийся поэту переход.

**Несись с неукротимым гневом,
Мятежной влаги властелин!**

.....
**Сердитый, дикий, величавый,
Перебегай ступени скал!..**

Вот куда ушел эпитет «сердитый» — в раннем варианте стояло: «огромный».

.....
**Дождь брызжет от упорной сшибки
Волны, сразившейся с волной...**

.....
**Я мыслью погружаюсь в шуме
Междоусобно-бурных вод...**

Первые три строфы подчеркнуты, как будто «отсечены» от остальных этим вдруг появившимся «я», словно преступившим раму картины, которая тут же превращается в «пейзаж с фигурой». И еще — «мыслью» возникающей на стыке чувств — зрения и слуха: «Я мыслью погружаюсь в шуме...»

.....
**Твой ясный берег чужд смятенью,
На нем цветет весны краса...**

.....
**Но ты, создание тайной бури,
Игралище глухой волны...**

Еще три строфы, в которых намек на страсть слышится задолго до того, как она будет названа: «...чувства отдыхают нежно» и «...ясный берег чужд смятенью» — на фоне окружающего идиллического покоя отчетливей и тревожней увидится взволнованная душа. А резкое столкновение противоположностей на границе этих и следующих трех строф: «ясный берег» и «создание темной бури», — своего рода предисловие к «внезапной» вспышке страсти, подобной водопаду...

**...В залоге вечной непогоды
Ты бытия принял залог.**

**Ворвавшись в сей предел спокойный,
Один свирепствуешь в глуши,—
Как вдоль пустыни вихорь знойный,
Как страсть в святилище души...**

Потом — всего одна строфа, последняя. И в ней-то это сравнение с водопадом, ради которого написано стихотворение, «нравственное применение», которым был доволен поэт, становится не иносказательным — прямым: «Как ты, внезапно разразится...»

Мы к этому уже были подготовлены, поднимаясь вслед за поэтом стихотворною лестницей, тремя ее пролетами — по три строфы в каждом, — туда, куда поэт хотел нас привести: к десятой, последней строфе. Все выстроено безупречно, мастерски. И теперь самое время заново — и по-новому — прочитать стихотворение. И если к тому же замедлить чтение, присмотреться к отдельным словам, их порядку и оттенкам, заметим еще одну особенность последнего четверостишья, слово «освещающего» все остальные.

Все стихотворение густо насыщено эпитетами, без которых не обходится ни одно изображение, ни один образ — слуховой, зрительный или мыслимый. Но лишь перед самым концом два из них заметно выделяются: «предел спокойный» — «вихорь знойный» (потому, очевидно, и не тронул последнего Вяземский, не внял пушкинскому совету). Они выделяются своею откровенной противоположностью. И тем, что оба — на инверсии, и тем, что рифмуются, то есть оказываются как бы под дополнительными ударениями. И тут же эпитеты исчезают. В последней строфе от них остается единственный отзвук — но какой! — «внезапно».

О водопаде так сказать невозможно — в обыденной речи. В стихе это словосочетание неизбежно привлечет внимание — странностью. Одним этим словом Вяземский указывает нам убедительнее, чем всеми прозаическими комментариями, что пейзаж для него — только способ и форма передачи в стихах внутреннего состояния человека. В его лирике пейзаж всегда таков, всегда «лицетворен», всегда таит переход «на человека», «на себя». Сам же пейзаж, как ни будь хорош, поэт не занимает. Подобные «символические» пейзажи редки у Пушкина, зато множество их можно обнаружить в философской лирике Тютчева. Но позже — на добрый десяток лет...

«Напиши же мне: в чем ты со мною согласишься», — заканчивал Пушкин первый отклик на «Водопад», вызывая, конечно, Вяземского не столько на согласия, сколько на возражения. «Согласие» — это правка строк и строф, говорящая сама за себя. А вот отсутствие правки, либо сделанное наперекор пушкинским замечаниям надобно объяснить. «Вбей себе в голову, — писал Вяземский, — что весь водопад не что иное, как человек, взбитый внезапною страстию. С этой точки зрения, кажется, все части согласуются, и все выражения получают une arrière-pensée*, которая отзывается везде...»

Однако Пушкин такого возражения не принял и завершил спор репликою в письме от тринадцатого сентября 1825 года: «Ты признаешься, что в своем водопаде ты более писал о страстном человеке, чем о воде. Отसेле и неточность некоторых выражений».

* Une arrière-pensée — задняя мысль, подоплека (франц.).

Нелепо предполагать, что Пушкин только теперь — после несколько раздраженного разъяснения — это понял. Ни слова не упустил он из сказанного Вяземским при присылке «Нарвского водопада», однако, попытался, если угодно, «примерить» написанное другим к своим поэтическим воззрениям, испытать собственные установки, воспользовавшись полемическим поводом. Все здесь ясно — и можно основательно рассуждать о том, от чего в ту пору отталкивался и к чему шел Пушкин. Правда, из рассуждений этих вовсе не следует, что путь, от которого Пушкин уклонился, не имеет смысла и для других поэтов. Скорее наоборот — нет никакого резона идти по пятам за гением.

В споре далеко не всегда правота одного непременно означает неправоту другого. Нередко спор продуктивнее, когда в основе его не «или — или», но «и — и», то есть когда ведется он не ради опровержения чужих взглядов, но для уточнения и упрочения собственной позиции. Поэтому и Вяземский по-своему прав, его позиция продуманна и тверда: он отстаивает право писать не «по-пушкински», а «по-вяземски».

Тем более любопытно, что в этой переписке, пожалуй, чересчур оживленной для одного-единственного стихотворения, собеседники, не сговариваясь, обходят, быть может, наиболее важную тему. Вернее, не называют ее: для них она очевидна, а постороннему их письма не предназначены. Нам же, чтобы восстановить утраченный «код», разглядеть подтекст этого письменного диалога, следует поискать то поэтическое явление, которое имеется в виду, хоть и не упоминается.

Поиск несложен. Стихотворение Вяземского явно связано не только с его собственными переживаниями и размышлениями, но, конечно, и с написанным тридцатью годами раньше «Водопадом» Державина. С произведением, которое к двадцатым годам XIX века знал чуть ли не наизусть любой просвещенный читатель в России.

Сходство, точнее — родство, явное или отдаленное, стихов двух поэтов из соседних литературных поколений — вещь довольно обычная. Да и тема — не редкость: водопады вдохновляли многих поэтов, стихотворения о них можно обнаружить, вероятно, в любой европейской поэзии первой трети прошлого столетия, порою романтизма. Естественно — и в русской.

Вот — одно из них, впервые опубликованное в 1821 году.

Шуми, шуми с крутой вершины,
Не умолкай, поток седой!
Соединяй протяжный вой
С протяжным отзывом долины.

Я слышу: свищет аквилон,
Качает елию скрыпучей,
И с непогодю ревучей
Твой рев мятежный согласен.

Зачем с безумным ожиданьем
К тебе прислушиваюсь я?
Зачем трепещет грудь моя
Каким-то вещим трепетаньем?

Как очарованный, стою
Над дымной бездною твоею
И, мнится, сердцем разумею
Речь безглагольную твою.

Шуми, шуми, с крутой вершины,
Не умолкай, поток седой!
Соединяй протяжный вой
С протяжным отзывом долины!

Баратынский включил это стихотворение в раздел «Элегии» своей книги 1827 года. Не то, чтобы противопоставил его державинской оде, но довольно отчетливо отделил одно от другого.

Здесь нет пейзажа, вообще ни одного зримого образа — условные «крутая вершина», «поток седой», «дымная бездна», понятно, не в счет. С обращения — с первого слова первого же стиха — поэт, кажется, весь обратившись в слух, включается, погружается в звучащую стихию. Не сравнением душевного состояния с водопадом движется стих, но их созвучием. Это — медитация, порождающая романтические предчувствия и догадки.

О том же писал спутник поэта и невольный свидетель возникновения стихов: «В Финляндии есть чудо: это водопад *Иматра*, река Вокса, суженная гранитными берегами, с оторванным дном, летит в бездну. После лагеря мы поехали посмотреть этого водопада. Долго стоял поэт над оглушающей бездонной пропастью, скрестив руки на груди. Кто не прочитал с наслаждением стихов, выражающих чувство, владевшее им на скалах Иматры...»

Видимо, здесь надо искать объяснение, почему стихи эти неожиданно оказываются ближе не к «Нарвскому водопаду», отделенному от них всего четырьмя годами, но к созданному Вяземским почти полвека спустя последнему стихотворению «морской» темы: «Опять я слышу этот шум...» — вплоть до очевидных реминисценций:

**Мы внемлем чудный твой рассказ,
Но разуместь его не можем...**

Или:

**И над твоим бессонным ложем
Стоим, вперя жадный слух...**

Впрочем, такого рода переключка между стихами Баратынского и Вяземского, как мы уже видели, не единична. Любопытнее поэтому другой пример.

В 1830 году написано и тут же напечатано стихотворение Языкова:

**Море блеска, гул, удары,
И земля потрясена,
То стеклянная стена
О скалы раздроблена,
То бегут чрез крутояры
Многоводной Ниагары
Ширина и глубина!**

**Вон пловец! Его от берега
Быстриною унесло...
В синий сумрак водобега
Упирает он весло...
Тщетно! бурную стремнину
Он не в силах оттолкнуть;
Далеко его в пучину
Бросит каменная круть!**

**Мирно гибели послушный,
Убрал он свое весло;
Он потупил равнодушно
Безнадежное чело;
Он глядит спокойным оком...
И к пучине волн и скал
Роковым своим потоком
Водопад его помчал.**

**Море блеска, гул, удары,
И земля потрясена,
То стеклянная стена**

**О скалы раздроблена,
То бегут через крутояры
Многоводной Ниагары
Ширина и глубина!**

Описание водопада, окольцовывающее стихи,— лишь фон, на каком разворачивается действие, привлечшее взор и мысль поэта (не случайно этот «Водопад» при первой публикации назывался иначе — «Пловец»). Пристально следит Языков за пловцом (поэт наших дней скорее сказал бы — «гребцом»), который отчаянно сопротивляется увлекающей его стремнине и, вконец обессилив, отдается на волю рока. Интересен при этом эффект двойного зрения: происходящее видится одновременно и издалека, в целом, и вблизи, откуда различимы и безнадежность на челе, и спокойный взгляд пловца...

И снова не с «Нарвским водопадом» напрашиваются на сопоставление стихи, казалось бы, родственного происхождения. Но, по первому впечатлению, пожалуй,— с написанным через два года лермонтовским «Парусом», где водопада нет и в помине, есть море:

**Играют волны, ветер свищет,
И мачта гнется и скрипит...**

У Лермонтова — та же, что у Языкова, тема: тема судьбы, рока (одна из существеннейших, к слову, для романтической поэзии вообще), — но иной угол зрения. Добровольное стремление в бурю — вместо смирения перед необоримой стихией...

А если выбирать среди известных Языкову стихотворений Вяземского, придется опять-таки остановить внимание на «Море» — первом, за два года до того опубликованном (то, что языковские стихи начинаются словом «море», — случайная, разумеется, «подсказка», но все же — «подсказка»). Та же — без единого трагического тона — экспозиция. А потом:

**И если смертный возмутит
Весь мир преступною отвагой,
Вы очистительною влагой
Спешите смыть мгновенный стыд.
Отринутый из чуждых недр,
Он поглощаем шумной бездной...**

«Нарвский водопад» Вяземского вызывает в памяти не элегии современников. Но оду предшественника. Державина.

Правда, задача у Державина была иною, чем у Вяземского: «выше», монументальнее, эпичнее. Он задумывал «поэтический памятник» Потемкину. Но, как чаще всего и бывает у лучших из поэтов, стихи оказались намного шире, значительнее заданной «программы». Это — философские раздумья о смысле жизни. Это — стихи о человеке, вся богатая деяниями жизнь которого уподобляется водопаду.

Алмазна сыплется гора
С высот четыремя скалами,
Жемчугу бездна и серебра
Кипит внизу, бьет вверх буграми;
От брызгов синий холм стоит,
Далече рев в лесу гремит.

.....
О водопад! в твоём жерле
Все утопает в бездне, в мгле!

Ветрами ль сосны поражены?—
Ломаются в тебе в куски;
Громами ль камни отторжены?—
Стираются тобой в пески;
Сковать ли воду льды дерзают?—
Как пыль стеклянна ниспадают...

И наконец:

Не жизнь ли человек нам
Сей водопад изображает?—
Он так же блеском струй своих
Поит надменных, кротких, злых.

Не так ли с неба время летится,
Кипит стремление страстей,
Честь блещет, слава раздается,
Мелькает счастье наших дней...

Здесь сразу видится немало общего со стихами Вяземского: «жемчугу бездна» — «жемчужная лава», «гора» — «лава» (извергаемая «огнедышащей горой», вулканом), «далече рев в лесу гремит» — «над тишиной окрестной ревом», «кипит стремление страстей» — «как страсть в святилище души», — и так далее. Но важнее всего — внутреннее сходство, прежде всего «пере-

ход» поэтической мысли от пейзажа к человеку. Державину понадобилось для этого почти шестьдесят стихов, а вся его ода в десять с лишним раз длинее, чем стихотворение Вяземского.

Есть и другие — «нечисловые» — различия. У Державина пейзаж «приподнят» и громогласно торжествен. У Вяземского он проще и конкретней: не только потому, конечно, что в заглавии назван водопад, реально существовавший, — Нарвский. Ведь и предшественник как будто писал свой пейзаж «с натуры»: наблюдая водопад Кивач в бывшей Олонецкой губернии (да и Баратынский на Иматру нагляделся, прежде чем прямо речью к водопаду обратиться)...

Пушкин считал «Водопад» лучшим произведением Державина. Невероятно, чтобы он «не заметил» всех этих связей стихов Вяземского с державинскими.

Характерно и другое. Пушкин *ни разу* не назвал стихотворения полностью. В первом письме сократил до державинского: «Благодарю очень за водопад...» Во втором — снова без кавычек и с маленькой буквы (даже слитно с «своим», это видно в автографе письма): «Ты признаешься, что в своем водопаде...» В своем — потому что есть другой. И оба о нем помнят.

Может показаться, что Державину Пушкин легко «прощает» многое из того, за что выговаривает Вяземскому. Но это не так. Вспомним, что немзыкальность, звуковую корявость стихов, подчас раздражавшую его в Вяземском («Что за звуки!»), он отмечал и у Державина. И вполне естественным поэтому должно было видеться следование Вяземского за Державиным не в одной только «звукописи». Вот с этим-то *направлением* он и спорил: через современника — с предшественником. Отвергал отжившую, на его взгляд, поэтическую систему — и утверждал новую, свою.

В отличие от Пушкина, Вяземский не был склонен к основательной полемике с величайшим поэтом XVIII века, каким считал Державина. Его перу принадлежит первый в русской литературе очерк творчества Державина, написанный сразу после смерти поэта, в 1816 году. Именно этот очерк в большой степени определил — на добрые три четверти века — большинство последующих рассуждений о творчестве Державина.

«Из всех поэтов, известных в ученном мире, может быть, Державин более всех отличался оригиналь-

ностью, и потому род его должен остаться неприкосновенным. Природа образовала его гений в особенном сосуде — и бросила сосуд. Державину подражать можно, то есть Державину в красотах его. Подражатели заимствуют одни пороки, но ни одной красоты, ни одной мысли, ни одного счастливого выражения из могущественной и упрямой руки гения не исторгнут... Ломоносова читатель неподвижен; Державин увлекает, уносит его всегда за собою...»

А далее — ближе к концу очерка — он говорит о Державине, не предполагая, что предрекает собственную судьбу, свой поздний лирический расцвет: «Державин совершил свое поприще и заплатил последнюю дань природе в те лета, в которые человек перенес уже важнейшую утрату — утрату всего, что, так сказать, живого было в жизни...»

Ясно, что Вяземский лучше чем кто-либо понимал рискованность, даже безнадежность попытки подражать «Державину в красотах его», заимствовать у него хотя бы «одну мысль». И все же он сознательно пошел на то, чтобы любой читатель, не только Пушкин, обнаружил явную связь между двумя «Водопадами». Зачем ему это?

Да затем, чтобы именно заставить читателя вспомнить знаменитые стихи, вспоминать их по мере чтения «Нарвского водопада»; чтобы между этими двумя стихотворениями возникло напряжение и искра просверкнула — озарила сокровище в стихах. А еще затем, что сознает он себя хранителем и наследником традиции, развивает ее, сообразуясь с талантом своим и воззрениями на поэзию, оживляет ее для нового, только что появившегося поколения читателей. Он не соревнуется, тем паче — не отвергает. Но просто идет дальше — и путь оказывается дальним. И не одиноким — вскоре у Вяземского появляется замечательный спутник.

В середине тридцатых годов были написаны стихи, автор которых в литературных дискуссиях участия не принимал, да и вообще мало кому был тогда известен как поэт.

**Смотри, как облаком живым
Фонтан сияющий клубится,
Как пламенеет, как дробится
Его на солнце влажный дым.**

Лучом поднявшись к небу, он
Коснулся высоты заветной —
И снова пылью огнецветной
Ниспасть на землю осужден.

О смертной мысли водомет,
О водомет неистощимый!
Какой закон непостижимый
Тебя стремится, тебя мятет?

Как жадно к небу рвешься ты!..
Но длань незримо-роковая,
Твой луч упорный преломляя,
Свергает в брызгах с высоты.

Стихотворение Тютчева «Фонтан» впервые было опубликовано в третьем томе «Современника» на 1836 год редактором Пушкиным.

Само по себе это, вроде бы, ничего не доказывает. И все же знаменательно, что старый спор Пушкина с Вяземским завершился спустя десятилетие столь своеобразно — с помощью поэта, не имевшего понятия ни о каком споре.

Выходит, дело не в том, что Вяземский следовал устаревшей, по мнению Пушкина, поэтической системе, традиции, но в том, что традиция эта продолжала сокровенно развиваться и в пору пушкинских стиховых преобразований, чтобы впоследствии явственно проступить в таких явлениях, как лирика Тютчева, как позднее творчество самого Вяземского.

Мы знаем, что некогда, правя «Нарвский водопад», Вяземский отказался от «тройной метафоры»: «вечно-бьющего огня» водопада и следующего за ним глагола «разгорится». С тех пор многое изменилось в поэзии — и в ее восприятии читателями.

Вообще читатель стихов не быстро и не просто привыкает ко всякой новизне, предлагаемой поэтом. Новые словоупотребления и образы не без труда завоевывают признание. Например, в начале XIX века на одном из собраний у будущего главы «Беседы» Шишкова всерьез спорили о прочитанном стихотворении: почему это у автора птица режет воздух «крылом», а не «крыльями»? На одном крыле она, дескать, и мгновенья в небе не продержится... А десять лет спустя такого рода синекдоха была уже привычна и не задерживала собою внимания.

Так и здесь. Всю первую часть стихотворения Тютчев построил как раз на «тройной метафоре», причем всячески это подчеркивал: «фонтан сияющий... пламенеет... влажный дым... лучом поднявшись к небу... пылью огнецветной...» Как не вспомнить стих из третьей строфы «Нарвского водопада»: «И влажный дым, как облак зыбкий», — и «вечнобьющий огонь», вымаранный Вяземским из окончательного варианта! А если продолжить: «...пылью огнецветной Ниспасть на землю осужден...» И тут же процитировать из Державина: «Как пыль стеклянна ниспадают...» — тогда увидим, что неполных двух стихов достаточно порою, чтобы обнаружилась тесная связь трех поэтических явлений, отделенных друг от друга десятилетиями...

Логических «неточностей» в этом стихотворении Тютчева немало — и оправданы они тем, что прочно взаимосвязаны, как бы «прошиты» сквозною «тройной метафорой», а слова в стихе, почти все, употреблены не в прямом — в символическом значении. Одна «неточность», попав среди конкретных примет, могла бы разрушить и картину, и мысль поэта. Но во множестве, взаимодействуя, они-то как раз и создают высшую — поэтическую точность тютчевских строк. То, что началось как прием, вырастает в целую поэтическую систему, где всему находится место, скажем, сочетанию существительного со сложным, составным эпитетом: «длань незримо-роковая», — напоминающему те самые «междоусобно-бурные воды», которые появились у Вяземского в ответ на замечание Пушкина, что строка: «Твоих междоусобных вод» — «не включает в себе идеи брани, спора — должно непременно тут дополнить смысл». А форма «дополнения» была подсказана опять-таки опытом поэзии XVIII века: ломоносовским — «мозгокружны браги», державинским — «милосизая птичка»...

Фонтан для Тютчева — символ «смертной мысли водомета». Сопоставление, которое Вяземский готовил неторопливо, постепенно, Тютчев провел решительно, энергично, затратив всего одно восьмистишье. Да и все его стихотворение значительно короче «Нарвского водопада». При этом Тютчев неожиданно оказывается еще ближе, чем Вяземский, к Державину, к его:

Не жизнь ли человек нам
Сей водопад изображает?..

Из «урока Державина» извлечено самое существенное для нового поэтического слова. Сделано это исчерпывающе.

Пройдет полсотни лет — и Случевский, поэт «пограничного времени» меж двумя эпохами русской поэзии, подведет своего рода итог существованию «водопада» в поэтическом лексиконе девятнадцатого столетия, напишет:

Я слышал много водопадов,—

и добавит прозаически-буднично, по-канцелярски деловито:

Различных сил и вышины...

А еще позже, в 1910 году, словно минуя стороной опыт поэтов предыдущего века (а на самом деле глубоко усвоив его и растворив — до прозрачности — в своем стихе), вызовет в памяти державинский «Водопад» своим восьмистишием Мандельштам:

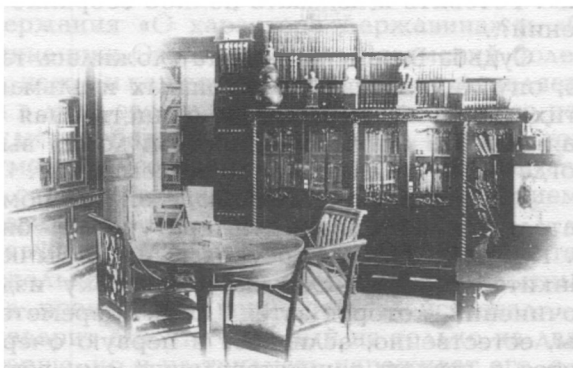
**Где вырывается из плена
Потока шумное стекло,
Клубящаяся стынет пена,
Как лебединое крыло.**

**О, время, завистью не мучай
Того, кто вовремя застыл.
Нас пеною воздвигнул случай
И кружевом соединил.**

Вот этими связями между следующими друг за другом литературными поколениями жива и держится поэзия, держит читателя в поле притяжения. И чтобы распознать эти связи, мало видеть в стихах лишь их общечеловеческое содержание, сохраняющее значение во все времена. Надо еще непременно попытаться прочитать стихи *в их времени*: установив творческое происхождение поэта более позднего, можно услышать и понять тех, кто были до него, уловить «эхо поэзии», для которого время — не преграда...

Вяземский это знал. И считал, что читателю надо помогать, что он, Вяземский, обязан взяться за критику, взять на себя непростую задачу — учить читать стихи, видеть их место в истории литературы, в жизни общества, в духовном мире человека, приобщить читателя

к литературе, сделать его из наблюдателя участником всех ее событий. Затем и написаны его многочисленные историко-литературные и критические статьи, потому и неотделимы они от его поэзии.



Глава VI. «Наш век требует мыслей...»

Вести жизнь в литературу и литературу в жизнь казалось мне всегда привлекательною и желанною задачею.

*Из «Приписки» Вяземского к статье
«О жизни и сочинениях В. А. Озерова»*

Грубо ошибаются те, кои полагают, что для звания критика потребны только ученый чин и диплом; еще непростительнее поступают те, кои пускаются на поприще критики для отмщения мелкой своей личности... Побуждения полемического писателя должны быть всегда чисты и откровенны; он не должен быть двуличным, не должен в глаза искать ласки того, кого готовится унижать под рукою: иначе его криводушие отразится и в кривых его суждениях.

*Из ответа Вяземского на критику его
предисловия к «Бахчисарайскому
фонтану»*

Поэты редко доживают до той поры, когда все, что хотел сказать, сказано. Когда можно — и еще хватает сил — подвести окончательный итог своей жизни в литературе: собрать и неторопливо перечитать написанное в разные годы и по различным, подчас давно уже несущественным поводам. И ничто не мешает пораз-

мыслить: стоит ли соединять под одну обложку эти разбросанные и рассеянные во времени «летучие листки»? Готовить и издавать полное собрание своих сочинений?..

Судьба Вяземского-поэта сложилась так, что у него, опубликовавшего в журналах и альманахах сотни стихотворений, первая — и единственная прижизненная — книга стихов «В дороге и дома» вышла в свет, когда ему уже перевалило за семьдесят.

В восемьдесят четыре года он — с помощью замечательных историков литературы и библиографов Я. К. Грота, Н. П. Барсукова, А. Ф. Бычкова и А. В. Никитенко — принялся за подготовку издания своих сочинений, которое затеял С. Д. Шереметев. Казалось бы, естественно, если поэт в первую очередь позаботится о стихах, сопутствовавших ему всю жизнь. Но нет: первые два тома — из двенадцати — он отвел статьям о литературе, написанным за сорок лет, начиная с 1810 года. Некоторые статьи когда-то были опубликованы под псевдонимами, авторство их, достаточно ясное части современников, для потомков стало загадкой. Другие вызваны к жизни литературными схватками, остроту и содержание которых мало кто из читателей сумел бы вспомнить, представить себе. Третьи возникали в полемике, давно завершившейся, и потому высказанные в них дискуссионные суждения и оценки нуждались теперь в уточнениях и разъяснениях — для тех, кто не знаком с тогдашним положением дел и расстановкой сил. Четвертые и вовсе не появлялись в печати, пролежали в столе, не одолев цензурных барьеров...

Вяземскому и самому было интересно побывать на «выставке жизни» своей, какую становятся для писателя его сочинения. Ко многим «экспонатам» он составил авторский комментарий, нисколько не пытаясь оправдать задним числом свои былые просчеты и даже заблуждения, но лишь стремясь быть верно и полно понятым.

То, что он прежде всего подготовил именно критическую прозу (а прочее уже не успел, да и первый том не довелось ему поддержать в руках — изданным), говорит о его отношении к этой стороне своего творчества. Он полагал, что сумел сказать свое, особенное слово в русской критике. И был совершенно прав.

В третьей статье о Пушкине Белинский писал, что

Вяземский «действовал как поэт и как критик, и в обоих случаях деятельность его всегда вызывалась каким-нибудь обстоятельством... Как автор двух статей критического содержания «О характере Державина» и «О жизни и сочинениях Озерова», князь Вяземский более замечателен, нежели как поэт. В этих статьях он является критиком в духе своего времени, но без всякого педантизма, судит свободно, не как ученый, как простой человек с умом, вкусом и образованием, и излагает свои мысли с увлекательным даром и красноречием, изящным языком...»

В этой беглой и по-своему выразительной характеристике несколько замечаний довольно любопытны. Во-первых, в прошедшем времени — «действовал» — Белинский говорит о поэте, который не только на двадцать лет старше, но и на тридцать переживет его, а в последние десятилетия напишет лучшие свои стихи. Предвидеть это, разумеется, было трудно, но хотя бы допустить — как вероятность — при жизни не очень еще дряхлого писателя, может быть, стоило.

Во-вторых, число значительных «статей критического содержания» решительно ограничено двумя. К тому же первая из них названа по памяти, не сверяясь с текстом — и ошибочно. «В оригинале» — проще: «О Державине». Правда, обмолвка объяснима: и впрямь немало говорится в этой статье «о характере» Державина...

В-третьих, странностью обращает на себя внимание утверждение, что он «является критиком в духе своего времени».

Критиком в духе не своего времени быть мудроно. Белинский, надо полагать, имел в виду, что время это миновало, а созданное устарело. Вот с этим-то Вяземский согласиться не мог — и с достоинством пояснял, что «забытое» еще не значит «устаревшее», слова эти — не синонимы. Если сотворенное имеет «свою внутреннюю и весовую, или художественную ценность», то интерес к нему спустя годы может возродиться, вспыхнуть с новой силою.

Он сознательно не упомянул о ценности исторической. Для историков литературы писателю стараться незачем — они сами разыщут и прочитают, что им понадобится. В словах Вяземского — уверенность, что современный его старости читатель прочтет старые —

но не устаревшие — статьи с не меньшим увлечением, чем читатель «Московского телеграфа» двадцатых годов, «Литературной газеты» Дельвига или пушкинского «Современника».

Откуда такая уверенность? Какие ценности увидел он, просмотрев медленным и холодным взглядом то, что когда-то писал по горячему следу событий, торопливо, иной раз с виду небрежно, без малейшей, кажется, заботы об «изяществе языка», писал, избегая общих деклараций, программ и теорий, всякий раз по конкретному поводу, побуждаемый «каким-нибудь обстоятельством»?

А «обстоятельства», то есть темы статей, были таковы: творчество Державина и Озерова, Дмитриева и Карамзина, появление книг Жуковского и Козлова, публикации стихов Баратынского и Языкова, издание писем Вольтера по-французски и сонетов Мицкевича по-польски, выход в свет «Кавказского пленника» и «Цыган», надобность предварить «Бахчисарайский фонтан», наконец, первая постановка «Ревизора», после которой Вяземский счел своею обязанностью печатно заступиться за автора. (Жуковский писал Гоголю: «Читал... прекрасную статью князя Вяземского, в которой, не осыпая тебя притворными похвалами и не скрывая слабых сторон твоих, он так мужественно... защищает и твое произведение, и твой характер от нападков несправедливости».)

Добавим сюда же книгу о Фонвизине. И еще — большие мемуарные статьи «Грибоедовская Москва», «Допотопная или допожарная Москва», «Воспоминание о 1812 годе»... Вот почти и все, если не считать журнальных обзоров, размышлений о русском литературном языке, рецензий на переводные книги да нескольких моментальных откликов на промелькнувшие пьесы...

Выбор «обстоятельства», то есть вещи для анализа и разговора с читателем, неизменно точен. Да и в неизбежных для деятельного журналиста случаях, когда требуется сиюминутный отклик, рецензия на книгу, привлекающую внимание пусть не надолго, но «здесь и сейчас», мысль и слово критика движутся от части к целому, от отдельного произведения ко всей литературе, соблюдая верность пропорций. Потому-то принятые им книги мы читаем и перечитываем по сей день, а ни одна

из отвергнутых не удержалась, не сохранилась в литературе.

Критик не только критикует. Он и сам все время — в «критическом» положении. Он рискует ошибиться и чересчур далеко разойтись во мнении с читателем, высоко поставить сочинение, которое назавтра забудут, и не воздать должного тому, какое останется в памяти. Рискует потерять доверие читателя, а это — смерть критика.

У автора много возможностей завоевать читателя — злободневная тема, занимательный сюжет или, там, живописный язык. Критик, разумеется, тоже волен ко всему этому прибегнуть — на свой лад. Но серьезных читателей (а несерьезные и вообще вряд ли читают критическую прозу, разве что случайно) в его писаниях прежде всего интересуют мысли. Ведь он говорит о том, что все *тоже читали*, — статьи для них, читавших, пишутся, это не зазывание публики, а беседа *после чтения*. Собеседник-критик должен глубже, чем обычный читатель, понимать прочитанное и увлекать за собою. Конечно, удобнее всего было бы выждать, пока поулягутся первые страсти, поостынут непосредственно-поверхностные впечатления — и читатель захочет, наконец, поразмыслить о сути сделанного автором. Однако выжидание для критика — тоже риск: его соображений могут и не прочесть, удовлетворившись пусть менее глубокими и не такими, как у него, совершенными по форме, но зато раньше появившимися статьями.

Беспроегрышного выбора Вяземским тем и материала для критических выступлений на протяжении многих лет не объяснить лишь интуицией, догадливостью. Здесь есть и «секрет». Талант Вяземского-критика всегда идет в одной упряжке с рационально и твердо установленным им для себя правилом: писать о том и только о том, что дало пищу многим и разнообразным раздумьям, все прочитанное поверять оригинальностью и силою своей мысли. Недаром современники называли Вяземского «остроумнейшим писателем» — в первоначальном, еще отдельном значении этого эпитета, происходящего от острого ума, а не от остроумия, склонности к меткому словцу, иронии, парадоксам, чего, впрочем, у Вяземского тоже хватало.

«Есть у меня свойство, которое можно назвать погрешностью, но можно назвать его и избытком...

В статьях моих, вообще во всем, что пишу, встречается много вводных подробностей, отступлений от прямого текста... Я как будто боюсь не успеть другой раз высказать все, что у меня на уме: не верую в завтрашний день и спешу сегодня высыпать весь мой мешок. Это, разумеется, вредит общему построению и единству изложения моего; но за то придает сытность содержанию...» Он, понятно, иронизирует — избытка мыслей не бывает, это именуется иначе — богатством, щедростью. А если мысли автора скудны, Вяземский считает, что и говорить не о чем.

Читая статьи Белинского о Пушкине, он натолкнулся на характеристику Бориса Годунова: «Он был только умнее своего времени, но не выше его». И тут же возразил — приписал: «Как же не *выше*, если умнее?» Удивился, как может кому-либо не быть бесспорным столь само собою разумеющееся...

«Он мыслит и заставляет мыслить», — это он выделил в характеристике Антиоха Кантемира, конечно, не случайно.

«Он обладает редкой способностью оригинально выражать мысли — к счастью, он мыслит, что довольно редко между нами», — это выделил Пушкин уже в характеристике самого Вяземского.

«Наш век требует мыслей, а не схоластического прения о словах», — эта фраза подброшена Вяземским в ученый и не очень-то понятный читателю спор о чисто художественных достоинствах произведения, об изяществе стиля и совершенстве построения.

Наконец, о стихах: «...если есть и должна быть поэзия звуков и красок, то может быть и поэзия мысли».

Самостоятельная, свежо и сильно выраженная мысль всегда будоражит, вызывает на возражения и споры, входит в противоречие с распространенными мнениями, у которых не счесть защитников. Кто высказывает *мысль*, должен быть готов к полемике, к тому, что противников у него обнаружится, быть может, куда больше, чем приверженцев.

Вяземский писал о Сумарокове, что это «едва ли не единственный у нас писатель-боец, входивший в борьбу с жизнью... на открытом поле». Здесь — и собственное его отношение к писательскому делу, подмеченное современниками: «Баратынский говаривал мне, что в моих полемических стычках напоминаю я ему старых

наших бар, например, Алексея Орлова, который любил выходить с чернью на кулачный бой». Он намекает на эпиграмму Баратынского, не одобрявшего полемических схваток Вяземского, потому что противники того не стоят, слишком много чести:

**Войной журнальною бесчестит без причины
Он дарования свои.**

**Не так ли славный вождь и друг Екатерины —
Орлов еще любил кулачные бои.**

Он нередко начинает схватку в одиночку, но сознание собственной правоты, чистоты и искренности побуждений и убеждений помогает ему почувствовать себя полководцем во главе целого войска: «А так как истина никогда одна не бывает, но ведет за собою множество следствий, то противоречие, которое, как известно, высекает искры новые, вызывает из недр мраков истины, о коих еще не так скоро бы вздумали; таким образом, противники истины поражены бывают толпою союзников, которые совершенно их обезоруживают».

Служение истине не терпит ни огульных отрицаний, ни неумеренных похвал, о которых Вяземский сказал с усмешкою, что «русский панегирист или лопнет, или задушит своего героя». Каждое слово должно быть взвешенным и весомым. А репутация «полемиического писателя» — этически безупречною. Тут для достижения цели годятся только честная борьба и чистые помыслы.

Когда осенью 1822 года вот-вот должна была выйти из печати статья Вяземского, в которой он, между прочим, резко и едко спорил с Катениным, до него в Остафьево дошло известие, что противник попал в отнюдь не литературную немилость к Александру I. Петр Андреевич немедленно послал письмо к Александру Тургеневу: «Правда ли, что Катенина выслали из Петербурга? Сделай милость, если правда, то узнай тотчас от Греча, напечатана ли моя статья о «Кавказском пленнике», где я его бью по рукам, и если время не ушло, то вымарай все, что до него относится. Мне очень прискорбно будет, если письмо это опоздает...» Он отлично знает, что Катенин — оппонент серьезный, искушенный в дискуссиях, умеющий решительно, не давая спуска, отстаивать свои мнения, да и среди читателей немало приверженцев имеющих. Но воспользоваться случаем: спорить с тем, кто лишен возможности отве-

чать, ударить поверженного несчастно сложившимися обстоятельствами,— о таком поступке и речи быть не может. А ведь именно так и будет все выглядеть в глазах публики, да и не обязана она знать, что статья написана задолго до скандала...

Однако беспокоился Вяземский напрасно. Тургенев подумал о том же самом, едва узнал о происшедшем. «Я предупредил письмо твое, — отвечал он, — из статьи все вымарано о Катенине...»

Глубокая и острая мысль остается привлекательной и тогда, когда предмет, вызвавший ее к жизни, нас уже не больно-то и занимает. Поэтому сегодня большинство статей Вяземского — живое чтение, требующее напряженного внимания и не нуждающееся в оправданиях полутора столетней давностью. В них интересны не одни анализы и оценки, пусть даже самые пронизательные. В них оттиснуто отношение человека к своему времени. К тому времени, когда литература оказалась единственной возможностью выразить свои взгляды и донести их до общества. Критика Вяземского «мостит» эту дорогу к читателю для лучших поэтических, прозаических, драматических созданий русской литературы.

«Худо верую в литературу, которая рождается и сосредоточивается в самой себе, — вне больших житейских течений», — этому убеждению он оставался верен всю жизнь.

В произведениях лирических Вяземский-критик умел обнаружить их происхождение, те жизненные проблемы, на которые откликнулось творческое воображение поэта.

Вот как начинается написанная в 1822 году статья о «Кавказском пленнике» — первая статья Вяземского о Пушкине: «Неволя была, кажется, музою вдохновительницею нашего времени». Рядом с пушкинской поэмой он ставит «Шильонского узника» Жуковского, говорит, что этими двумя сочинениями «обязаны мы лучшим поэтам нашего времени».

Сегодня, меж двухсотлетними юбилеями авторов обеих поэм, его правота не вызывает сомнений. Но для современников такое категорическое сближение признанного, почти сорокалетнего Жуковского и двадцатитрехлетнего Пушкина вовсе не было бесспорным. Критик не дает себе труда оговариваться, оправдываться, растолковывать непонятным, почему так считает.

Он предпочитает, чтобы, прочтя поэму и — с его помощью — перечитав, разобравшись в ней, читатель сам пришел к тому же выводу.

Прочитать, разобрать, проанализировать, произведение, да так, чтобы не нарушить его пульса и дыхания, не повредить авторскому замыслу,— все это, по Вяземскому, критик обязан уметь в совершенстве. Иначе не вызвать читателя на со-мысле, со-размышление, не об искусстве — о жизни. Но как это сделать, если бдительная цензура неусыпно следит, чтобы все мыслили одинаково, как принято, то есть не мыслили вовсе. Мысль всегда самостоятельна, ее нельзя заставить смиренно и прямо двигаться, куда скажут, но можно обездвигить и обеззвучить. Вяземский прекрасно это понимал.

Он не счел безнадежной борьбу, в которой столь многие уже отступились. Не может быть, в конце концов, чтобы он — писатель — не справился с цензорами, которым страх за место плюс твердо знаемые границы дозволенного обостряют, естественно, зрение на «опасное», но зато неизбежно затуманивают разум! Возможности литературы велики — значит, надо лучше ими пользоваться, научиться ходить все время по грани допустимого, всех к этому приучить, чтобы, если и переступишь кое-где эту грань: читатель поймет, а цензор не заметит...

Скажем, попытайся он те же размышления, с которых начал статью о «Кавказском пленнике», — о политике правительства, построенной исключительно на несвободе всех и каждого в России, — попытайся он такое опубликовать, не связывая с пушкинскую поэмой, вообще с поэзией, — и самый либеральный из цензоров нипочем не допустил бы этого в печать. А так — какие могут быть возражения?! Разговор-то — о сочинениях, и только о них, в которых действительно есть и «пленник», и «узник»! Что сказанное не к одной лишь литературе имеет отношение — умный сообразит. А глупец все равно не прочтет...

Правда, и подобным образом не все сказать можно было. Нередко действуя на грани допустимого, так сказать, балансируя на режущей кромке цензорских ножиц, Вяземский очень точен и осмотрителен: одно неосторожное замечание, — глядишь, расшифруют подтекст и все остальное, целиком, «не пропустят».

Откровенность такого рода он позволял себе только в письмах, которые для него, повторю, — жанр литературный. И рано или поздно — он в том не сомневается — будут опубликованы.

«Мне жаль, что Пушкин окровавил стихи своей повести. Что за герои Котляревский, Ермолов? Что тут хорошего, что он, как черная зараза, губил, ничтожил племена? От такой славы кровь стынет в жилах и волосы дыбом становятся. Если мы просвещали бы племена, то было бы что воспеть. Поэзия — не союзница палачей; политике они, может быть, нужны — и тогда суду истории решить, можно ли ее оправдывать или нет; но гимны поэта никогда не должны быть славословием резни», — таков своего рода *post scriptum* к статье (из письма Вяземского к Александру Тургеневу). Не слишком похожий на официальные толкования имперской кавказской политики, которая, разумеется, дарует диким, не понимающим своей выгоды и потому отчаянно сопротивляющимся народам все блага российской, то бишь европейской цивилизации.

И вот что любопытно: даже в эпистолярном, «неподцензурном» полемическом запале критик безосновочно выхватывает из поэмы именно те полтора стиха, которые «оправдывают» Пушкина. Слово бы вопреки воле автора, не дают его поэзии стать «славословием резни». Ничего себе похвала!...

Вяземский доверял читателю, для которого писал. Говорил с ним о том, что считал существеннейшим. Обращался к каждому непредвзятому читателю — и тем самым ко всем читателям, равнодушным к современности. Он и пушкинскому журналу позже даст имя — «Современник»...

При этом он вполне трезво оценивал тех, для кого писал: «Публика делится на два разряда, а именно на читающих и читателей. Тут почти та же разница, что между пишущими и писателями. Нечего и говорить, что и в том и другом случае большинство на стороне первых».

Стало быть, надо попытаться изменить это традиционное соотношение — и критику следует стать просветителем, воспитателем читателя. Ведь какую бы замечательную книгу ни сочинил писатель — что толку, если ее не сумеют верно прочитать! Вяземский берет-ся «подтянуть» читателя от развлекающего, досужного

чтения до осмысленного, внутренне необходимого. И таким образом отнять у «пишущих» значительно число «читающих», сделать их «читателями», привести к «писателям». Пока этого не произойдет, до тех пор какой-нибудь, допустим, Булгарин, наостривший перо сочинением доносов на собратьев-литераторов шефу III отделения Бенкендорфу и в том же духе выдержанных критических статей, а в свободное от этого занятия время производящий на свет «чувствительные» опусы про Ивана Выжигина, не займет повода жаловаться на невнимание публики к своему «творчеству»...

О литературе Вяземский «судит свободно... как простой человек с умом, вкусом и образованием». То есть подступает к произведению словно бы с двух сторон одновременно: и как писатель, и как один из читателей, лучше подготовленный, чем большинство, и потому способный показать — что можно «вычитать», если умело читать. О том, какое значение придавал он уму и образованию, мы уже говорили. Ну, а вкус замечательно назвал он «совестью эстетической»...

До него в русской критике эту демократическую задачу пробовал поставить и разрешить разве что один поэт-профессор Мерзляков.

В той же, третьей статье о Пушкине, где помянут Вяземский, писал Белинский, что критика Мерзлякова «уже толкует об идее, о целом, о характерах; она строга, сколько может быть строгой». Мерзляков пытался помочь читателю разобраться в произведении, составить стройное суждение о нем. Однако не рискнул — или не сумел — уйти от прежней, академической, между Аристотелем и Буало сложившейся манеры говорить о литературе, с ее неперменными сопоставлениями современных творений с вековыми образцами, порожденными совсем иными условиями и временами. Потому дельные наблюдения и доводы не пожелали выстаиваться в систему: не поддерживали друг друга, действовали вразнобой. К тому же и университетский опыт сказывался: в своих писаниях он был более лектором, чем критиком, то есть видел перед собою не столько собеседников, сколько слушателей, которых наставляет в сложной науке чтения, и только.

Вяземский пошел дальше — сделал преодолемым

это расстояние между читателем и собою, одним из писателей. Выбрал более удобное, чем кафедра, место для собеседования с читателями: чуть впереди, отдельно — но рядом. Для него такой принцип критики — основной. Разработку его он начал еще в десятых годах — статьями о Державине и Озерове.

От него этот принцип унаследовали следующие поколения критиков, а такие из них, как Н. А. Полевой, Н. И. Надеждин и, конечно, Белинский, немало сделали для дальнейшего утверждения именно такой критической манеры. Даже разойдясь с Вяземским во взглядах на литературу — и на общественную жизнь, — нападая на него самого, критики-демократы середины века неизменно следовали его примеру: старались читателей привлечь на свою сторону в полемике. Так что в некотором роде они и демократизм унаследовали от Вяземского, убежденного, что критика может быть только демократической, то есть народной, и никакой иной...

Он же первым в России и о народности литературы заговорил, да и само слово это ввел в оборот. «Зачем не перевести *nationalité* — народность? Поляки же сказали *narodowość*... Слово, если нужно оно, укоренится». Оно и укоренилось, причем обрело со временем смысл и употребления куда более широкие, чем предполагал поначалу Вяземский.

Всякое новое понятие приживается с трудом, вызывает сомнения, возражения. Говоря о «народности в словесности», Вяземский выделил главное — теоретическое — возражение: «Этой фигуры нет ни в пиитике Аристотеля, ни в пиитике Горация». И отвечал: «Нет ее у Горация в пиитике, но есть она в его творениях. Она не в правилах, но в чувствах. Отпечаток народности, местности — вот что составляет, может быть, главное существеннейшее достоинство древних и утверждает их право на внимание потомства...»

Иными словами, литература лишь тогда национальна, когда выражает особенности народного характера и образа жизни и мысли, когда народные предания усвоила, народные чаяния и стремления хочет воплотить, когда не «в правилах» она, по которым писатель сочиняет, но «в чувствах», которые он усиливается передать читателю.

Спустя много лет он повторил, что «история лите-

ратуры народа должна быть вместе историею и его общежития». Эти требования Вяземский предъявлял не только писателю, но и критику, которому надлежит обнаружить в литературном произведении признаки и черты «народности», в какой бы неявной, скрытой форме они не таились. Потому что художник не может не быть ни народным, ни современным: вот это-то критик и сам должен увидеть, и читателю показать.

Через некоторое время после первых выступлений Вяземского такая критика стала в России нормою. И даже трудно вообразить, что когда-то было иначе. Белинский, воспитанный на этой критике, о происхождении ее не упомянул. А Вяземский был не столь тщеславен, чтобы о первооткрывательской заслуге своей напомнить...

Если бы Вяземский «открыл» лишь те или иные приемы критики, его судьба занимала бы ныне одних историков литературы. Но стоит его перечитать, увидим: он, писавший всегда по злободневному, то есть, казалось бы, недолговечному, поводу, сейчас живет и интересней тех, кто считали себя выше этого, кто предавались размышлениям преимущественно о «нетленном» содержании искусства — Истине, Добре, Красоте (не иначе, как с прописных букв!), никак не желая связывать эти высокие понятия с презренной суетою повседневности. Он, кстати, тоже искал истину, добро и красоту, но только там, где их можно найти, — в жизни, в гуще настоящего, которое таит ростки будущего и приоткрывает их зоркому, пристальному взгляду.

«Достоинства хороших писателей не затмятся ни раболепными и вялыми последователями, ни отважными и пылкими указателями новых путей», — сказал он в первой же своей статье о Пушкине. И там же заявил, что появление поэм Пушкина и Жуковского знаменует «успехи посреди нас поэзии романтической». С этого момента он — в самой гуще борьбы между «романтиками» и «классиками».

«Все, что ты говоришь о романтической поэзии, прелестно, — писал Вяземскому Пушкин в феврале 1823 года, — ты хорошо сделал, что первый возвысил за нее голос...» Подчеркнем это *первый!*

Наблюдаемое время от времени попытке защитить романтизм перед читателями и не склонными к нему писателями, выгородить для него, пусть скромное, но

отдельное место в литературной жизни, Вяземский счел недостаточными, а главное — не соответствующими самой сути этого направления. И пошел в наступление: сам создал полемическую ситуацию, предельно обострил ее, вовлек в нее противников.

Существует мнение, что Вяземский был неважным полемистом — потому что избегал пользоваться приемами, в совершенстве освоенными его литературными (и не только литературными) недругами: мелкими, но болезненными личными выпадами-уколами, придирками к неловко — по увлеченности — выраженной мысли, выворачиванием наизнанку чужих аргументов в расчете на слабую читательскую подготовленность в «спорных» вопросах и прочим в том же роде. Думается, это не совсем так. А то и вовсе не так.

В полемике Вяземский всегда имеет в виду цель и целое. Он — полемист по сути, а не по частностям, о которых, правда, тоже не забывает. Даже проигрывая в отдельных эпизодах, он выигрывает схватку. И не снисходит до расклейки ярлыков и раздачи дипломов. «Бездарность, талантливый — новые площадные выражения, вкравшиеся в наш литературный язык», — презрительно бросил он.

Его позиция в споре осознанна, твердо — и открыто — обоснована. «Пристрастие за или *против* есть своего рода хмель. Он отменяет или искажает светлый и здравый рассудок и трезвую рассудительность, — разъяснял Вяземский читателям. — Может быть, ошибаюсь и льщу себе напрасно, но мне сдается, что я природою одарен этою трезвостью... Мне кажется, что я знаю, за что хвалю и за что осуждаю. Могу ошибаться в выводах и заключениях своих: но все же, если и ошибаюсь, то сознательно, не наобум, не случайно...»

Пример именно такого мастерства Вяземского полемиста — написанное в начале 1824 года предисловие к «Бахчисарайскому фонтану», которое он назвал: «Разговор между Издателем и Классиком с Выборгской стороны или Васильевского острова». В «приблизительном» адресе Классика таилась ирония — доморощенный российский классицизм критик не считал настоящим. А по европейским меркам — провинциальным, вялой копией.

Однако выдуманному своему противнику Вяземский дал соображения и доводы невыдуманные, на

которые надо отвечать убедительно, отспориваться, а не отмахиваться. Собственно, он и не совсем выдуман, Классик. Отвечая на упреки журналов, что он специально изобразил оппонента таким, какого ничего не стоит побить, Вяземский «разгримировал» свой полемический прием: «Пускай обвинители мои примут на себя труд перечитать все, что в некоторых из журналов наших было сказано и пересказано на счет романтических опытов,— и вообще на счет Нового поколения поэзии нашей: ...без сомнения каждый легко уверится, что мой собеседник под пару своим журнальным клеветам». Он вовсе не отказывает Классику в искренней и даже самоотверженной — на свой лад — любви к литературе. Потому что, как говорят французы, «можно любить сильно, но это не значит любить хорошо».

Услышав из уст Классика уже расхожим ставшее предсказание дальнейшей судьбы Пушкина, что, дескать, «он много пишет, скоро выпишется», Издатель возразил мягко: «Пророчества оправдываются событиями; для проверки нужно время...» И тут же перешел к доводам Классика, которые кажутся более основательными, существенными,— ни одного не оставил без внимания и ответа, последовательно разобрал и развалил их. О главных же достоинствах поэмы сказал так: «...Цвет местности сохранен в повествовании со всею возможною свежестью и яркостью. Есть отпечаток восточный в картинах, в самых чувствах, в слоге...»

И далее: «...В произведении его движения много. В раму довольно тесную вложил он действие полное, не от множества лиц и сцепления различных приключений, но от искусства, с каким поэт умел выставить и оттенить главные лица своего повествования! Действие зависит, так сказать, от деятельности дарования: слог придает ему крылья или гирями замедляет ход его. В творении Пушкина участие читателя поддерживается от начала до конца...»

Это очень похоже на его же, Вяземского, слова о Державине: «Ломоносова читатель неподвижен; Державин увлекает, уносит его всегда за собою...» Это — признание зрелости и совершенства пушкинской поэмы.

Преимущество позиции Вяземского в споре выявилось со всею очевидностью. Поэма Пушкина не только дала повод к «Разговору», но и послужила

«материалом» для размышлений и обобщений, для утверждения исторической неизбежности романтизма.

Предисловие к «Бахчисарайскому фонтану» стало манифестом русского романтизма. Любопытно, что примерно в то же время идеи романтической народности вышли на передний план и в польской литературе: Мицкевич в 1822 году опубликовал статью «О романтической поэзии». Это означало, что славянские литературы нащупывают самостоятельные, отличные от английского, немецкого или французского, пути к романтизму.

Дельвиг писал об этом выступлении Вяземского: «В нём князь Вяземский выказал всю смешную сторону так называемых у нас классиков, первый поднял знамя умной и благомыслящей критики». И опять-таки подчеркнём это — *первый*...

Пушкин, восторженно благодаря Вяземского за предисловие, заметил, правда, что «Разговор» написан более для Европы, чем для России: российский классицизм так худосочен, что, право, не стоит столь блистательного отражения. Он мог бы добавить, что и в Европе «Разговор» отнюдь не выглядел бы запоздалым. Именно такое добавление несколько позже сделал Вяземский: «Мы еще с Карамзина ознакомились с немецкою литературою, а с Жуковского принялись за нее. Французы же услышали о немецких авторах только с появлением книги г-жи Сталь «О Германии».

Книга эта вышла в 1813 году, влияния на русских литераторов, в сущности, не оказала, потому что мало нового для себя они там обнаружили.

Что же до Франции, так сказать, традиционной законодательницы российской литературной моды, то «Разговор» как раз и побудил взглянуть на положение дел под иным, непривычным дотоле углом, немало поспособствовал избавлению русских поэтов от «галльского комплекса». «Век романтизма не настал еще для Франции,— писал Пушкин к Вяземскому в июле 1824 года из Одессы,— Лавинь бьется в старых сетях Аристотеля,— он ученик трагика Вольтера, а не природы... Никто более меня не любит прелестного André Chénier — но он из классиков классик — от него так и несет древней греческой поэзией. Вспомни мое слово: первый гений в отечестве Расина и Буало ударится в такую бешеную свободу, в такой литературный кар-

бонаризм, что твои немцы — а покамест поэзии во Франции менее, чем у нас».

Повод «вспомнить» пушкинское пророчество заставил себя ждать целых три года после публикации «Разговора» — когда нечто подобное ему появилось, наконец, во Франции: Виктор Гюго в предисловии к своей драме «Кромвель» провозгласил неизбежность победы романтизма в искусстве. И тогда выяснилось, что спорам вокруг этого направления еще кипеть и кипеть...

Однако само по себе это опережение ничего не решает. Примеры, подтверждающие справедливость высказанных в «Разговоре» суждений, в русской литературе пока единичны. Но и они, считает Вяземский, дают основания русским писателям не смотреть на своих европейских собратьев снизу вверх, словно младшие на старших, а критикам — взять на вооружение европейские мерки и критерии, говоря о творчестве своих соотечественников. Потому что война 1812 года и события, за ней последовавшие, решительно ввели Россию в круг европейских государств. Не только в политическом отношении — в культурном тоже. Значит, теперь «Россия, подобно другим государствам, соучастница в общем деле европейском и, следовательно, должна в сынах своих иметь полномочных представителей за себя».

Опровергнуть Вяземского по существу противники романтизма не могли. Тогда они попытались прибегнуть к привычному «полюемическому приему»: скомпрометировать говорившего — и тем подорвать доверие к его словам. Вместо честности — хитрость, которая нередко действует на публику. В самом деле, Вяземский и Пушкин — друзья? Тем лучше! Почему бы не назвать Вяземского — в печати — «сочинителем предисловий» к книгам своих близких друзей. Звучит хлестко: мол, «по дружбе» все молвлено, а к литературе отношение имеет лишь «постольку-поскольку»...

Вяземский и не подумал отпираться. Наоборот — подтвердил: да, автор поэмы — близкий друг его. А вот дружба их отнюдь не в последнюю очередь держится на верности общему делу, литературе. Кто же может глубже судить и доходчивее рассказать читателю о поэме, если не друг автора — и в жизни, и в поэзии!..

Когда в 1827 году вышли «Цыганы», часть критики

немедленно обвинила Пушкина в том, что он пытается «выпустить в жизнь», навязать обществу искусственно созданного героя, не имеющего никакого сходства с реальными современниками. Вяземский тут же откликнулся: «Весело и поучительно следовать за ходом таланта, постепенно продвигающегося вперед...» Он проследил, как теперь бы сказали, социальные происхождение пушкинского героя, обнаружил причины, толкнувшие его к бегству от общества, где неволя — норма и привычка. Но бегство на волю — к цыганам — не удалось, обернулось не избавлением, а трагедией. Потому что Алеко — сын своего века и своего общества, их черты и пороки носит в душе. Несвобода — не вокруг него, но в нем самом. Не истинной воли он хотел, но воли «лишь для себя», целиком подчиняющей других. Когда же это оказалось несбыточным, он поступил в точном соответствии с моралью того самого общества, которое презирал, — он убил.

Так постепенно Вяземский привел читателя к выводу, что Алеко выведен «из общества в новейшую поэзию, — а не из поэзии в общество, как многие полагают».

Правда, защитив поэму от несправедливых нападок, он тут же высказал и собственные «щепетильные замечания». Знал, что Пушкин вспыльчив, что иной раз упреки литературные принимает поначалу как личную обиду, но: «В литературных отношениях и сношениях я не входил ни в какие сделки, — писал Вяземский на исходе жизни, — я держался того мнения, что в литературе, то есть убеждениях, правилах литературных, добрая, то есть явная ссора лучше худого, то есть недобросовестного мира...»

Готовя статью о «Цыганах» для собрания сочинений, Вяземский припомнил, как однажды, в пору вполне безоблачных отношений, Пушкин спросил его «в упор»: может ли он напечатать эпиграмму «О чем, прозаик, ты хлопчешь?..» («Прозаик и поэт»). Простодушно решив, что речь о цензуре, Вяземский ответил, что не видит препятствия. И вдруг заметил, что Пушкин вспыхнул, покраснел — «обычная в нем примета какого-нибудь смущения». Только после смерти Пушкина Вяземский догадался, что «прозаик» — это он; что каким-то высказыванием задел самолюбие друга. Вероятно, как раз замечаниями о «Цыганах». Обида нашла

выход «литературный». Сначала в одном из писем Пушкин посетовал на учительский тон статьи Вяземского, ни слова не возразив по существу замечаний. Потом счел, что написанное два года назад стихотворение дожидалось именно такого случая и повода для публикации: теперь оно может прозвучать намеком на то, что вся эта критика «по мелочам» — педантство и буквоедство, пустые «хлопоты прозаика»...

И он напечатал стихи — вскоре после появления статьи Вяземского. Как бы отомстил — «про себя», не омрачив дружеских отношений...

**О чем, прозаик, ты хлопчешь?
Давай мне мысль какую хочешь...**

Не его вина, что много лет спустя этой истории придали более серьезное значение, чем она заслуживает. Нашлись даже исследователи, которые решили «защитить» Пушкина от Вяземского.

По-человечески это понять можно: критика сочинений Пушкина — пусть по частностям! — представляется нам иной раз чуть ли не кощунством. Как тут не поддаться порыву оспорить, опровергнуть ее! При этом забывается, что для современника произведение поэта некоторое время существует отдельно, само по себе, а не в ряду всего творчества. Каждое новое сочинение — последнее. Поэтому современник обычно бывает зорче к частностям и деталям, чем потомок, для которого и самые недостатки гения — продолжение достоинств. Непосредственное восприятие современника нам не дано. Он *видит*. Мы знаем.

Замечания Вяземского были таковы: «...автор заставляет Земфиру умирать эпиграмматически», то есть со словами: «Умру любя...» Да и захоти она, иронизирует критик, — все равно не успеет разлюбить... И продолжает: «...Еще не хотелось бы видеть в поэме один вялый стих, который бог знает как в нее вошел:

**...медленно склонился
И с камня на траву свалился».**

Вот и все. Вяземский сказал, что думал. Потому что «замечания справедливые, предлагаемые автору в предостережение, полезны как для него, так и для самого искусства». Он критиковал то, в чем видел небрежность стиховой формы — редкую у Пушкина и потому осо-

бенно досадную и приметную. Но отстаивал главное в пушкинском творчестве: «Пушкин совершил многое, но совершить может еще более. Он это должен чувствовать, и мы в этом убеждены за него. Он, конечно, далеко за собой оставил берег и сверстников своих, но все еще предстоят ему новые испытания сил своих; он может еще плыть далее в глубь и полноводие».

Так заканчивалась статья, из которой видно, что исследованием особенностей романтизма Вяземский занимался методично, последовательно, не впадая в примитивную оценочность суждений, то есть не устанавливая в сопоставлении романтизма с классицизмом, что «выше», что «ниже», что «лучше», а что «хуже», но лишь показывая, что один — исторически, закономерно — следует за другим. Подтверждение своей правоты он находит в описании романтической формы как наиболее соответствующей духу времени, сближающей искусство и действительность. «Законность претензий» героя поэмы на читательское внимание выводилась одновременно из художественной убедительности этого образа и из его социальной природы, из анализа современного герою — и поэту — общества. Дальнейшая история литературы знает немало примеров, когда этот прием становился действенным оружием в руках критиков. Вот — один из них.

В 1830 году, по выходе седьмой главы «Евгения Онегина», Булгарин взывал к читателям: «Мы думали, что автор Руслана и Людмилы устремился на Кавказ, чтобы напитаться высокими чувствами поэзии, обогатиться новыми впечатлениями и в сладких песнях передать потомству великие подвиги русских современных героев. Мы думали, что великие события на Востоке, удивившие мир и стяжавшие России уважение всех просвещенных народов, возбудят гений наших поэтов — и мы ошиблись. Лиры знаменитые остались безмолвными, и в пустыне нашей поэзии появился опять Онегин, бледный, слабый... сердцу больно, когда взглянешь на эту бесцветную картину».

На самом-то деле критик ничего такого не думал. Понимал, что Пушкин отправился на Кавказ совсем не за тем, за чем устремился бы он, Булгарин. И не ждал славословий «событиям», которые — и это Булгарину отлично известно — отнюдь не стяжали России уважения «всех просвещенных народов», тем более, что

для этих славословий, судя по болгаринским писаниям, не было нужды покидать Петербурга. «Мнение» критика — не что иное, как загримированный «под литературу» донос, где откровенная лесть сильным мира сего соседствует с обвинением Пушкина, по меньшей мере, в отсутствии патриотизма.

И тогда оппоненты Булгарина, пользуясь тем же приемом, что Вяземский в разговоре о «Цыганах», показали, что именно Онегин и есть «современный герой», а не завоеватели Кавказа; что его появление в литературе вызвано не прихотью поэта, но потребностью общества увидеть себя «в зеркале» одного человека...

Однако, читая статьи Вяземского в защиту романтизма, мы сталкиваемся с любопытным несоответствием. Он, кто «первый возвысил голос» за романтическую поэзию, в собственных стихах — внешне — мало отвечал сложившимся (не без влияния его же статей) представлениям о том, каков должен быть поэт-романтик; во всяком случае, несравненно меньше, чем Жуковский в балладах или Пушкин в «южных» поэмах. Обнаружить в стихах Вяземского приметы романтизма непросто — они не бросаются в глаза. Но, приставившись, увидим в его поэзии то пристальнейшее внимание к внутренней жизни человека, к миру его чувств, его души, которое принесли с собою в литературу романтики. А в критической прозе Вяземского заметим напряженную работу над стилем и над языком, которому он стремился придать выразительную гибкость, сделать его пластичным, пригодным для решения задач, которые ставит перед писателем романтизм. Но об этом — чуть позже.

Вспомним еще — что сам Вяземский разумел под романтизмом: «Под заголовком романтизма может приютиться каждая художественная новизна, новые приемы, новые воззрения, протест против обычаев, узаконений, авторитета, всего того, что входит в уложение так называемого классицизма». Такой новизны, как мы видели, в поэзии Вяземского, немало. Ну, конечно, и все критические статьи Вяземского, созданные в двадцатых—тридцатых годах, можно — по тем же признакам — назвать истинно романтическими. И еще: статьи, интонационный строй которых позволял Вяземскому свободно переходить с языка эстетики на язык политики и обратно, давали ему возможность высказывать либераль-

ные взгляды, обычно резко расходившиеся со взглядами официальными. А романтизм — по меткому слову жившего в конце прошлого века замечательного историка литературы А. Н. Веселовского — «это либерализм в литературе». Определение подсказано хорошим знанием истории вопроса. А начало изучению этой истории положил опять же Вяземский.

С первых шагов на критическом поприще он почувствовал, что почва под ним — и под всю русскую критику — зыбкая, поступь неуверенна, потому что твердой опоры нет. Ведь по-прежнему сравнению с современными сочинениями — для их разбора и оценки — служат античные и классические европейские образцы, в лучшем случае — отечественные, как Херасков, строго следовавший все тем же образцам. Будто бы и не было в XVIII веке никакой самобытной русской литературы!

А она была: Кантемир и Ломоносов, Сумароков и Фонвизин, Державин и Радищев, наконец, Дмитриев и Карамзин... От нее и пошла нынешняя «новизна». Значит, действительно нужна история литературы русской — исторический подход к ее крупнейшим явлениям.

Для Вяземского, воспитанника великого историка Карамзина, неотложность и ответственность такой работы были сами собою разумеющимися. Он понимал и то, что задача в высшей степени почетна. Сам же о Карамзине как-то сказал, что, если бы Николай Михайлович и не написал своей «Истории», то уже и замысел ее достоин славы — «славы намерения».

1816 год. Не стало Державина. Вяземский пишет статью, в которой пытается осмыслить державинскую творческую биографию, подвести ее итоги, обозначить место и роль Державина в истории литературы, то есть увидеть и представить пусть старшего, но *современника*, как личность *историческую*. Такой задачи до него русская критика не знала.

Замечательно в этой статье стремление понять созданное поэтом через его характер и литературную родословную, которую автор ведет от Ломоносова и Петрова. Вяземский показывает, чему и у кого из них Державин учился, как и когда превзошел учителей, стал самостоятелен: «Своенравный гений его, испытывший богатство и свойство языка почти нового, пробил

себе путь особенный, на котором не было ему вожа- того и не будет достойного последователя...»

Пример? Пожалуйста: «...два стиха:

**Раб и похвалить не может,
Он лишь может только льстить,—**

одни стоят ста звучных стихов...» И сразу — шаг от частного к общему: «Его стихотворения, точно как Горациевы, могут при случае заменить записки его века. Ничто не ускользнуло от его поэтического взгляда».

Вяземский пишет о вулканической мощи державинской поэзии, одолевающей неудержимым напором и косноязычие, и грамматические неуклюжести, неизбежные, пока язык еще не развит писательскими опытами. И о том образце, которому следовал Державин: «...Вся природа говорит сердцу и воображению творца «Водопада» пиитическим и таинственным языком, и мы слышим отголоски сего языка. Пиитическая природа Державина есть природа живая, тот же в ней пламень, те же краски, то же движение...» Здесь — по Вяземскому — отличие Державина от предшественников: движение, которым его поэзия *всегда* увлекает читателя за собой.

В статьях, посвященных романтической поэзии, Вяземский не раз потом повторял эту мысль — о движении: «Нам нужны опыты, покушения: опасны нам не утраты, а опасен застой...»

Метод, опробованный в статье-некрологе о Державине, уверенно применен в следующей историко-литературной работе Вяземского — «О жизни и сочинениях В. А. Озерова».

Некогда знаменитый, но затравленный литературными соперниками поэт-драматург конца XVIII — начала XIX века вызвал глубокое сочувствие Вяземского. Драматически сложившаяся его судьба дала повод к разговору о русской драматургии, которая до сих пор не могла похвастаться столь же весомыми достижениями, как, например, лирика. А драматургия — из всей литературы — имеет, пожалуй, наибольшее значение в жизни общества. Потому что «хорошая трагедия или комедия, налагая дань на все общество, не стареет никогда».

«Жизнь» и «сочинения» поставлены рядом уже в

заголовке. Одно без другого не понять. Правда, сведения о жизни Озерова оказались крайне скудными. Но были пьесы, творчество, из которого можно, умело читая, узнать об авторе немало существенного. Родовое происхождение далеко не так важно, как литературное. Житейская биография — лишь часть творческой.

Размышляя о русской стихотворной трагедии XVIII века, Вяземский подробнее всего остановился на сочинениях Сумарокова и Княжнина. Характеристики отточены и убедительны.

«Я часто слышал рукоплескания, заслуживаемые стихами трагедий Княжнина; но, признаюсь, не видал никогда в глазах зрителей красноречивого свидетельства участия, принимаемого сердцем их в бедствиях героев и героинь; не видал слез, невольной и лучшей дани...» И дело тут не в неумелости, не в отдельных просчетах драматурга: «Главный недостаток Княжнина происходит из свойств его души. Он не рожден трагиком».

Но, может быть, русская литература просто не созрела еще для возникновения в ней трагедии — и неудачи первопроходцев, создателей нового жанра естественны и извинительны? Нет! «Погрешности в трагедиях Сумарокова и Княжнина не могут быть оправданы временем. В то время, как они писали, сокровища иностранных театров были совершенно им открыты, ...но жар души, но тайна господствовать над чувствами других не похищается».

Тайну эту, говорит Вяземский, первым из русских поэтов постиг Озеров. Разбирая одну за другой его трагедии, критик поясняет, как возник его «театр» — и каков этот «театр». «Трагедии Озерова... и в самых погрешностях своих представляют нам отступления от правил, исполненные жизни и носящие свой образ. Они уже несколько принадлежат к новейшему драматическому роду, так называемому романтическому». Заслугу этого поэта перед русским театром он сопоставляет с делом Карамзина, преобразователя русской прозы. Оценка высочайшая: Карамзин для Вяземского на всю жизнь — идеал писателя и человека.

В поздней «Приписке» к статье он внес поправки: «При Карамзине, не опасаясь обидеть его, унизил я достоинство его и слишком поднял Озерова. Заслуги их сравнивать нельзя. Ум и перо мои обмолвились». Он

признал, что напрасно ставил Озерова-трагика образцом: «Духовные потребности, стремления, привычки, вкусы общества и зрителей изменились», теперь им, конечно, больше отвечают «Борис Годунов», «блестящие попытки Хомякова» и драмы А. К. Толстого. Но не Озеров ли навел будущих авторов на этот путь?! В «Приписке», с виду отрицающей былые утверждения, этот вопрос — центральный, положительный ответ на него подразумевается. Не боясь признать частные свои ошибки, Вяземский в то же время подчеркивает, что общий набросок исторического пути развития драматургии был им сделан верно.

Не забыл Вяземский уточнить и свои слова о поэзии Озерова, с которыми когда-то спорил Пушкин: «Он не признавал в Озере никакого дарования. Я, может быть, дарование его преувеличивал. Со временем, вероятно, мы сошлись бы и на полудороге». И дальше: «Он имел полное право быть строго взыскательным к другим; я такого права не имел».

Думается, есть основания дополнить эти строки «Приписки». Один из первых поэтических наставников Вяземского И. И. Дмитриев называл себя «инвалидом XVIII столетия». В некотором роде оно применимо и к Вяземскому, если иметь в виду и отдельные, отмеченные уже черты его поэтики, и «пристрастие» к поэтам, чьи стихи сопутствовали ему сызмальства, а читателями следующих поколений, представлялось ему, недооценены. Потому снова и снова возвращается Вяземский к их творчеству. Потому и с Пушкиным об Озере спорит. И спор этот он не считал законченным.

Поэтов надобно судить по взлетам, а не провалам. «Праведные за грешников не отвечают, а таких праведных стихов у Озерова отыщется довольно». И примеры — один другого красноречивей:

**Ты зри главу мою, лишенную волос —
Их иссушила грусть и ветер их разнес...**

Или:

**Как часто с берегов, или с высоких гор,
Я в море синее мой простирала взор!**

**Там каждый вал в дали мне пеною своею
Казался парусом, надеждою моею...**

И еще:

Но жизни перешед волнуемое поле,
Стал мене пылок я, и жалостлав стал боле...

«Не знаю, не ошибаюсь ли,— писал Вяземский,— но мне и ныне кажется, что форма и обработка моей биографической статьи должны были иметь в свое время отпечаток и какой-то запах новизны. По крайней мере, в нашей словесности не имел я перед собою образца, за которым мог бы следовать,— разве что статья Карамзина о Богдановиче несколько подходила к цели, мною себе предназначенной». Европейская словесность была не богаче «образцами» — первые опыты литературных портретов Сент-Бёва появились только через двенадцать лет...

Вяземский не ошибался. Кроме собственных его статей, не существовало «образца» и шесть лет спустя, когда он начал работу над книгою о Фонвизине — первой в России «попыткой в роде биографической литературы». Написана книга довольно быстро — в 1830 году. Подготовка к ней заняла почти семь лет.

В 1823 году он обратился — со страниц журнала «Сын Отечества» — к читателям с просьбой о помощи в собирании материалов о жизни Фонвизина: хранящихся в памяти или в семейных бумагах обрывков разговоров Фонвизина, «замечательных слов», переписки, неизвестных произведений, в частности, считающейся пропавшей комедии «Гофмейстер». Он стал создавать *архив писателя* Фонвизина. Таких архивов русская литература еще не имела. Более того: с этих опытов Вяземского, собственно говоря, и начинается в России научное — филологическое — изучение истории отечественной литературы.

В начале двадцатых годов интерес Вяземского к Фонвизину, несомненно, подогревался и тем обстоятельством, о котором упомянуто в записной книжке: «О Фон-Визине. Перевод Тацита и намерение издавать журнал, на что не согласилась императ<рица> Екатерина, недовольная им, вероятно, за бумагу, известную под названием «О необходимости законов» (названием, данным ей не Фон-Визиним, а гораздо уже после, Никитою Муравьевым, который сократил ее). Кажется, бумагу сию написал Фон-Визин по предложению Панина для кн. Павла Петр<овича>». Речь идет об уча-

стии Фонвизина в написании для Павла, наследника престола, проекта конституции, где, кстати, предусматривалось и освобождение крестьян — царствование ожидалось либеральное...

Работа увлекла Вяземского. Документы, записки, мемуары дышали той живой подлинностью, какую он искал и редко находил в современной литературе. «Признаюсь, большую часть так называемой изящной словесности нашей отдал бы я за несколько томов записок, за несколько исторических летописей тех событий, нравов и лиц, коими пренебрегает история».

Когда бумаг скопилось множество, а в них — вереница случаев и событий, рисующих первого истинно русского комедиографа далеко не идеальным, сложным и противоречивым, попросту говоря, живым человеком, перед исследователем встал вопрос, на который рано или поздно приходится отвечать всякому автору, взявшемуся писать о личности не вымышленной: знакомить ли публику с тем, что может выставить героя в не совсем выгодном свете, с его слабостями и заблуждениями, либо следовать заповеди римлян: или — хорошо, или — ничего. «Карамзин мне говорил об этом. — Живого автора должно печатать с хорошей стороны: мертвого со всех. — После смерти нет лжи: а утаить что-нибудь из написанного автором, то есть из умственной жизни его, есть ложь».

И еще одна — не меньшая — опасность, еще одна «ложь»: вырвать писателя из окружающей среды, литературу — из жизни. Поэтому материалами, непосредственно к Фонвизину относящимися, Вяземский не ограничивался. Досконально изучал он эпоху, в которой жил и творил драматург. Ведь «не должно терять из вида, в какое время книга была написана или человек действовал». В «Фонвизине» он изобразил эту эпоху — царствование Екатерины II — изрядно идеализированной, на редкость благоприятной для умственной жизни общества, для писателей. Екатерина, сама с удовольствием предававшаяся сочинительству, переписывавшаяся с Вольтером, вообще до самой Французской революции игравшая главную роль в спектакле просвещенного монархического правления, по его словам, «не только уважала ум, но любила, не только не чуждалась его, но снисходила к нему, так сказать, баловала и щадила неизбежные его уклонения».

Несомненно, Вяземский знал, что дело обстояло, мягко говоря, не совсем так, — сам не раз упоминал о Радищеве, чье «уклонение» императрица отнюдь не пощадила. «Забывать» про это он мог только сознательно. Потому что писал книгу *для своего времени*: похвалы Екатерине II звучали укором Николаю I, чье правительство преследовало любую попытку писателя мыслить свободно и высказываться откровенно.

Впоследствии он как бы между прочим, беглыми штрихами, вносит «поправки» в нарисованную «для фона» картину общественной жизни: когда шаг за шагом прослеживает развитие русской драматургии — и до Фонвизина, и после. Говорит о предшественниках и о наследниках комедиографа. И все это переплетено с биографией Фонвизина, представленного читателю в общении с Державиным, Богдановичем, директором Академии наук Домашневым...

«Почему Кантемир, также поэт с великим дарованием, не имел последователей?... Потому что для сатиры, для исследования, для суда общество не было еще готово... Это была пора молодости, волнения и восторженности...»

Придись Фонвизин просто более ко времени «готовности» общества «для сатиры» — невелика заслуга. Но он сам поторопил это время, заставил общество взглянуть в зеркало — и увидеть неприкрашенный облик, со всеми дурными чертами. Вяземский старается понять и показать: почему и как именно этот человек, у которого «глаза так яркие, что нельзя смотреть было», сочинил «Бригадира», и «Недоросль». А для этого необходимо, чтобы «одинокое лицо писателя Фон-Визина вошло в общественную жизнь эпохи, и современная ему эпоха обставила живую рамою написанное... изображение». И чтобы вовремя и к месту прозвучало признание Фонвизина: «Принужден я иметь дело или со злодеями, или с дураками. Нет более сил терпеть... Честному человеку нельзя жить в таких обстоятельствах, которые не на чести основаны». Комедии становятся выходом — когда «нет более сил терпеть»...

По замечанию французского драматурга Этьенна, «комедия — это история народа». Комедии Фонвизина стали заметными страницами этой истории. «Успех комедии «Недоросль» был решительный. Нравственное действие несомненно. Некоторые из имен действующих

лиц сделались нарицательными и употребляются доныне в народном обращении».

Прочитав о Фонвизине все — или почти все, — что можно было прочитать, Вяземский не стал в собственном тексте блистать эрудицией. В конце концов, то же самое доступно остальным: любой может взять фолиант с полки или документ из архива. Нет смысла уподобляться тем критикам, которые «тупеют в убеждении, что неведомое им было до того дня неведомо и прочим». Пользоваться вычитанным следует в меру, как бы невзначай, — и всегда с ясною целью.

Затем и обязан биограф знать о своем герое намного больше, чем расскажет в книге. Только тогда он почувствует себя по-настоящему свободно, сможет не просто пересказывать связно факты и случаи, но и размышлять над ними, сумеет воспользоваться всем богатством знания — уверенно выбирать нужные приметы эпохи, проскользнувшие в словах и поступках черточки человеческого характера.

Внимательный читатель непременно оценит по достоинству эту внутреннюю свободу. Вот мельком брошенное упоминание, что «Послание к слугам моим» напечатано Фонвизиним в Москве «во время данного от двора народу публичного на сырной неделе маскарада, когда на три дня во всех московских типографиях позволена была свобода печати». Как тут не задуматься о днях нынешних, когда не дается даже и таких — на три дня — цензурных послаблений!

А вот вопрос о Радищеве, заключающий в себе и ответ, и исчерпывающую оценку: «Не выразился ли в нем писатель не только XVIII-го, но XIX-го и, пожалуй, XX века?»

Или — замечание по поводу все еще не изданного и не поставленного на сцене, но стремительно разошедшегося в списках — и даже вызвавшего полемику в печати — «Горя от ума»: «Замечательно, что сатирическое искусство автора отзывается не столько в колких и резких эпиграммах Чацкого, сколько в добродушных речах Фамусова».

Наконец, говоря, что заграничные письма Фонвизина «писаны будто с кафедры», не намекает ли автор на собственные давешние письма из Варшавы?..

На первый взгляд, это не имеет прямого отношения к теме книги. Но таков стиль Вяземского, готового

пожертвовать «стройностью изложения», лишь бы придать «сытость содержанию». Пускай избыток — лишь бы мало не показалось...

Вспоминая о работе над книгой, Вяземский писал: «Тут на опыте убедился я в пользе и правдивости учения, что *все во всем* (*tout est dans tout*). Все в мире, часто незаметно, но более или менее связывается и держится между собою. Ни в физическом, ни в нравственно-человеческом мироздании нет пустых мест. Все последовательно и соответственно занято. Нередко одно слово, одно имя, одно малейшее событие может все увлечь в разнообразные и далекие изыскания».

Книга о Фонвизине вышла в свет только через восемнадцать лет по написании. Современники читали ее в рукописи. Пушкин писал Плетневу: «Вяземский везет к вам жизнь Ф<он> Визина, книгу едва ли не самую замечательную с тех пор, как пишут у нас книги (все-таки исключая Карамзина)». Возможно ли было автору вообразить похвалу более высококую?

(Забавно привести тут — для сравнения — другую, так сказать, сугубо «личную» реакцию на эту работу Вяземского. В 1834 году, посылая ему очередной том своих стихов, граф Д. И. Хвостов, член «Беседы» и «записной» графоман, многие годы служивший мишенью разнообразных, но по большей части добродушных острот арзамасцев, прибавляет к дарственной надписи, что считает адресата «знаменитейшим у нас сочинителем жизнеописаний». Не без намека...)

Среди многих достоинств книги, да и всей критики Вяземского, Пушкин выделял слог ее: легкость и ясность прозы, где каждая мысль выражена внятно и точно, а *доступность* неизменно сочетается с *глубиной*.

Немало усилий приложил Вяземский к тому, чтобы выработать такой стиль, чтобы и в стихах, и в прозе «работы след улыбки не пугал». Он размышлял о мастерстве писателя и о возможностях языка, экспериментировал с фразой и словом. Это не только противникам, это и друзьям не всегда понятно бывало. Случалось, Жуковский или Александр Тургенев упрекали его за прегрешения «против грамматики». А он отвечал, что грамматика не есть нечто навеки определенное и застывшее. Она живет и развивается. И в жизни ее оговорка, «ошибка» подчас красноречивее «правильной» фразы, способной выразить лишь то, что не раз было

сказано прежде. И подтверждал это собственной практикой, посмеиваясь над теми, «которые только законодательствуют, а творить ничего не умеют».

О том же полушутя-полусерьезно говорил Пушкин:

Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю,—

и первым же стихом иронически проиллюстрировал мысль: кто угодно скажет, что назвать уста «румяными» — пусть не «ошибка», но очевидная «неправильность». Больше ста раз упоминаются «уста» в стихах Пушкина, однако «румяные» они лишь однажды...

В этой неоглядливой на образцы стилистической раскованности Вяземскому удаются замечательно меткие определения. Возражая критикам «Ревизора», он пишет: «Говорят, что в комедии Гоголя не видно ни одного умного человека; неправда: умен автор». И без видимого усилия находит еще одно — самое нужное и устойчивое слово: «Тут нет никакой натяжки в предположении автора: все натурально...»

Защищаясь от обвинения, что когда-то чересчур возвысил Дмитриева и тем самым принизил Крылова, он напоминает, что это ведь вслед за ним вся Россия стала называть великого баснописца «дедушка Крылов», не иначе. К тому же «можно любить одного и не ненавидеть другого». И разве не он, Вяземский, затеяв подписку — сбор денег — на памятник Крылову, заявил во всеуслышание: «Крылов неизгладимо врезал имя свое на скрижалях русского языка... Крылов принадлежит всем возрастам и всем званиям. Он более, нежели литератор и поэт»!..

Нередко сказанное им тут же становится поговоркою. Например, «квасной патриотизм» — о тех, для кого любовь к отечеству заключается «в ненависти ко всему иноземному»...

Он убежден, что «главное в писателе есть слог: если он имеет выразительную физиономию, на коей отражается мысль и чувство писателя, то сочувствие читателя живо отзывается на голос его». И еще короче, резче: «Слог есть характер, есть нравственная личность писателя». Так ставится знак равенства между эстетическим и этическим в литературе.

О каком бы произведении Вяземский ни писал, он

никогда не забывает сказать о мастерстве автора, об особенностях стиля, о владении словом, письменной речью. «Не дай Бог, чтобы все словесности имели один язык, одно выражение: оно будет тогда вернейшим свидетельством, что посредственность стерла все отличительные черты».

Мастерство писателя — предмет его пристального наблюдения и тогда, когда с публикой он разговаривает, и тогда, когда, читая «на досуге», делает заметки «для себя».

У Сумарокова он мигом выхватывает удачный неологизм — «заблужденники». Потом выписывает из стихов:

Витийство лишнее природе злейший враг,—

в подтверждение собственного мнения, что слова, без которых можно обойтись, не только время отнимают и место зря занимают, но и затуманивают мысль.

В одном из батюшковских переводов он «спотыкается» на строфе:

Сердце наше кладезь мрачный,
Тих, спокоен сверху вид,
Но спустись ко дну, ужасный
Крокодил на нем лежит.

И предлагает — как вариант: «Вставить бы *темный и огромный*. Неисправная рифма, как разноцветная заплатка, рябит в глазах. Рифма и так уже вставка; так, по крайней мере, подберите оттенок к оттенку».

Он — мастер, выработавший твердую систему взглядов и оценок, которую испытал сам, о которой рассказал в «Открытом письме» к начинающей поэтессе Анне Готовцевой: «Почему так мало истинно хороших стихов пишется в наше время, хотя число хороших стихотворцев *нарочито* умножилось? Потому что многие поют фальшиво, не своим голосом, а подделываясь под чужие голоса... В большей части наших поэтов мы видим маску, которую они отлили себе, соображаясь с духом времени и корча господствующее лицо...» И он советует: «Пишите о том, что у вас в глазах, на уме и на сердце. Не пишите стихов на общие задачи. Это дело поэтов-ремесленников. Пускай написанное вами будет разрешением собственных сокровенных задач... Свой взгляд, свое выражение придают печать

оригинальности и новости предметам самым обыкновенным. Может быть, лучшие стихи у всех первейших поэтов именно те, которыми выражены чувства простые, общие по существу своему, но личные по впечатлениям, действовавшим на поэта, положению, в котором он находился в ту пору...» Для Вяземского «первейшими поэтами» были Пушкин, Жуковский, Баратынский...

Мысль движется неторопливо, на сей раз — от общего к частному. Сначала речь — о наибольшей опасности, подстерегающей всякого молодого поэта. Затем — о пути, позволяющем опасность миновать. Наконец — как идти по этому пути: «Язык стихотворный — язык условный; нарушая одно из условий, расстраиваете вы согласие целого. Чем рифма кажется маловажнее, тем рачительнее надо стараться о ней... Язык русский упрям: без постоянного труда не переупрямить его. Не всегда можно быть расположенным писать стихи; а между тем необходимо писать каждый день, то есть работать над языком... Впрочем, чтобы хорошо овладеть языком, не довольно писать на нем много, нужно еще много читать и перечитывать писателей отечественных, и не одних образцовых и современных». Это написано полтора года назад, но и сегодня почти нечего добавить к таким обстоятельным рекомендациям молодому литератору.

Таковы же по сути, только еще жестче, требования, предъявляемые Вяземским-критиком писателям сложившимся, претендующим на признание. Для них он считает совершенно обязательными и самостоятельность мышления, и превосходное знание отечественной литературы. Мастерство — язык, на котором поэт разговаривает с читателем. «Поэт не столько бывает поэтом в выборе предмета, сколько во взгляде на предмет и в выражении ощущения. Можно высекать искры поэтического огня из вещества не-поэтического».

Жуковский произнес фразу, ставшую знаменитой: «Слова поэта — дела его». Вяземский истолковал ее сообразно своему пониманию задач и мастерства писателя: «В жизни великого писателя творения его обыкновенно бывают главным действием: деяния примыкают к ним и составляют целое, которое только тогда бывает изящно и совершенно, когда правила исповедуемые согласны с правилами исполняемыми и когда

слово бывает заодно с делом». Себя он не считал великим писателем, но правилу этому следовал, не отклоняясь.

Если вдуматься, в критической прозе Вяземского, в его мыслях о поэзии, высказанных, когда не разразились еще «пушкинская плеяда», уже содержатся те «три простых истины», которые много лет спустя, в феврале 1921 года, на Пушкинских днях, провозгласил Александр Блок, говоря «О назначении поэта»: «Никаких особенных искусств не имеется; не следует давать имя искусства тому, что называется не так; для того, чтобы создавать произведения искусства, надо уметь это делать».

Столь же ясным было представление Вяземского и о назначении критика: «Наши необразованные люди не любят читать, а иначе они были бы образованными: образованным у нас читать почти нечего. Мы для одних не пишем, и пишем не для других». Статьи Вяземского о литературе ориентированы на читателя, писаны для читателя, чтобы помочь ему войти в мир художественного произведения, обжиться в этом мире.

Писатель отдает литературе свою жизнь — не на забаву и развлечение. Поэтому Вяземского всякий раз глубоко огорчало, если мысль и слово автора читатель не потрудился усвоить, по лености прошел мимо главного, скользнул взглядом по поверхности и увидел облик писателя искаженным, словно в кривом зеркале своей бездумности. «Не все грамотные люди умеют писать, это известно: за примерами ходить далеко не нужно. Но можно, по крайней мере, было думать, что все грамотные умеют читать; а на деле выходит, что и этого нет». Он хотел научить всех грамотных читать книги...

Он предлагал судить писателя по взлетам, а не провалам. Так надо судить и его самого. Ведь «праведники за грешников не отвечают», а «праведных» критических работ у него наберется немало. Его взгляд на то, какую должна быть критика, не устарел. Читая литературное произведение, мы задумываемся об его историческом происхождении и отношении к современности, всматриваемся в мастерство автора, прислушиваемся к его мыслям — и к своим, возникающим в ответ. Потому что и наш век требует мыслей...

И еще одному можно поучиться у Вяземского: как,

живя напряженным интересом к своему времени, решая злободневные задачи — и именно благодаря этому! — верно обнаружить и выделить те «внутренние и весовые» ценности, которые не устареют: ни для нас, ни для тех, кто будет после нас. В этом — смысл чтения Вяземского. И в этом — его современность. Потому что писатель жив, пока его читают.



Глава VII. Автор «катехизиса заговорщиков»

...Я готов назвать поэзией политической всякую народную или гражданскую поэзию, объемлющую возвышенные, общественные истины. И почему поэту не быть наравне с оратором стражем народных выгод и блага общественного?

Вяземский. *«Письмо из Парижа»*, 1826 год.

В Костромской вотчине, селе Красном, после обедни в воскресенье с жаром священник сказал приветственную речь, а народ слушал с благоговением: «Вы не знаете еще, какого барина Бог вам дал; так знайте же, православные братья: он русский Гораций, русский Катулл, русский Марциал!» При каждом из этих имен народ отвешивал мне низкие поклоны и чуть ли не совершал знамения креста.

Из *«Автобиографического введения»* к Полному собранию сочинений Вяземского

Мы расстались с князем Петром Андреевичем Вяземским в сентябре 1826 года в Ревеле. Здесь, подальеку от Москвы, решил переждать он коронацию Николая Павловича.

У него была возможность снять с себя опалу, нало-

женную прежним императором. «Простил» же Николай Пушкина, вернул его из Михайловской ссылки в Петербург. Правда, не сразу, через полгода, дождавшись майского письма поэта, даже не письма, пожалуй, — расписки в том, что не состоял тот, не состоит и состоять не собирается ни в каких тайных обществах. За чем вскоре последовало и стихотворное подтверждение лояльности — «с подлинным верно» — «Стансы»: «В надежде славы и добра...», — где примечательна тавтологичность третьего стиха («Начало славных дней Петра...»), образующая неловкое созвучие, нечто вроде небрежной внутренней рифмы в безупречно рифмующихся строках; это весьма похоже на умышленное косноязычье — наглядный признак «особого назначения» стихов, благосклонно принятых адресатом...

Свежеиспеченному властителю такие умеренно-милосердные жесты ничего не стоят, но принести могут не так уж мало — и главное: расположить к нему общественное мнение.

Поводы для оказания такого рода милостей были Николаю тем нужнее, что обстоятельства вступления на престол и события следующих семи месяцев популярности ему отнюдь не снижали.

Вяземский предпочел остаться в немилости. Хотя понимал, что делает рискованный шаг, что «милосердие», проявленное новым императором в деле декабристов, сулит мрачное царствование. Однако и он явно недооценил злопамятливости Николая. Напрасно полагал он, что демонстративная неявка его, москвича, в Москву на коронацию — материал лишь «для будущего биографа». Для царя это стало верным признаком неблагонадежности Вяземского.

Со своей стороны Петр Андреевич «опальность» просто-таки выставлял напоказ: не связанный государственной службою, он открыто высказывал независимые суждения свои и не желал быть сообщником — хотя бы и молчаливым, не противящимся гласно — ни в одном из «официальных начинаний». Главной особенностью власти он считал бездарность. И с удовольствием повторял меткое замечание современника, что «в России от дурных мер, принимаемых правительством, есть спасение: дурное исполнение». Заодно припомнил и наставника своего Карамзина, который гова-

ривал: если означить одним словом происходящее в России, придется сказать: «Крадут!»

Имя, талант, состояние, хоть и расстроенное, но все еще изрядное, ум, опальное положение — ничего более не требовалось, чтобы влияние Вяземского в московском обществе сделалось огромным. Он — один из «законодателей» поведения светских салонов. Кстати, именно это имеет в виду Пушкин, упоминая Вяземского в седьмой главе «Евгения Онегина». Когда Татьяна попадает в Москву, то поначалу:

**Архивны юноши толпою
На Таню чопорно глядят...**

Но вот:

**У скучной тетки Таню встреть,
К ней как-то Вяземский подсел
И душу ей занять успел.
И, близ него ее заметя,
О ней, поправя свой парик,
Осведомляется старик.**

Разумеется, не случайно это «близ него ее заметя»: встреча Татьяны с Вяземским, по существу, впервые обращает на нее взоры «света»...

Его остроты и эпиграммы тут же подхватывались, повторялись, расходились, словно круги по воде.

**Двуличен он! — Избави боже!
Напрасно поклепал глупца:
На этой откровенной рожке
Нет и единого лица.**

Правда, выступления в печати у властей была возможность ограничить, обуздать — на то и цензура. Но и тут он нашел выход: к этому времени литературная деятельность Вяземского принесла ему известность не только в России, но и за пределами его, — и он получил приглашение участвовать в одном из небезвестных французских журналов. Это была реальная, на первый взгляд, возможность публиковать за границей хотя бы часть того, что по тем или иным соображениям не могло быть напечатано в России. Грех не попытаться воспользоваться таким случаем! Однако некоторые мысли Вяземского, как, впрочем, и общее их направление, не пришлось по вкусу и французскому

издателю. На это Вяземский отвечал: «...Россия находится в еще совсем младенческом возрасте и... говорить вам о ней — значит делать крайне жестокую критику той опеки, которая держит ее в состоянии запоздалого детства... Я вижу свою национальную гордость не в том, чтобы торжествовать по поводу того, что у нас есть, а в том, чтобы сожалеть о недостающем...»

Рукописи неизданных сочинений своих он охотно давал читать желающим. И других поощрял к тому же: «Нам только и можно лакомиться рукописным, а печатное так черство, так сухо, что в горло не лезет».

Подобному поведению есть точное название, его дал Герцен, написавший не о Вяземском, но словно бы именно о нем: «Не домогаться ничего, беречь свою независимость, не искать места — все это, при деспотическом режиме, называется быть в оппозиции».

При такой репутации нечего было и думать, что правительство позволит Вяземскому пустить в публику журнал, замысел которого, возникнув и будучи тщательно разработан еще в начале «арзамасской» поры, до варшавской службы, время от времени вновь приходил на ум. Однако случай благосклонен к тому, кто не ждет его бездельно, а постоянно ищет и готов воспользоваться — едва представится. Так, благодаря случаю, возник журнал «Московский телеграф», издавать который взялся Николай Полевой.

Этот журналист и критик, которому предстояло сыграть заметную роль в становлении разночинной русской литературы, шедшей на смену литературе дворянской, был тогда совсем еще молодым человеком. Познакомились они, когда в разгар одной из дискуссий Вяземский обратил внимание на не очень умело, но пылко написанную статью в защиту его мнения. Автором был Полевой.

О дальнейшем Вяземский вспоминал: «Полевой со мной познакомился и бывал у меня по утрам. Однажды застал он у меня графа Михаила Вьельгорского. Речь зашла о журналистике. Вьельгорский спросил Полевого, что он делает теперь.— Да покамест ничего,— отвечал он. Зачем не приметесь вы издавать журнал?— продолжал граф. Тот благоразумно отнекивался за недостатком средств и других приготовительных пособий... Вьельгорский настаивал и преследовал мысль свою; он указала на меня, что я и приятели мои не

откажутся содействовать ему в предприятии его, и так далее; дело было решено. Вот как, в кабинете дома моего, в Чернышевском переулке, зачато было дитя, которое после наделало много шума на белом свете. Я закабалил себя «Телеграфу»... Журнальная деятельность была по мне... Пушкин и Мицкевич уверяли, что я рожден памфлетером, открылось бы только поприще...»

Шел 1825. Поприще перед Вяземским открылось широчайшее. Молодой и незрелый журналист-издатель на первых порах надежно прикрыл многоопытного партнера своим не вызывающим подозрений именем. Он всецело доверился Вяземскому. И жадно у него учился: отбирать в ворохе событий самые существенные, ясно выражать свои мнения, проникать под оболочку, в глубь явления; ведь тяжкий дефект современной критики, по Вяземскому, заключался в том, что «многим не под силу раздробить ядро мысли, и поэтому с алчностью острятся они об оболочку».

Для одного из первых номеров «Московского телеграфа» Полевой сочинил рецензию на выпущенный Булгариным и Гречем сборник о русском театре. Он бегло прошелся по страницам, отметил определенные достоинства и некоторые недостатки, словом, сделал отзыв в стиле десятков, печатавшихся в журналах, не хуже, но и не лучше. Вяземский взял рукопись и начал править, вычеркивать, дописывать. Он разъяснил читателю, что в сборнике нет главного, ради чего только и стоило его издавать, — разговора о характерных особенностях именно русского театра. К тому же авторы отчасти пересказали, отчасти заимствовали чужие размышления и выдали их за собственные, полагая, вернее — надеясь, что читанное ими никто более не читал.

И Булгарин, и Греч считались тогда либеральными журналистами, если не самыми передовыми, то и не из последних. Вряд ли кто-либо мог предполагать, что совсем скоро, после разгрома декабристов, оба проворно переметнутся на сторону правительства, станут верными слугами его в борьбе со свободомыслием в литературе: первый — «инициативным», второй, — так сказать, «академическим». Вяземский почувствовал такую вероятность — по беспринципности и отсутствию самостоятельных мыслей в их сочинениях.

Иные номера «Телеграфа» чуть не наполовину составлялись из материалов, написанных Вяземским

или доставленных им в журнал. Он привлек к сотрудничеству Пушкина, Баратынского, Языкова, Козлова, Александра Тургенева и других искусных и деятельных авторов. Иностранные журналы и книги, присылаемые Тургеневым, навели его на мысль давать в «Телеграфе» иностранную информацию: под его пером она становилась отзвуком и даже оценкою происходящего в России. Он и форму придумал для этих статей, писанных в московском или остафьевском кабинетах,— «Письма из Парижа», приходящие якобы от корреспондента, желающего оставаться неизвестным, русского — но глядящего на Россию издали, со стороны.

(Здесь стоит упомянуть, что три четверти века спустя рубрика «Письма из Парижа» возродится в издававшемся превосходно знавшим историю литературы Брюсовым журнале «Весы»: только на сей раз «корреспондент» — Волошин — и впрямь будет находиться в Париже, в самой гуще французской художественной и литературной жизни.)

Вот к этой-то деятельности, прерванной на несколько месяцев отъездом в Ревель, Вяземский вернулся с удвоенной энергией. «Вы спрашиваете: что делает поэзия во Франции?— писал он во втором «Письме из Парижа».— Политику: можно отвечать не без основания, если не бояться бы галлицизма; впрочем, и политическая поэзия есть галлицизм литературный; да и где же позволительны галлицизмы, как не в Париже?.. Наш Державин во многих песнопениях не только лирик сатирический, но и политический; Жуковский в «Певце во стане русских воинов» преподает народное право с треножника Поэзии и неотразимыми доводами убеждает в истине, что народ не должен покоряться чуждому владычеству; Байрон в самых поэтических и своенравных порывах гения чудного, во всех значениях этого слова, неожиданно и ярко выбрасывает свои мнения политические и говорит в стихах то, что говорил бы прозою в вышней палате, если бурный жребий поэта не обратил бы шотландского пэра в бесполойного и странствующего Чайльд-Гарольда или в необузданного проказника Дон Жуана...»

Конечно, он был доволен отзывом Пушкина, что «Телеграф» — лучший от московских журналов. Правда, настроение омрачали стычки с цензорами, среди

которых был и С. Т. Аксаков. Впрочем, Вяземский нередко выходил победителем.

Не рискуя вступить с ним в открытый поединок, противники его — и конкуренты в журнальном деле — обратились за поддержкою... к Бенкендофу. В 1827 году в III отделение поступил донос, в котором анонимный «доброжелатель» сообщал, что все вредные книги, «находящиеся в обороте, напечатаны и одобрены в Москве. Даже «Думы» Рылеева и его поэма «Войнаровский», запрещенные в Петербурге, позволены в Москве». (Это соответствует действительности. В январе 1825 года Рылеев писал Вяземскому: «Позвольте поблагодарить Вас за участие, которое принимаете Вы в судьбе «Войнаровского»... Я никак не думал, что сподвижник Мазепы так мало пострадал в чистилище цензуры нашей...» Такая несомненная осведомленность позволяет высказать предположение о причастности к доносу Булгарина, тогда, в двадцать пятом, близкого к издателям «Полярной звезды».) Объяснялось это тем, что «по связи кн. Вяземского они (московские цензоры — В. П.) почти безусловно ему повинуются». А ведь среди отчаянных московских либералов Вяземский, по убеждению доносчика, самый опасный: «Образ мыслей Вяземского может быть достойно оценен по стихотворной пьесе «Негодование», служившей катехизисом загорщиков».

Катехизис — краткое изложение основ христианства в форме вопросов и ответов. Называя написанное Вяземским стихотворение «катехизисом» декабристов — и не без правоты: и вопросы, волновавшие их, там содержатся, и ответы, которые попытались они воплотить действием, — автор доноса рассчитал безошибочно, да еще, чтобы усилить впечатление, «государственного преступника» Рылеева упомянул. Видимо, он был неплохо осведомлен о неприязни Николая I к Вяземскому — и наносил удар, как ему казалось, наверняка. Пусть стихи — дело прошлое. Главное — «образ мыслей» поэта остался прежним.

Куда уж до такой зоркости было негласному надзору, под которым пребывал Вяземский после варшавской службы! Тот в мысли не проникал, ограничивался внешними обстоятельствами, о чем можно судить хотя бы по донесению, датированному 11 мая 1825 года: «...У князя Вяземского часто бывают большие собрания

из разных особ. У сенатора Кутузова бывает он, но редко, а к графу Мамонову вовсе в Подмосквовную не ездил. В апреле месяце князь Вяземский 27 числа был на балу у графа Потемкина, с которым он хорошо знаком, — 28-го ездил в отделение Благородного Собрания, а 29-го числа были у него гг. Пушкины, с коими он тоже весьма знаком... 5-го сего мая князь Вяземский ездил за 20 верст от Москвы в село Ясино к князю Четвертинскому, откуда возвратился в прошедшее воскресенье... Впрочем, до сего времени предосудительных поступков со стороны его никаких не открывается».

Июль 1826 года показал, что царь может судить — и осудить — не за поступки, а за мысли. Николай I отлично понял доносчика. Он обратил пристальное внимание на «Московский телеграф». И поручил бывшему «арзамасцу», а ныне крупному чиновнику и одному из столпов режима Блудову урезонить поэта.

В конце августа 1827 года письмо Блудова о «Московском телеграфе» было одобрено Николаем. Затем отослано Вяземскому. Не случайны тут ни выбор в авторы письма давнего знакомого Вяземского и племянника Дмитриева, дружившего с Вяземским-старшим, ни то, что адресовалось оно не издателю — Полевому, — а Вяземскому: так давалось понять, что истинная его роль в журнале не составляет секрета.

«В век духовно больной, как тот, в котором мы живем, — писал Блудов «под диктовку» Николая, — порою мысль, невинная сама по себе, но выраженная так, что подсказывает разные заключения, может произвести пагубное воздействие на читательскую чернь, а ведь именно на эту чернь распространяется влияние журналов; необходимо избегать этого, как ради себя самого, так и ради правительства...»

Здесь все продумано, текст прозрачен, подтекст — как на ладони, каждое слово — понятный адресату намек. И «духовно больной век», потому что в какой же иной восстают подданные на благодетельную и законную власть? И «невинность» мысли, которая якобы неловко выражена и может быть неверно понята; на самом-то деле выражена она как надо, и никакие не «разные заключения» из нее следуют, а вполне определенные и неугодные правительству. И презрительное «чернь»: дескать, не совестно ли князю Вяземскому искать дешевой популярности у «черни», подверженной журналь-

ным влияниям,— вместо того, чтобы верой и правдой служить государю. Наконец, откровенная угроза: не надо этого делать «ради себя самого», как бы не пришлось сменить Остафьево на место далеко не столь благословенное, куда некоторые друзья его в минувшем году отправились...

Блудов привел и примеры «невинных мыслей», которые вызвали неудовольствие, если не раздражение, «высокого читателя».

«В № I Телеграфа... ставится вопрос: что сделали русские в течение двух последних лет? А ведь это годы 1825 и 1826. Ниже вы говорите: в конце 24-го года мы надеялись продвинуться вперед в 25-м; эта надежда была обманута, как и многие другие... Сколько сладостных химер разрушено в течение этих двух лет! Далее цитируются стихи Саади в переводе Пушкина. Я не могу поверить, чтобы вы, приводя эту цитату и говоря о друзьях, умерших или отсутствующих, думали о людях, справедливо пораженных законом; но другие сочли именно так, и я предоставляю вам самому догадываться, какое действие способна произвести эта мысль...»

Блудов лукавит, как и положено опытному царедворцу. Он не хуже «других», под «которыми» подразумевается единственный читатель — Николай I,— понял, что Вяземский имел в виду именно «пораженных» мстительностью царя, когда писал: «Смотрю на круг друзей наших, прежде оживленный, веселый, и часто... с грустью повторяю слова Сади (или Пушкина, который передал нам слова Сади): «Одних уж нет, другие странствуют далеко!»

Он вольно, цитирует эпитафию к «Бахчисарайскому фонтану», вышедшему в 1824 году. Ныне, через три года, строка эта звучит эпитафией судьбе декабристов.

Пушкин в конце 1827 года жил в Москве, постоянно встречался с Вяземским и, вне всяких сомнений, был знаком с письмом Блудова. Потому и повторил в 1830 году, заканчивая восьмую главу «Евгения Онегина»:

**Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.**



*А. И. Вяземский.
Ж.-Л. Вуаль, х., м.,
1770-е гг.*



*Вольтер. Гравюра Бос-
сельмана*



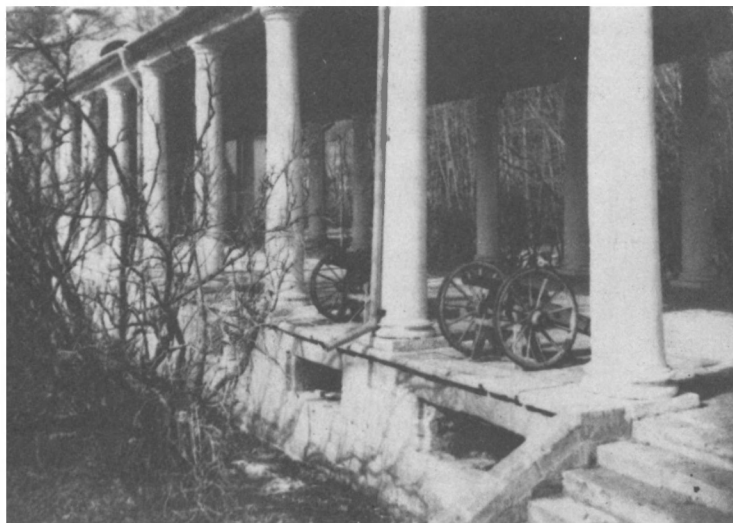
Остафьево. Липовая аллея. Фотография, конец XIX в.



*Ю. А. Нелединский-Мелецкий.
Гравюра на стали А. Тайхеля*



*А. Р. Воронцов. Гравюра
неизвестного художника*



Остафьево. Западная колоннада. Фотография, конец XIX в.



*А. Н. Голицын. Гравюра
с рис. Т. Райта*



*Д. П. Бутурлин. Акварель
неизвестного художника
с оригинала И. Эндера,
начало 1820-х гг.*



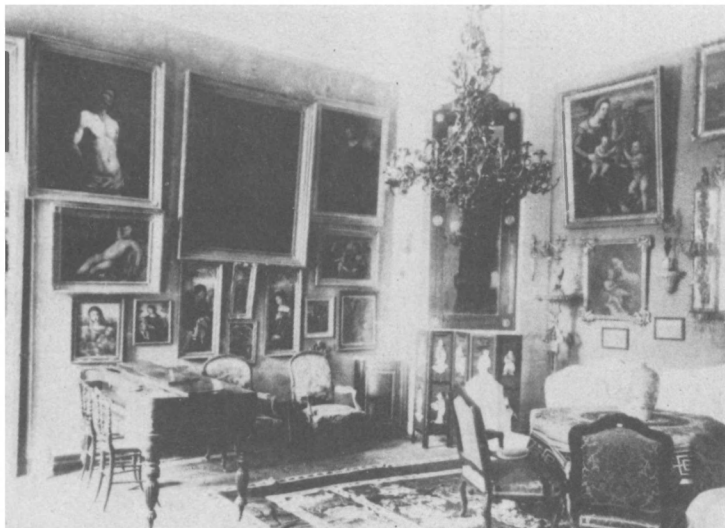
Остафьево. Столовая. Фотография, конец XIX в.



*Н. П. Панин. Гравюра Буассона
с портрета В. Тропинина*



*Н. С. Мордвинов. Гравюра
Т. Райта с портрета Д. Доу*



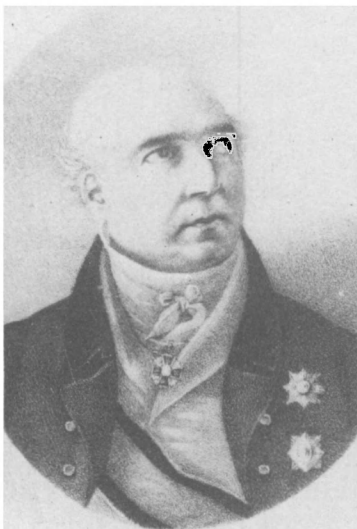
Остафьево. Большая гостиная. Фотография, конец XIX в.



*Н. М. Карамзин. Литография
с портрета Ж. Б. Дамона-
Орталани, 1805*



*Е. А. Карамзина.
Ж. Б. Дамон-Орталани (?),
х., м., 1820-е гг.*



*И. И. Дмитриев. Литография
В. Погонкина с рис. С. Тончи*



*А. Ф. Мерзляков. Гравюра
неизвестного художника.*



П. А. Вяземский. К. Райхель,
х., м., 1817



В. Ф. Вяземская. К. Райхель,
х., м., 1817



В. Л. Пушкин. Литография
И. Вивьена де Шатобрен



В. А. Жуковский. Гравюра
Е. Эстеррайха с портрета
В. Тропинина, 1820



**М. Ф. Орлов. Акварель
неизвестного художника
с портрета Г. Ризенера, 1814**



**Д. В. Давыдов. Гравюра
неизвестного художника**



**Н. М. Муравьев. Литография
с портрета П. Ф. Соколова,
2-я пол. 1810-х гг.**



**М. А. Милорадович. Лито-
графия с портрета Д. Доу, 1823**



*А. И. Тургенев. Акварель
К. Брюллова, 1820-е гг.*



*К. Н. Батюшков. Гравюра
с автопортрета, 1810-е гг.*



*Н. И. Тургенев. Литография
М. Антонена по рис.
Н. Мартоса, сделанному
в 1811 г. в Риме*



*С. И. Тургенев. Акварель
К. Брюллова, 1820-е гг.*



П. А. Вяземский. Акварель
П. Ф. Соколова, 2-я пол.
1810-х гг.



Г. Р. Державин. Литография
И. Пожалостина с портрета
А. (?) Васильевского (1815),
1880



П. А. Вяземский. Шарж К. Н. Батюшкова, 1816



Великий князь Константин Павлович. Лебронн, х., м., 1813



П. А. Вяземский. Литография мастерской И. Германна, 1820-е гг.

Вяземскому
Зачем забывши славу
Пускаешься в Польшу?
Уф! ты счастливый
Людьям удрученъ и кривымъ
И фобосамъ кривымъ
Но ты все тамъ же, милъ
Все миль - и кекльмиль
Въ души нбвсѣ живѣтъ
Все то что въ чвртъ дѣтъ
Стомъ днѣ 'наль дѣтъ

поступилъ
А. С. Пушкинъ
К. Н. Батюшковъ
В. А. Жуковский

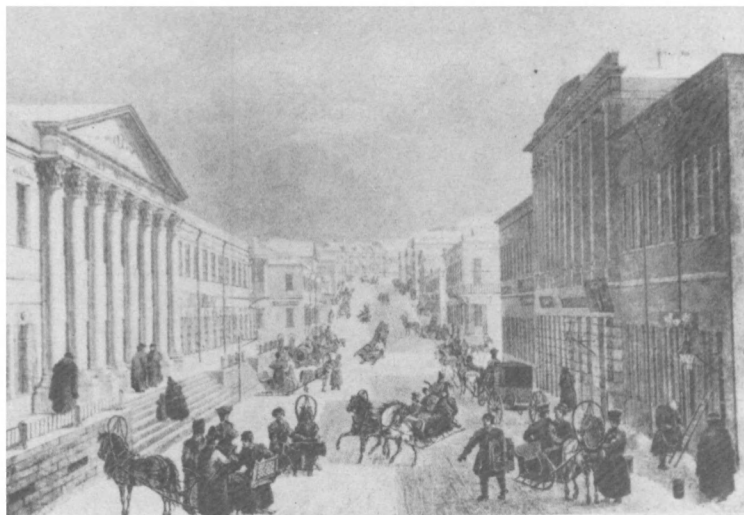
Автограф коллективного стихотворения «Кн. П. А. Вяземскому» («Зачем, забывши славу...»), написанного на отъезд Вяземского в Польшу в 1818 г. А. А. Плещеевым (2 первых стиха), А. С. Пушкиным (3 следующих), К. Н. Батюшковым (1), В. А. Жуковским (4 последних)



*Н. Н. Новосильцев. С. Жукин,
х., м.*



*А. Е. Черторыский.
И. Олешкевич, х., м.*



Москва. Кузнецкий мост. Литография О. Кадоля, 1825



*П. Я. Чаадаев. Литография
с рис. А.-М. Алова*



*А. С. Грибоедов. Акварель
В. Мошкова, 1827*



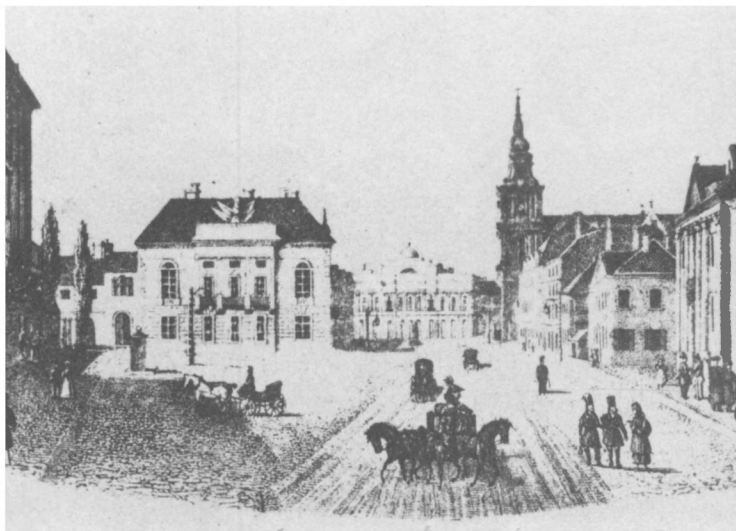
*Варшава. Королевский замок со стороны Вислы. Литография
Ф. Шустера, 1-я пол. XIX в.*



Ф. И. Толстой («Американец»).
Неизвестный художник, х., м.,
1803



Е. А. Баратынский. Литография
Ф. Шевалье, 1830-е гг.



Варшава. Краковское предместье. Литография Ф. Шустера, 1-я пол.
XIX в.



**П. А. Вяземский. Гравюра
К. Афанасьева, 1822**



К. Ф. Рылов. Гравюра с миниатюры неизвестного художника



Концерт у графов Виельгорских (третий слева — Михаил, четвертый — Матвей Юрьевич Виельгорские). Гравюра Рорбаха



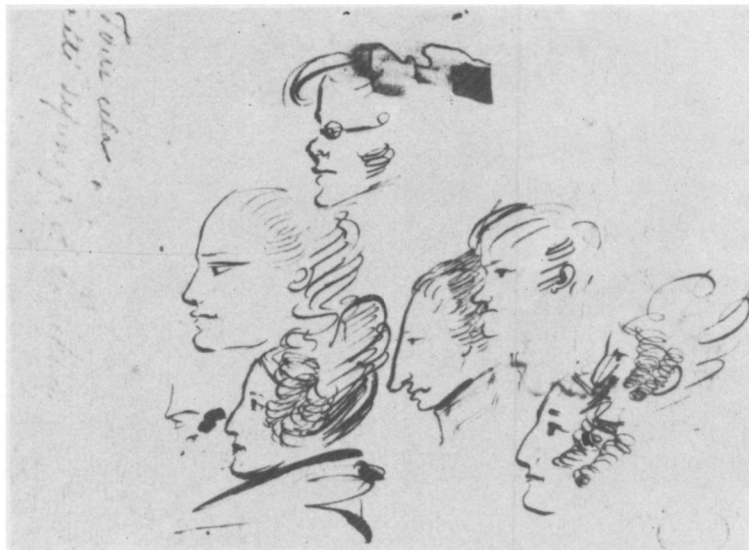
*Н. А. Полевой. Гравюра
неизвестного художника,
1840-е гг.*



*Ф. Н. Глинка. Гравюра
К. Афанасьева, 1825*



П. А. Вяземский. Рис. А. С. Пушкина, 1829 (Вяземский изображен церковным служкой, собирающим пожертвования: в шарже обыграно и то, что в 1829 г. он был церковным старостой в приходе церкви Вознесения на Б. Никитской, где впоследствии венчался Пушкин, и то, что он не раз выступал инициатором сбора пожертвований — на выкуп крепостного поэта Сибирякова и т. п.)



*Рис. А. С. Пушкина. Вверху — П. А. Вяземский, внизу —
В. Ф. Вяземская*



*П. А. Вяземский. Рис.
А. С. Пушкина*



*В. Ф. Вяземская. Рис.
А. С. Пушкина*



А. С. Пушкин. Автопортрет



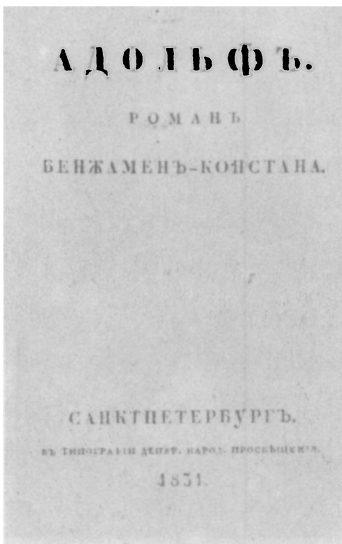
П. А. Вяземский. Этюд Г. Мясоедова к картине (1907) «Мицкевич в салоне Зинаиды Волконской импровизирует среди русских писателей», карт., м.



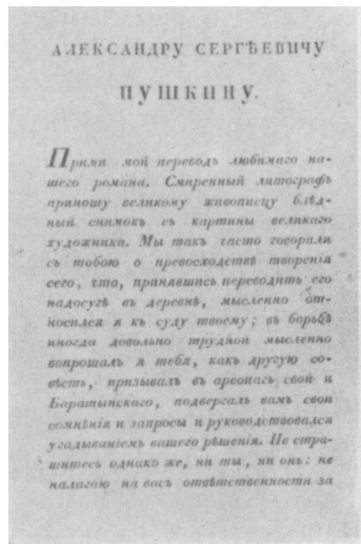
П. А. Вяземский. Рис. А. С. Пушкина, 1826 (?)



Ревель. Ратушная площадь. Литография неизвестного художника, XIX в.



Б. Констан. Агольф. Титульный лист первого издания. СПб., 1831



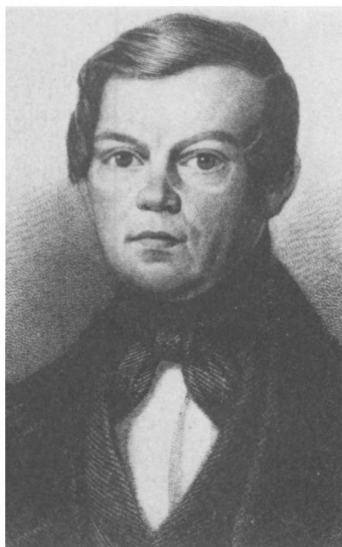
Б. Констан. Агольф. Посвящение переводчика П. А. Вяземскаго А. С. Пушкину



Санкт-Петербург. Зимний дворец. Литография неизвестнаго художника — лист из альбома А. Плюшара, 1824



*Ф. В. Булгарин. Гравюра
Е. Эстеррайха по собственному
рисунку, 1825*



*В. Г. Бенедиктов. Гравюра
неизвестного художника*



Санкт-Петербург. Полицейский мост. Литография Ж. Арну, 1850-е гг.



В. А. Жуковский и А. И. Тургенев. Гравюра с физионатраса, Париж, 1827



*А. А. Дельвиг. Литография
П. Бореля с рис.
В. Лангера, ок. 1830*



*И. И. Козлов. Гравюра
К. Афанасьева, 2-я пол.
1820-х гг.*



*А. Я. Булгаков. Гравюра
А. Афанасьева, 1810-е гг.*



*Е. Ф. Канкрин. Литография
с рис. И. Нечаева, конец
1830-х — нач. 1840-х гг.*



Кабинет П. А. Вяземского в Риме. Прециози, бум., акв., гуашь, 1850



*В. А. Жуковский. Гравюра
Ф. Крюгера*



*Н. Н. Пушкина (Ланская).
Литография с портрета
И. Макарова*



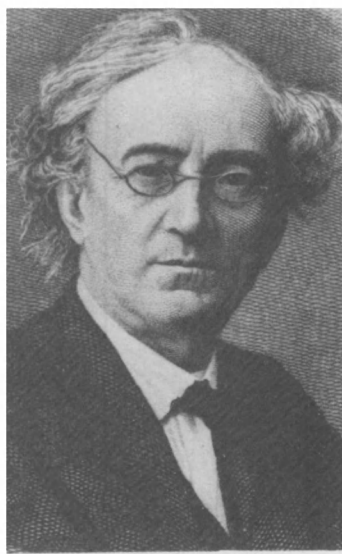
*И. А. Крылов. Автолитография
Г. Гиллиуса, 1822*



*П. А. Вяземский. Акварель
Т. Райта, 1844*



**А. Мицкевич. Гравюра
с дагерротипа, 1842**



**Ф. И. Тютчев. Гравюра
неизвестного художника**



**Санкт-Петербург. Невский проспект. Литография К. Бегрова по
рис. Е. Есакова, 1820-е гг.**



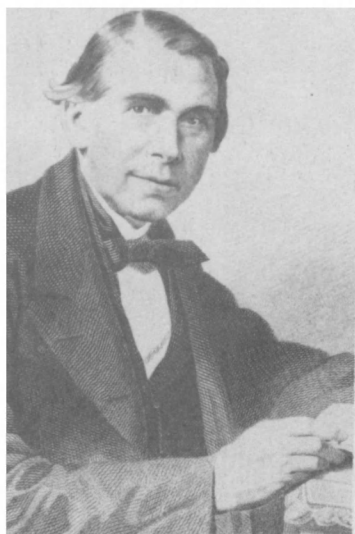
П. А. Вяземский. Акварель неизвестного художника, конец 1840-х гг.



*Н. В. Гоголь. Литография
Паннемакера с рис. А. Иванова,
1840-е гг.*



*Н. М. Языков. Гравюра
Ф. Иоргана, 1849*



*П. А. Плетнев. Литография
Ф. Иоргана, 1870*



*Памятник Н. М. Карамзину
в Остафьево. Фотография,
сделанная в 1911 г., в день
открытия памятника*



*Д. Н. Блудов. Гравюра
с фотографии, середина
1850-х гг.*



*И. И. Пуцин. Литография
с рис. Г. Мазера, нач. 1850-х гг.*



Остафьево. Карамзинская комната. Фотография, конец XIX в.

Графиня Екатерина Павловна Шереметева урожденная Княжна Вяземская покорнейше просит Бориса Борисовича Шереметева с супругой пожаловать на открытие памятников В. А. Жуковскому, Князю П. А. Вяземскому и А. С. Пушкину имлющее быть 15 Июля 1913 года въ с. Остафьевъ Подольскаго уезда Московскои губ. въ 12 ч. дня.

Привъздъ на ст. Щербинка Моск.-Курсксой ж. д. по въздомъ выходящимъ изъ Москвы въ 10 ч. 03 м. утра. Въ Щербинкахъ будутъ ожидать экипажи.

Адресованное графу Б. Б. Шереметеву приглашение в Остафьево на открытие 15 июля 1913 г. памятников В. А. Жуковскому, П. А. Вяземскому и А. С. Пушкину



С. Д. Шереметев. Фотография, 1880-е гг.



Е. П. Шереметева. Фотография, 1870-е гг.



Остафьево. Физический кабинет А. И. Вяземского. Фотография, конец XIX в.



Баден-Баден. Вокзал. Гравюра К. Линдемманн-Фроммеля, середина XIX в.



П. А. Вяземский. Фотооткрытка (на оригинале внизу — факсимиле подписи: «Кн. Вяземский», и далее: «Портрет Князя Петра Андреевича Вяземского, подаренный им в 1869 году Графу С. Д. Шереметеву»)



П. П. Вяземский. Фотография, середина 1850-х гг.



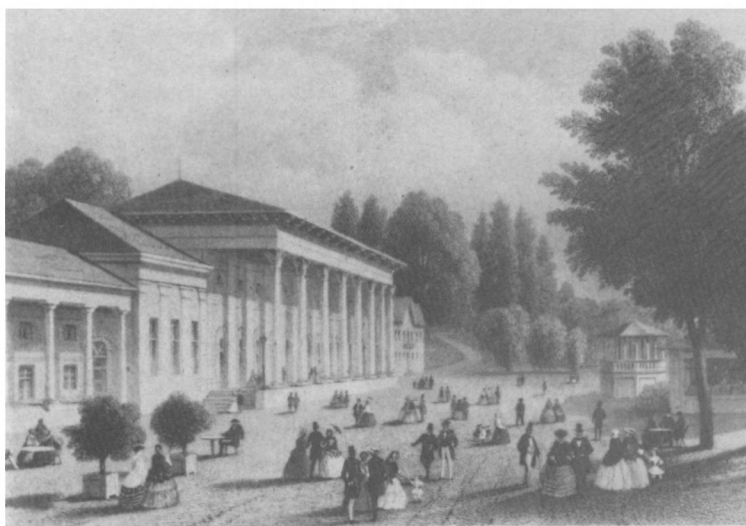
Вид Багена-Багена. Рис. В. А. Жуковского, 1851



**В. Ф. Вяземская. Фотография,
2-я пол. 1860-х гг.**



**П. А. Вяземский
и П. П. Вяземский. Фотография,
1860-е гг.**



**Баден-Баден. Курзал и казино. Гравюра К. Линдемманн-Фроммеля,
середина XIX в.**



*П. А. Вяземский с внуком,
П. П. Валуевым. Фотография,
2-я пол. 1860-х гг.*



*Спальня в Баден-Бадене.
Фотография из альбома
Вяземских, 1880-е гг.*



*Баден-Баден. Вид на новый замок маркграфа Баденского. Гравюра
К. Линдемманн-Фроммеля, середина XIX в.*

И Николай I, милостиво вызвавшийся исполнять обязанности «личного цензора» Пушкина, был вынужден вторично проглотить намек на декабристов...

В конце своего послания Блудов еще дважды предостерегает бывшего товарища по «Арзамасу». Сначала, выхватив фразу о «согласии» господствующих идей века с идеями лорда Байрона, он делает вид, будто не понимает, что творчество Байрона для Вяземского — знак вольнолюбия, человеческого стремления к свободе. Для Николая Павловича, а значит и для Блудова, Байрон прежде всего — человек безнравственный, отъявленный враг морали и религии. И такой вот человек по душе Вяземскому!

Затем — о «катехизисе»: мол, чересчур много внимания уделяет ведущий автор «Московского телеграфа» «политическим вопросам и вопросам политической экономии, определенным как *темные вопросы, разрешение которых волнует всех людей*». Журналистский прием снова разгадан точно, «разгримирован»: «Кажется, что это статьи переводные и перевод, быть может, сделан не вами, но подбор заимствованных статей также дает возможность судить об общем направлении журнала».

«Дружеские увещания» не возымели действия. Тон и стиль журналистики Вяземского не стал ни осторожнее, ни мягче.

«Один хороший автор рождает сотни читателей; но целый народ читателей не произведет ни единого, даже посредственного автора». Зря ему пытались внушить, что «читательская чернь» не способна ничего толком уразуметь, а все на свой лад, поневыгоднее для правительства переиначивает «невинные мысли».

Главное действующее лицо в литературе — писатель. Те же, кто утверждают иное, попросту стараются свалить вину за бездарность и духовное ничтожество свое с больной головы на здоровую. Он вычитал у Булгарина, что в России писатели не пишут, потому что их не читают, — и съязвил: это все равно, что полагать, будто «немой не говорит, потому что его не слушают...»

Эпиграммы по-прежнему в изобилии срываются с кончика пера его, чтобы попасть не в бровь, а в глаз. Справедливо сказано Ходасевичем, что именно Вяземский научил эпиграмму быть конкретной, зубастой. Пушкин и Баратынский были его последователями, но,

пожалуй, они не всегда достигали безошибочной меткости, неизменно присущей Вяземскому.

**Булгарин, убедясь, что брань его не жалит,
Переменял теперь и тактику и речь:
Чтоб Грибоедова упечь,
Он Грибоедова в своем журнале хвалит.
Врагов своих не мог он фонарем прижечь,
То хоть надеется, что, подслужась, обсалит.**

(Чтобы стала ясна мера конкретности эпиграммы Вяземского для современников, достаточно, думается, раскрыть, что «фонарем прижечь» — намек на раздел «Литературных листков», издававшихся Булгариным: «Волшебный фонарь, или Разные известия», где нередко были нападки на передовых литераторов, в том числе на Вяземского.)

У него непременно находится презрительная усмешка и для тех, кто «за прозу только с тем и принимаются, чтобы поговорить о себе, о своих правах на общее внимание, ...пишут прозой одни апелляции на общее мнение, которое обыкновенно остается при первом своем приговоре и не увлекается бурными порывами надменности необыкновенной, ходатайствующей за дарование весьма обыкновенное». А если уж очень станут они докучать, то, угрожает Вяземский, не поленился он, засядет да и составит «Большой словарь мелких русских писателей».

Написанная им характеристика своего французского современника Беранже — не просто оценка творчества поэта, но укор российским его собратьям. «Беранже не классик и не романтик, не трагик и не эпик, а просто песельник; но притом по дарованию едва ли не первый поэт Франции... В своих патриотических песнях он от шутки вдруг взлетает до высшей степени отваги и лиризма, в нежных и эротических куплетах он изобилует элегическими прелестями, и Муза его, увенчанная розами и плющом, вздыхая сквозь улыбку, наводит на нас радость и уныние по воле; в куплетах сатирических он ювеналовскими стрелами клеймит своих противников...» Это — народный поэт, поэт гражданский, политический, стоящий «наравне с оратором, на страже народных выгод и блага общественного».

Говоря как будто не о России, не о русском поэте, Вяземский имеет в виду свою страну и ее поэтов. Потому и подчеркивает политическое значение творчества

поэтического, что видит, как правительство норовит изгнать из литературы всякую политику, кроме безусловного восхваления политики официальной. «Не только поэзия, история, роман, но искусства изящные, художества, науки, едва ли даже и не точные, все носят, более или менее, отпечаток того или другого политического исповедания». Стало быть, важно не только то, о чем поэт *пишет*, но и то, о чем он *не пишет*: в молчании точка зрения его может быть выражена еще красноречивее, чем в словах.

Подобные мысли властям не по нутру. Вяземского это вполне устраивало. Он никогда не разделял стремления своих друзей-писателей взять на себя «идейную опеку» над самодержавием, быть при Николае тем, кем, по его же словам, был при Александре Карамзин — «представитель и предстатель русской грамотности у трона безграмотного». Тут он и с учителем своим решительно расходится.

«У нас ничего общего с правительством быть не может, — писал он жене. — У меня нет ни песен для всех его подвигов, ни слез для всех его бед».

Чувства были, так сказать, взаимными. Он не упустил случая липний раз в этом убедиться. Когда началась Турецкая кампания 1828 года, Вяземский написал Бенкендорфу, что хотел бы быть прикомандированным к главной квартире действующей армии «по гражданской части». И тот передал ответ Николая, что «отнюдь все места заняты».

К этому времени Вяземский почти отошел от участия в «Московском телеграфе» — из-за обострившихся до непримиримости разногласий с Полевым. Недавний, кажется, дерзкий, но мало что умевший новичок в журнальном деле, Полевой постепенно набрался силы и самостоятельности: в его статьях все отчетливее проступали антидворянские настроения, которых Вяземский, естественно, поддерживать и разделять не мог. Он был откровенно недоволен тем, что Полевой стал отказываться резко выступать против Булгарина и прочих журналистов «торгового направления», а в некоторых вопросах даже — внешне — и сближаться с ними. Когда же Полевой опубликовал нападки на «Историю» Карамзина, обвиняя историка в искаженном, «дворянском», а не истинном, «народном» понимании и истолковании прошлого России, да и вообще объявил его

труд безнадежно устаревшим, тогда разрыв между двумя основателями журнала стал неизбежен.

Не то, чтобы Вяземский не допускал никакой критики Карамзина. Но считал, что надо прежде глубоко усвоить написанное им, осмыслить все ценное в его наследии — и вот тогда, пожалуйста, если появятся у тебя собственные, знанием и опытом подкрепленные соображения, высказывай! Но не раньше — не с наскоку, не по той единственной причине, что веруешь в превосходство «народного» над «дворянским». Иначе пересмотр Карамзина и его роли — духовная катастрофа.

Вспомним, что за несколько лет до того, когда, весомо аргументируя свою позицию, карамзинские страницы остро критиковал близкий к Вяземскому Никита Муравьев, это не послужило поводом к разрыву, ни даже к взаимному охлаждению. В статьях же Полевого Вяземский увидел одну жажду самоутверждения. И ушел из журнала. «Литературная совесть моя не уступчива, а щекотлива и брезглива. Не умеет она мирволить и входить в примирительные сделки... Я был и остался строгим пуританином». Правда, деньги свои, изначально вложенные в журнал, он забрал далеко не сразу, чем мог бы нанести жестокий «практический» удар издателю: за пределы собственно литературные распря не вышла. И это естественно, потому что нравственно. Как естественно и то, что много лет спустя, в 1846 году, после смерти Полевого, Вяземский принял живое участие в судьбе его семьи. Хотя и оставался при мнении, что «Полевой имел вредное влияние на литературу»...

Весною 1828 года Вяземский отправился из Москвы в село Мещерское. «Дорогою из Пензы, измученный и сердитый, написал я, или сотворил, следующую песню:

**Нужно ль вам истолкованье,
Что такое русский бог?» —**

так начал он в письме историю одного из самых впоследствии знаменитых своих стихотворений.

Он давно подбирался к этой теме. Еще десять лет назад в письме к Александру Тургеневу из Варшавы иронизировал над этим выражением, по преданию, впервые вырвавшимся у Мамаев после поражения на Куликовом Поле, а к концу XVIII века твердо вошед-

шим в российский официальный «идеологический» лексикон — и в поэзию: например, в трагедию В. А. Озерова «Дмитрий Донской» или в написанное в 1801 году стихотворение Н. А. Львова «Народное восклицание на вступление нового века»:

**Бог русский и творец вселенной!
И меч и щит твой искони
Услышал глас твой вдохновенный,
Он век послал благословенный
Восстановить златые дни.**

И шесть лет назад, когда занес в записную книжку: «Конечно, Русский Бог велик и то, что делается у нас впотьмах и наобум, то иным и при свете не удастся делать. При нашем несчастьи нас балует какое-то счастье. Провидение смотрит за детьми, за пьяными и за русскими, прибавить должно».

Теперь образ «самодержавия», где все «само собою держится», потому что, если бы людьми управлялось, давным бы давно рухнуло, воплотился в саркастически лаконичные строфы:

**Бог голодных, бог холодных,
Нищих вдоль и поперек,
Бог имений недоходных,
Вот он, вот он русский бог.**

.

**К глупым полон благодати,
К умным беспощадно строг,
Бог всего, что есть некстати,
Вот он, вот он русский бог.**

**Бог всего, что из границы,
Не к лицу, не под итог,
Бог по ужине горчицы,
Вот он, вот он русский бог.**

**Бог бродяжных иноземцев,
К нам зашедших за порог,
Бог в особенности немцев,
Вот он, вот он русский бог.**

Посмеиваясь над засильем при дворе, да и во всем государственном аппарате иностранцев, «бродяжных иноземцев», Вяземский далек от мысли, что именно в них — корень зла, причина всех бед российских. Сказанное, перечисленное до начала последней строфы

как раз и объясняет: почему такое стало возможным, более того — неизбежным. Не в них дело, не в них метит горькая ирония автора, но в соотечественников, которые безалаберной и слепой верой в «русского бога», упованиями «на русский авось» довели свою страну до такого состояния. Тут Вяземский верен себе: в стихах говорит то же и так же, что и как говорил «в прозе», когда в вопросе «об иностранцах в России» обозначились, как мы помним, существенные его разногласия с декабристами.

А вот строка: «Бог в особенности немцев...» — уже по-настоящему опасна для поэта. Хотел он того или нет, но в ней слышится намек на царствующую семью: ведь Александр I и Николай I — сыновья принцессы Вюртенбергской, внуки герцога Гольштейн-Готторнского и принцессы Ангальт-Цербской...

Печатать такие стихи было, понятно, негде. Тем не менее они быстро стали популярными, разойдясь в списках. Четверть века спустя Герцен издал их отдельным листком в Вольной русской типографии, в Лондоне (позже он и сам обратится к этой теме — в хлесткой статье «Русские немцы и немецкие русские»). В бумагах К. Маркса сохранился немецкий перевод «Русского бога», сделанный для него Н. Сазоновым...

К отходу Вяземского от «Московского телеграфа» часть его друзей отнеслась с сожалением, считая, что публицистический дар его снова остается без достойного применения; другие, как Пушкин и Александр Тургенев, — одобрительно: в сложившейся ситуации сотрудничество с Полевым и им представлялось невозможным.

Разумеется, и недруги немедленно заметили этот шаг. И забеспокоились: нереальным выглядело допущение, что он замолчит совсем, следовало ожидать какой-то внезапности, а это самое неприятное. Решив нанести упреждающий удар, они прибегли к старому, испытанному средству: Бенкендорф получил анонимное письмо, извещавшее о том, что Вяземский намеревается издавать новый журнал — под чужим именем.

Зерно пало на подготовленную почву. Во-первых, хоть и не было ничего подобного в планах Вяземского, донос имел, так сказать, исторические основания: три года назад за спиною начинающего издателя «Телеграфа» стоял истинный вдохновитель журнала — Вязем-

ский! Во-вторых, после не возымевшего действия блудовского предупреждения надзор за поэтом, особенно за перепиской его, стал несравненно строже, чем раньше.

«...Ты только 12 ноября получил первое письмо мое. Итак, ты не получил многих,— писал Жуковский Вяземскому в декабре 1827 года.— Не понимаю, что делается с письмами. Их читают, это само по себе разумеется. Но те, которые их читают, должны бы по крайней мере исполнять с некоторою честностью плохое ремесло свое. Хотя бы они подумали, что... письма, хотя читанные, доставлять должно... И хотя была бы какая-нибудь выгода от такой нечестности, обращенной в правило! Что могут теперь узнать из писем? Кто верит себя почте?..»

Ответить на последний вопрос не составляло труда: Вяземский! Материалов против него — в извлечениях из писем — у правительства набралось предостаточно. Вот только пустить их в ход — означало прямо признаться в чтении чужой переписки, «головою выдающей» Вяземского, этого, по убеждению Николая I, «неуличенного декабриста». Оставалось ждать повода, который не раскрыл бы истинной причины расправы. Донос и стал поводом.

Через московского губернатора князя Д. В. Голицына Николай велел передать Вяземскому, что запрещает ему издавать журнал, потому что ему, государю, известно его, Вяземского, «развратное поведение, не достойное образованного человека». И если он, Вяземский, не образумится, правительству придется принять крутые меры для его исправления. На языке «высочки на троне» это была серьезная угроза, от которой дохнуло Сибирью.

Петр Андреевич прекрасно уразумел смысл происходящего и суть сказанного царем. Первая реакция: уехать из России. «Я для России уже пропал,— писал он находившемуся в Англии Александру Тургеневу.— ...Сделай одолжение, отыщи мне родственников моих в Ирландии: моя мать была из фамилии O'Reilly... Может быть, и придется мне искать гражданского гостеприимства в Ирландии... Я прошу следствия и суда,— продолжал он,— ...если мне не дадут полного и блестящего удовлетворения, то я покину Россию... Я уверен, что удовлетворения мне не дадут, потому что и теперь

уже слышно, что сбиваются на какое-то письмо мое, которое должно было мне повредить...»

Не припомнил ли он в эти минуты — из карамзинской «Истории...»: «Бегство не всегда измена; гражданские законы не могут быть сильнее естественного: *спасаться от мучителя*»?..

Когда бы не был от отягощен семьей — и потому заботой привести в порядок денежные дела, предотвратить дальнейшее расстройство некогда не внушавшего опасений за будущее, миллионного состояния, когда бы не дети, которых постановил он вырастить *русскими европейцами*, сам наблюдал за этим, а бывая в отъезде, жене подробные советы-указания слал — в письмах — на сей счет, да еще предстояло вскорости устраивать взрослую судьбу и дочерей, и сыновей, когда бы не все это, — всего вероятней, поддался бы Вяземский порыву — уехать. Но, трезво поразмыслив, понял, что момент уж больно не подходящ: он несвободен в решении — и вынужден остаться. Значит, надо успокоиться, вступить в диалог, ни на йоту не поступаясь достоинством, хладнокровно, остроумно, неотразимо убедительно. Ответить: сначала — доносчику, потом — и самому царю.

**За что служу я целью мести вашей,
Чем возбудить могу завистливую злость?
За трапезой мирской непразднуемый гость,
Не обойден ли я пирующею чашей?..**

Он не гневается, не клеймит противника, который в данном случае не стоит «благородного негодования». Сдерживается, сберегает энергию, уже решившись высказаться, «все выложить» — по поводу и адресу куда как более серьезным. А пока ограничивается интонацией чуть ли не элегической:

**И я за кровный дар перед толпой краснею,
И только в тишине, и скрытно от людей,
Я бремя милое лелею
И промысл за него молю у алтарей.
Счастливыц! Вы и я, мы служим двум фортунам.
Я к вашей не прошусь; моя мне зарекла
Противопоставлять волненью и перунам
Мир чистой совести и хладный мир чела.**

Теперь — черед за сочинением, подобного которому нет во всей русской литературе. Называлось оно

«Записка о князе Вяземском, им самим составленная». И предназначалось автором для «первого читателя» государства — императора Николая. (В письме к Жуковскому, сетуя, как трудно дается писание, Вяземский употребляет другое название — «Исповедь». Под таким названием, либо, как в Полном собрании сочинений, — «Моя исповедь», — этот текст и вошел в историю литературы.)

С виду это — попытка оправдаться. Но как он оправдывается!

Вот, например, объяснение опалы. Служба в Польше, участие в проекте российской конституции — то, чем Вяземский дорожил до конца своих дней, — поначалу вызвали одобрение Александра I. Потом правитель резко изменил политический курс, а подданный за ним не последовал. Человек — не флюгер. Не по приказу — по внутреннему убеждению он делал то, что делал. «Из рядов правительства очутился я, не тронувшись с места, в рядах противников его: дело в том, что правительство перешло на другую сторону».

Свое удаление из Варшавы он и в 1829 году назвал «несправедливостью частной и ошибкою политической», оставшись при мнении, что более подходит для сложной дипломатической миссии во взрывоопасной стране, чем те, у кого «надежнейшая порука... есть дубина Петра Великого, которая выглядывает из-за голов у наших европейских политиков: могущество может обойтись без дальнейшего мудрствования, но нравственное достоинство народа оскорбляется сим отречением от народной гордости».

Он пишет, что литературные занятия, которым всецело предался, оказавшись в немилости, навлекли на него недоброжелательство: не из числа ли «обиженных» доносчики прежние и нынешние?

Потом — восстание декабристов, после которого отношение правительства к нему, Вяземскому, еще ухудшилось. «Сей бедственный для России день и эпоха кровавая, за ним следующая, были страшным судом для дел, мнений и помышлений настоящих и давно прошедших. Мое имя не вписалось на его роковые скрижали... Мне казалось, что я в глазах правительства отъявленный крамольник, бывший в приятельской связи с некоторыми из обвиненных и оказавшийся совершенно чуждый соумышления с ними, выиграл реше-

тельно свою тяжбу. Скажу без унижения и без гордости: имя мое, характер мой и способности мои могли придать некоторую цену завербованию моему в ряды недовольных, и отсутствие мое между ими не могло быть делом случайным и от меня независимым. Это должно было переменить мнение обо мне. По странному противоречию, предубеждение против меня не ослабло и при очевидности истины. Мне известно следующее заключение обо мне: отсутствие имени его в этом деле доказывает только, что он был умнее и осторожнее других. («Это сказал Блудову император Николай», — приписал тут Вяземский, готовя «Исповедь» к публикации через сорок пять лет.) Благодарю за высокое мнение о уме моем; но не хочу променять на него мое сердце и мою честь».

Это — упрек в мстительной пристрастности, брошенный тому, кто многие приложил усилия, чтобы всем внушить свое беспристрастие к участникам «событий 14 декабря». Заодно, нимало не боясь разбередить читателя самыми неприятными для него воспоминаниями, Вяземский дает понять, что раскусил подлинную причину происходящего теперь: не обнаружив его «соумышления» с декабристами, но и не поверив, что не было оно, Николай не отказался от репрессий, а только отложил их — до другого случая...

Затем — как бы вскользь — упоминает Вяземский об участии в «Московском телеграфе». Дескать, нелады со «строгой, мнительной и щекотливой» цензурой — дело для литератора обыкновенное (о блудовском письме-предостережении — ни слова, как не было его). И тут же — резкий выпад: «Правительство, стесняя мои литературные занятия, лишает меня таким образом общего права пользоваться моею собственностью на законном основании».

Все, что Николай открыто мог бы поставить ему в вину, названо — и опровергнуто. Остаются письма: по дошедшим до Вяземского слухам именно они (по меньшей мере — одно из них) вызвали вспышку государева гнева. Еще в Варшаве он понял, что переписка его перлюстрируется. Позже уяснил себе, что делалось это там же, в канцелярии великого князя и догадался, что наиболее «интересные» письма (либо отрывки из них) доставлялись на прочтение самому Константину Павловичу.

«Нет сомнения,— иронизирует он,— что его высокочеству великому князю не было досужно читать все мои письма, а из канцелярии его... решительно не было ни одного довольно грамотного человека, который мог бы понимать своенравный слог писем...» Прозрачней не намекаешь: как говорится, каков поп, таков и приход...

Вяземский признает, что высказывал в письмах к друзьям мнения, не согласные с мнениями правительства. Но это могло бы считаться «виной», пока он служил, пока участвовал в действиях власти. «Со времени моей отставки, не принадлежащий уже к числу исполнителей мер правительства, я полагал, что могу свободнее и безответственнее судить о них. К тому же что есть частное письмо? Беседа с глазу на глаз, род тайной исповеди, сокровенное излияние того, что тяготит ум и сердце. Когда исповедь становится делом? Тогда, когда открывает умыслы, готовые к исполнению... Одно нарушение тайны писем, писанных не для гласности, составляет их вину и определяет меру их ответственности; но нарушение оных совершается против воли писавшего: как же может он за них отвечать?»

Оправдание оборачивается обвинением в безнравственности, вроде подслушивания под дверь, за которой — доверительная беседа друзей. Конечно, Вяземский «неточен»: писал-то он как раз «для гласности», предназначал свои письма для чтения в «арзамасском» кругу, да и не в нем одном. Но возразить ему — значит прямо признать, что читал не тебе адресованные письма!

Наконец, вот оно — то, что более всего не нравится царю! «Верю, что отблески мыслей должны казаться кометами в общем затмении русской переписки, в общем оцепенении умственной деятельности, но неужели равнодушие есть добродетель, неужели гробовое бесстрашие к России может быть для правительства надежным союзником?» Вопрос риторический. Вяземский отлично знает, что «выскачка на троне» предпочитает властвовать на армейский манер. Только традиционно: «Делай, как я!» — ему недостаточно, не говорится, но подразумевается: «Думай, как я!» А мышление, как мы увидим, клишировано, стереотипно — на тот же, армейский лад.

В конце «Исповеди» Вяземский заговорил о предположительной будущей службе своей. Если уж выходит так, что «или в службу, или вон из России», он хотел бы заняться тем, к чему склонность питает, что отвечает характеру его, образованию и опыту. То есть, хоть и не называлась служба, все сходилось на том, что наиболее рациональной и плодотворной была бы она для Вяземского по министерству народного просвещения...

«Исповедь» не имела успеха ни у царя, ни у великого князя Константина, которому тот распорядился ее переслать. Грозу удалось задержать, но не предотвратить: сгустившиеся тучи по-прежнему нависали над головой Вяземского, готовые в любой миг разразиться громами и молниями. Однако на дальнейшие уступки поэт идти не собирался.

И не миновать беды, когда бы не вмешался не на шутку встревожившийся за друга Жуковский. Воспитатель наследника, Александра Николаевича, вблизи наблюдающий настроения царской семьи, он понимал реальность опасности, но чувствовал и то, что Николай I предпочел бы обойтись без крайних мер, которые повредили бы ему в общественном мнении, только-только начавшем успокаиваться после расправы над декабристами. Наконец, знал Жуковский: чего царь теперь ждет от Вяземского. Это дал ему понять Бенкендорф. И хотя говорил он как бы «от себя», догадаться о подоплеке разговора не составляло труда.

«Он искренно и с доброжелательством готов поправить твое дело,— писал Жуковский в Москву.— Что тебе трудного написать к Бенкендорфу и приложить при письме письмо к государю или какую-нибудь такую бумагу, которую бы Бенкендорф мог представить государю? *Ведь Бенкендорф сам вызвался действовать за тебя, не ты просишь его, с твоей стороны нет никакой уступки* (курсив мой.— В. П.)»

Тогда Вяземский написал короткое письмо — словами, которые в ходу при дворе и не выражают ничего, кроме условного верноподданнического духа и показной страсти служить царю. Это был тактический ход, подсказанный самим Николаем I и потому иллюзий никому не внушавший. В «Исповеди» он высказал все, что хотел,— и царь был вынужден прочитать. Теперь, если вы настаиваете на соблюдении «правил игры»,—

пожалуйста! «Адресат» счел за лучшее «не заметить» этого подтекста. Он «простил» Вяземского.

«С истинным удовольствием я читал в письме Вашем изображение чувств по случаю дарования государем императором Вам прощения и всемилостивейшего соизволения на вступление Вам в службу...» На посланной жене копии этого письма Константина Павловича Вяземский сделал приписку: «Он все говорит и сидит на *прощени*. Впрочем, я ему прощаю...»

Не пройдет и пяти лет, как случится история чрезвычайно похожая на эту. Пушкин узнает о перлюстрации его переписки с женой и придет в ярость, выскажет, что думает по этому поводу, не сдерживаясь. С трудом наладившиеся было отношения с царем окажутся на грани разрыва. И снова Бенкендорф — снова через Жуковского — подскажет аналогичный способ уладить дело. И однажды сложившийся стереотип срывается снова — Николай «простит» Пушкина...

Однако не мог же царь не выказать недовольства «Исповедью» Вяземского, такое было бы не в его характере! Он передал Вяземскому, что доволен его письмом — вторым — и что определяет его на службу по министерству... финансов! Чиновником по особым поручениям при министре графе Е. Ф. Канкрине.

Примерно этого Вяземский и ожидал от Николая. Незадолго перед тем, читая «Всеобщую историю» Жана Мюллера, он выписал в записную книжку: «Раздавая места, они меньше учитывали интересы государства, нежели потребности просителя». И добавил от себя: «Сколько у нас мест для людей, и как мало людей на месте». Теперь он продолжает, развивает мысль о закономерности такого положения в России. Потому что правительство «неохотно определяет людей по их склонностям, сочувствиям и умственным способностям. Оно полагает, что и тут человек не должен быть у себя, а все как-то пересажен, приставлен, привит наперекор природе и образованию, например: никогда не назначили бы Жуковского попечителем учебного округа, ... а если Жуковскому хорошенько бы поинтриговать и просить с настойчивостью, то, вероятно, переименовали бы его в генерал-майоры и дали бы ему бригаду, особенно в военное время».

Ну, да что уж тут поделать — Бог не дал: не унаследовал нынешний государь от прапрадеда, Петра I,

подмеченного Карамзиным «важнейшего для самодержцев дарования: употреблять людей по их способностям».

Вяземский не отказался от назначения. И надо отдать должное его проницательности, подсказавшей, что угроза не миновала, что царь, в сущности, провоцирует на отказ, повода ищет, чтобы дать выход раздражению, свести, наконец, счеты.

Это не догадка, хотя и она была бы основательна, если речь идет о стереотипности мыслей и поступков. Есть подтверждение.

Несколько лет спустя нечто подобное произойдет с другим «опальным» — Чаадаевым: он тоже попросится «в службу», имея в виду министерство народного просвещения, тоже получит указание служить по министерству финансов, но, оскорбившись, откажется. А кончится тем, что еще тремя годами позже он будет «высочайше объявлен сумасшедшим»...

Николай I любил изображать дворянство единой семьей, а себя — внимательным, великодушным, но и в меру строгим отцом этого семейства. Потому и возмущился ничем иным, как «развратным поведением» князя Вяземского. Ирония ситуации заключалась в том, что, наставляя заблудшего члена «семьи» на путь истинный, император проявил и впрямь поистине «отеческую» заботу. Хотя, разумеется, знать не знал, что чуть не тридцать лет назад отец Петра Андреевича тщетно пытался приобщить сына к математике и прочим точным наукам. Так совпало. И не могло совпадение не напомнить Вяземскому об отце:

**Из детства он меня наукам точным прочил,
Не тайно ль голос в нем родительский пророчил,
Что случай — злой колдун, что случай — пестрый шут
Пегас мой запряжет в финансовый хомут
И что у Канкриня в мудреной колеснице
Не пятой буду я, а разве сотой спицей;
Но не могли меня скроить на свой аршин
Ни умный мой отец, ни умный граф Канкрин.**

В России, говорил Вяземский, у власти есть всего два принципа: «рукоположение», и «рукоприкладство». Сначала правительство хотело прибегнуть к «рукоприкладству», но перерешило — и «рукоположило» его в финансовые служащие. Не выиграл никто: Вяземский

получил нелюбимую службу; министр — чиновника, заведомо лишенного усердия в делах.

Впрочем, не совсем верно, что никто не выиграл. «Человек рожден стоять на ногах, именно потому и надобно поставить его на руки и сказать ему: иди! А не то, что значит власть, когда она подчиняется общему порядку и течению вещей. К тому же тут действует и опасение: человек на своем месте делается некоторою силою, самобытностью, а власть хочет иметь одни орудия, часто кривые, неудобные, но зато более зависимые от ее воли».

Вяземский не стал таким «орудием». Вступив в службу, он оставался «на своем месте» — в литературе — и «силою», и «самобытностью». К тому же его переезд в Петербург пришелся кстати. По времени это совпало с затеей Дельвига издавать «Литературную газету».

В конце 1829 года Баратынский обращался к Вяземскому: «Дельвиг мне пишет, что вы вместе с ним издаете «Литературную газету»: правда ли это? И как хорошо, ежели это правда! Что бы вы издавали, прошу почитать меня вашим сотрудником малосильным, но усердным».

«Литературная газета» начала выходить в 1830 году. И с первых же номеров в ней стали печататься статьи Вяземского.

«Дельвиг в самом деле ленив, однако же его «Газета» хороша, — писал Вяземскому Пушкин, — ты много оживил ее. Поддерживай ее, покамест нет у нас другой. Стыдно будет уступить поле Булгарину».

В статьях этого времени Вяземский развивал идеи, некогда высказанные им первоначально в «Московском телеграфе». Литература — не придаток власти, не подголосок ее догматов и указаний, но сама — власть над человеком и над обществом. «Если на литературе, рассматриваемой вами, не отражаются движения, страсти, мнения, самые предрассудки современного общества, если общество, предстоящее наблюдению вашему, чуждо владычеству и влиянию литературы, то можно заключить безошибочно, что в эпохе, изучаемой вами, нет литературы истинной, живой, которая не без причины названа выражением общества», — писал Вяземский на страницах «Литературной газеты».

Его выступления утверждали общественное назна-

чение литературы, из чего следовала необходимость расширить само это понятие: включить в него историю, философию, публицистику. Он показывал — и доказывал, — что отечественная словесность отстает от потребностей общества! И спорил с теми, кто считали, будто развитие российской культуры должно идти либо путем благодарного заимствования европейских достижений, либо, напротив, отгородиться от них стеною исключительности, оберегая чистоту национальных особенностей. И то, и другое, по его убеждению, могло привести только в тупик. Продуманное сочетание этих двух начал — вот выход из нынешнего кризиса.

«Литературная газета» впервые по-настоящему объединила писателей пушкинского круга. Существование «пушкинской плеяды» стало очевидным для всех. «Звезды» в этой «плеяде» оставались самостоятельными, одна ярче, другая тусклее, светили каждая в свою силу, никого не затмевая. Объединяла же их общность духовных ценностей и литературных взглядов и интересов. Роль Вяземского в этом объединении очень велика. Когда Баратынский в 1834 году назвал его: «Звезда разрозненной плеяды!..» — это было не наблюдение, а пророчество. «Плеяда» еще не стала «разрозненной». Лишь после гибели Пушкина стремительно начала она распадаться, пока не осталась последняя, одинокая «звезда»...

Это были годы, пожалуй, самой высокой активности и работоспособности Вяземского в литературе. Написаны десятки статей. Сделан и посвящен Пушкину перевод книги Бенжамена Констана «Адольф», в котором Вяземский попытался решить сложнейшие задачи развития языка русской прозы, дотоле не очень-то приспособленного для выражения внутренних состояний человека, тончайших движений души. Пушкин назвал перевод «Адольфа» «важным событием в истории нашей литературы». Ему вторил французский журнал «Ла Ревю Британик»: «Вяземский одновременно имел смелость создать и счастье распространить новые слова и формы языка». Исследователи отмечали, что книга эта оказала влияние и на «Евгения Онегина», и на «Каменного гостя», и на некоторые другие пушкинские сочинения. Она же — у истоков русского психологического романа, получившего всемирное признание.

Не оставалась в забвении и поэзия.

**Поэзия воспоминаний,
Дороже мне твои дары
И сущих благ и упований,
Угодников одной поры.**

**Лишь верно то, что изменило,
Чего уж нет и вновь не знать,
На что уж время наложило
Ненарушимую печать.**

.
**В воспоминаниях мы дома;
А в настоящем мы рабы
Незапной бури, перелома
Желаний, случаев, судьбы...**

«Родительский дом». Стихи, где, пожалуй, впервые зазвучала тема воспоминаний, нота, ставшая особенно чистой, щемящей в поздней лирике Вяземского...

В 1830 году он писал: «Если Сумароков не был гениален, то в свое время он был, без сомнения, очень умный и талантливый писатель, и в этом отношении, вероятно, выше всех своих современников и совместников. Этим объясняются и оправдываются успехи и уважение, коим он пользовался в современном ему обществе. Он первый внес себя и окружающую жизнь в литературу свою. Это уже есть признак чуткой и сметливой натуры; оно и величайшая и незабвенная его заслуга... Сумароков был всегда и везде налицо, ...действующим и запальчивым лицом в явлениях общественной жизни: памфлетами, эпиграммами, изустными колкостями. Он у всех был на виду; все встречались с ним; все его слышали и слушали, все знали его, многие любили его, многие его боялись...»

Если внести несколько мелких поправок, получится автопортрет Вяземского в том же самом 1830 году. Не зря изучал он римских поэтов: идеал современного писателя виделся ему как соединение в творчестве гражданственности Горация с сатирой Ювенала и лирикою Каталла...

Пребывание на государственной службе мало сблизило его с правительством. И добро еще, что ни цензура, ни бдительное Третье отделение не догадывались, что некоторые сочинения, появляющиеся — без подписей — время от времени усилиями Вяземского и Жу-

ковского в журнале, принадлежат перу каторжных и ссыльных писателей-декабристов, которым друзья помогают одолеть «гражданскую смерть» — жизнь в литературе. Однако и то, что было на виду, вызывало, мягко говоря, неудовольствие...

После одного из выступлений «Литературной газеты» Бенкендорф вызвал Дельвига и грубо пригрозил, что сошлет его, Пушкина и Вяземского в Сибирь. Правда, удостоенный особого доверия царя генерал все же переоценил свои права — не стоило ему в таком тоне говорить с бароном Дельвигом, стращать его тем, что осуществлять в России — привилегия самодержца, и никого другого. Дельвиг немедленно пожаловался государю — и шефу тайной полиции пришлось извиниться. Хотя сомнений не оставалось: мнение он не столько свое выражал, сколько — «августейшего махалы»...

Когда же случалось иной раз и друзьям Вяземского — вольно или невольно — очутиться на стороне правительства в несправедных его делах, доставалось и друзьям.

В ночь с 29 на 30 ноября 1830 года вспыхнуло польское восстание. Начатое группой патриотов-заговорщиков, оно было поддержано толпами варшавских ремесленников и рабочих, захвативших Арсенал. Царские войска уже через сутки вынуждены были покинуть Варшаву, а вскоре и отойти за границу Королевства Польского. Долгих десять лет сжималась пружина национально-освободительного движения — усилиями Александра I, а затем и Николая I все более ограничить, «урезать» конституцию 1815 года, гонениями на патриотические студенческие общества, преследованиями сторонников национальной независимости, к каким бы общественным слоям они ни принадлежали. Все это давало эффект обратный замышляемому: сплачивало, заставляло забыть, хоть на время, политические и социальные разногласия — ради общей цели. Пружина разжалась стремительно и неудержимо. Власть перешла к политикам из аристократии, входившим в прежнюю администрацию, занимавшим командные посты в войске.

Однако тут-то пора консолидации и миновала. Обозначилось противостояние правящей верхушки, склонной к соглашению на выгодных условиях с Николаем I,

и народными массами, обеспечившими первые успехи. Резко несхожие представления разных социальных групп о конечной цели восстания раздирали его изнутри.

Демократически настроенные деятели Патриотического общества двадцать пятого января 1831 года организовали в Варшаве демонстрацию под лозунгом «За нашу и вашу свободу!» — в память пяти казненных декабристов, подчеркнув таким образом свою близость к идеям тех, кто первыми выступили против самодержавия. В тот же день под нажимом масс сейм вынужден был провозгласить низложение Николая I с польского престола.

Кстати сказать, среди захваченных восставшими бумаг канцелярии Новосильцева оказались два экземпляра — русский и французский — проекта Российской конституции, похороненных там десять лет назад. И этот проект был издан революционным правительством: восстание таким образом выглядело логическим следствием давнего отказа от обещанных реформ — как и выступление декабристов.

Консерваторы сохранили, однако, решающее влияние на ход событий, помешали им сделаться необратимыми: шляхетский сейм отверг проекты крестьянской реформы, тем самым оттолкнул от восстания крестьян...

В феврале царская армия вторглась в Королевство Польское. Больше семи месяцев длились военные действия. В начале сентября Варшава оказалась в осаде. Консервативное повстанческое руководство не рискнуло вооружить народ. И после двухдневных боев подписало капитуляцию. Восстание было подавлено: конституция отменена, польская армия ликвидирована, университеты закрыты. Начались репрессии.

Польские события вызвали бурную реакцию на Западе. Демократическая общественность выступила в поддержку восставших. Правительства же, страшась, как бы и в их страны не проникла «революционная зараза», не откликнулись на отчаянные просьбы о помощи, с которыми Национальное правительство обращалось к Австрии, Франции и Пруссии. Судьба восставших их не особенно волновала. Разве что — как повод разжечь антирусские настроения, ослабить влияние России на Европу, обретенное благодаря решающей роли в победе над Наполеоном.

В России отношение к восстанию не было однозначным. Его горячо приветствовали многие декабристы, Герцен и Огарев, часть студенческой молодежи. Но немало нашлось и тех, кто столь же решительно высказались против; среди них — ближайшие друзья Вяземского.

Жуковский и Пушкин откликнулись на происходящее в Польше стихами. Первый написал «Песнь на взятие Варшавы», второй — сперва «Клеветникам России», затем, узнав, что польская столица пала двадцать шестого августа, в день Бородина, — «Бородинскую годовщину». Похоже, символика чисел подтолкнула к ассоциации: в действиях западных держав он верно почувствовал молчаливое одобрение обесценивающей славянской междоусобицы, увидел призрак будущего европейского союза, грозящего походом на Россию, чем-то вроде 1812 года (лишь четверть века спустя «призрак материализуется» — Крымской войной)... Но само восстание представилось ему не борьбой против самодержавия и деспотизма, не взрывом долго и насильственно подавляемого национального самосознания поляков, а только схваткой между государствами за украинские и белорусские земли. Едва ли возможен был лучший предлог, чтобы высказать свое отношение к «славянскому вопросу» вообще, к давнему «спору славян между собою».

Здесь уместно заметить, что впоследствии, кроме этих «польских» стихотворений, разве что «Стансы» стали причиной столь же упорных и многочисленных попыток «оправдать» Пушкина. Дескать, и не о том во все он писал — современники поняли его неверно, чересчур буквально...

Быть может, не лишённые изобретательности позднейшие — вплоть до наших дней — толкования стихов в конце концов и зазвучали бы убедительно, однако поэт как будто нарочно позаботился о том, чтобы не допустить такой двусмысленности. Потому что задолго до стихов, еще в первый день июня, то же самое, только резче и суше, сказал «почтовой прозой» — в письме к Вяземскому. И про то, что «их (поляков.— В. П.) надобно задушить». И про «мучительную медлительность» русской армии...

Понятно, что в тот миг истории публикация подобных стихов была на руку самодержавию. Не случайно

они поощрительно были приняты Николаем I и Бенкендорфом и вскоре даже вышли отдельным изданием за счет казны — знак официального признания.

Вяземский, знавший Польшу не просто лучше, но иначе, «изнутри», понимал причины заранее обреченного на неуспех — из-за очевидного неравенства сил — выступления поляков. «Что было причиною всей передряги? Одна, что мы не умели заставить поляков полюбить нашу власть... Польшу нельзя расстрелять, нельзя повесить ее, следовательно, силою ничего прочного, ничего окончательного сделать нельзя. При первой войне, при первом движении в России, Польша восстанет на нас, или должно будет иметь русского часового при каждом поляке. Есть одно средство: бросить царство Польское... Пускай Польша выбирает себе род жизни. До победы нам нельзя было так поступить, но по победе очень можно...»

Иначе говоря, именно сейчас политическое, мирное решение проблемы было бы свидетельством силы России, а не признанием в слабости. Великодушные победителя скрадывает в глазах современников жестокость средств, которыми победа была достигнута. И придает черты благородства и мудрости его образу в портретной галерее истории.

«Раздел Польши есть первородный грех, — утверждал Вяземский. — Нельзя избежать роковых последствий преступления». Ни особенной новизны, ни пугающей революционности в этой точке зрения не было, разве что выражена она с шокирующей резкостью. Но даже в такой форме она едва ли смутила — тем паче возмутила бы — Александра I, много размышлявшего над таким ответом на «польский вопрос», какой удовлетворил бы обе стороны. Преемник же оказался не способен трезво оценить положение: силе мудрость ни к чему. Стало быть, он достоин осуждения, но никак не восхвалений и всего, что может истолковываться как хвала. Тем больнее было Вяземскому читать сочиненное людьми, которых он любил...

Поэт, по мнению Вяземского, волен писать все, что пожелает. Однако, прежде чем напечатать свое сочинение, отдать его публике (коль скоро заводит он речь о вопросах политических), обязан задуматься о том, как «божественный глагол» может быть воспринят, а то и использован в целях прагматических теми, кому

вовсе не до поэзии. На письмо пушкинское он возражать не стал. Иное дело — именно *дело* — стихи: *поступок* поэта.

Вяземский набрасывает письмо к Пушкину, где сетует... на Жуковского: «... Охота ему было писать *шинельные* стихи (стихотворцы, которые в Москве ходят в шинеле по домам с поздравительными одами) и не совестно ли «Певцу во стане русских воинов» и «Певцу на Кремле» сравнивать нынешнее событие с Бородином? Там мы бились один против 10, а здесь, напротив, 10 против одного...» Удар резок — и метит в Пушкина в той же мере, что и в Жуковского. Настроение — мрачнее некуда. Письмо осталось неотправленным.

«Стихи Жуковского навели на меня тоску... Мало ли что политика может и должна делать? Ей нужны палачи, но разве вы будете их петь... Как ни говори, а стихи Жуковского — *une question de vie et de mort**, между нами... я предпочел бы им смерть... Будь у нас гласность печати, никогда Жуковский не подумал бы, Пушкин не осмелился бы воспеть победы Паскевича», — заносил он в записную книжку днем позже.

Неделю спустя, двадцать второго сентября, он продолжил эту запись разбором пушкинских стихов: «Пушкин в стихах своих: *Клеветникам России* кажет им шиш из кармана. Он знает, что они не прочтут стихов его, следовательно, и отвечать не будут на вопросы, на которые отвечать было бы очень легко, даже самому Пушкину. За что *возрождающейся Европе* любить нас? Вносим ли мы хоть грош в казну общего просвещения?.. *Народные витии*, если удалось бы им как-нибудь проведать о стихах Пушкина и о возвышенности таланта его, могли бы отвечать ему коротко и ясно: мы ненавидим или, лучше сказать, презираем вас, потому что в России поэту, как вы, не стыдно писать и печатать стихи, подобные вашим...»

Форма, на взгляд Вяземского, под статью содержания: в стихах этих Пушкин «не стоит сам себя» — изменяет ему здесь даже присущая с юности точность поэтической мысли. «Мне так уже надоели эти географические фанфаронады наши: *От Перми до Тавриды* и проч. Что же тут хорошего, чем радоваться и чем хвастаться, что мы лежим в растяжку, что у нас от *мысли до мысли* пять тысяч верст...»

* Вопрос жизни и смерти (фр.).

Историческая оценка, данная Вяземским происшедшему, точна и однозначна: «Наши действия в Польше откинут нас на 50 лет от просвещения Европейского. Что мы усмирили Польшу, что нет — всё равно: тяжба наша проиграна...» Вдохновленная неправым делом словесная воинственность ему претит. Сам того не ведая, он предрекает — за четверть века! — военную катастрофу 1855 года: «Неужели Пушкин не убедился, что нам с Европою воевать была бы смерть. Зачем же говорить нелепости и еще против совести и более всего без пользы? Хорошо иногда в журнале политическом *взбивать слова*, чтобы заметать глаза *пеною*, но у нас, где нет политики, из чего пустословить, кривословить?..»

Второе стихотворение — не лучше первого. «В *Бородинской годовщине*» опять те же мысли или то же безмыслие... И что опять за святотатство сочетать *Бородино с Варшавою?*..»

Вяземский вовсе не категоричен, под рылеевским противопоставлением «поэта» и «гражданина» он бы, верно, не подписался. Поэт может и не быть «наравне с оратором, стражем народных выгод и блага общественного». Но являть собою противоположность этому определению не должен.

Вся эта история — пример твердости, даже жесткости убеждений Вяземского, его нравственного максимализма: ведь речь идет не просто о поэтах, пусть и замечательных, но о близких, дорогих ему людях. Как видим, отношения с ними бывали отнюдь не безоблачными. Хотя, конечно, так резко, как для себя — в записной книжке, — ничего подобного Пушкину высказать было нельзя: обидчив, вспыльчив, а где обида — нет понимания. Да и не было надобности — человеку, столь необыкновенно умному, как Пушкин, довольно отзвука, намека, чтобы выловить, схватить суть. Для Вяземского невозможно смолчать — об ущербе, который, не предвидя последствий, поэт нанес собственной репутации, чего никак не поправить, если не помочь ему взглянуть на происшедшее трезво и словно бы со стороны. Глазами друга. В их переписке этой темы нет. Всегда предпочитавший добрую ссору худому миру Вяземский выразил свое мнение — обдуманно, осторожно, но вполне определенно, — в письме к другому адресату, общему

знакомому, зная наверняка, что именно неискаженный отзыв и дойдет до Пушкина. И не ошибся...

Но так ли уж безупречен сам Петр Андреевич? Он-то, как будто, тоже принял участие в правительственной кампании по оправданию, обелению содеянного Россией. Известно, что как раз Вяземский показал Бенкендорфу статью во французском журнале, напечатанную издателем в пику своим политическим противникам и восхвалявшую кроткое поведение подавивших восстание русских войск. Дескать, никого не обидели, не схватили, в Сибирь не сослали... Император и его любимец, далеко не равнодушные к общественному мнению, когда оно лестно, сразу сообразили, что за находка попала в руки. Вяземский знал, что все в статье — ложь, от первого до последнего слова, цитированные его записи — тому свидетельством. Но когда ему предложили перевести ее для публикации по-русски, согласился. И что, казалось бы, всего удивительнее — вовсе не счел, что поступает безнравственно, наперекор убеждениям.

В чем же дело? В тактике, которую выработал для себя и к которой прибегал без колебаний, если имел в виду конкретную цель и понимал, что добиться этой цели, действуя напрямик, нереально. Он полагал, что такая наглая ложь никого не обманет, тем более, что сам читал и других учил читать напечатанное «междустрочно», а публикация статьи, глядишь, поумерит репрессии Николая I против поляков. Не имея возможности вступить за них открыто, он прибегнул к обходному маневру. И друзья, в числе которых были Александр Тургенев и Пушкин, поняли — и одобрили его поступок.

Правда, все они ошиблись: царь продолжал ссылать мятежников и «почти мятежников» — «в Сибирские губернии на работы в горные заводы», то есть в соседство к каторжанам-декабристам...

Эта неудача лишний раз показала Вяземскому, что окольные пути и тактические хитрости — не ко времени: царь не хочет, а может быть, и не способен понять такого рода подсазку. Значит, надо искать возможности для откровенного высказывания, прямого столкновения. И не в политике — в литературе. Случай вскоре представился.

В 1831 году была запрещена «Литературная газета».

Однако уже несколько месяцев спустя Вяземский принял участие, как он выразился, «в крещении» журнала «Европеец». Разрешение издавать его получил Иван Васильевич Киреевский, сын давней и доброй знакомой Вяземского Авдотьи Петровны Киреевской (Елагиной), молодой человек, за чьими первыми литературными шагами Петр Андреевич наблюдал внимательно и сочувственно. Естественно, он поддержал Киреевского в благом начинании.

Журнал удался — с первого номера привлек взоры публики и... властей. Второй номер стал последним: «Европеец» был запрещен императором Николаем Павловичем лично. Киреевскому грозили серьезные неприятности. За него вступились Жуковский, Вяземский, Пушкин и еще несколько человек. Но Вяземский считал, что этого мало. Что надо воспользоваться поводом — и вступить за всю русскую литературу, которая — и без того притесняемая — еще раз ущемлена в ничтожных своих правах. Сочиня обстоятельное письмо к Бенкендорфу, Вяземский выделил четыре пункта, по которым оспорил и разумность и законность решения государя.

Во-первых, говорил он, существует цензура. Публику и литераторов не устают убеждать, что цензура выражает мнение законной власти. Если же запрет делается помимо нее, стало быть, он незаконный.

Во-вторых, это попросту глупо. «Всякое запрещение газеты, журнала, который читался бы лишь определенным кругом читателей, становится делом, занимающим всех, предметом общих разговоров». То есть эффект достигается прямо противоположный ожидаемому.

В-третьих, «цензура очень строга», а «цензоры чрезвычайно трусливы и мелочны». Так что «всякая мера, принятая правительством и усугубляющая строгость цензуры, носит характер пристрастия».

Наконец, никто, кроме Николая, не углядел в статьях «Европейца» ничего крамольного, что готовы подтвердить известные писатели. Иначе говоря, правитель вычитал то, чего не написано. И пошел на поводу литературных врагов Киреевского, «которых он приобрел, опубликовав несколько лет назад весьма резкие критические статьи против некоторых наших журналистов». Намек прозрачен — как же можно не напомнить царю,

что года три назад тот подобным несправедливым образом поступил и с другим литератором — с Вяземским!

Письмо показало Николаю I, что он мог — самое большее — вынудить поэта «вступить в службу» или стать поосмотрительнее в письмах к друзьям. Но примирения поэта с правительством не состоялось.



Глава VIII. «Я пережил и многое, и многих...»

Как много сверстников не стало,
Как много младших уж сошло,
Которых утро рассветало,
Когда нас знойным полднем жгло.

*Вяземский. «Смерть жатву жизни
косит, косит...»*

Незначительное имя мое богато обставлено именами, дорогими вашему сердцу и славе народной... Созвездие этих блестящих имен проливает некоторый блеск и на меня.

Из речи Вяземского на обеде, данном в его честь в Москве в 1850 году.

Перебравшись из Москвы в Петербург, поступив на службу, к которой не испытывал ни малейшего расположения, Вяземский надеялся, что гроза миновала его, худшее позади. И ошибся. Ненастные для него времена только еще начинались. Тридцатые и сороковые годы стали самыми тяжкими и трагическими в жизни Вяземского. Удар следовал за ударом — и с каждым жизнь его становилась все более замкнутой, осаждали болезни, мысли об одинокой старости.

Отъезд в Персию и гибель Грибоедова, внезапная и нелепая смерть Дельвига разорвали круг друзей и единомышленников, который теперь, что ни год, все стре-

мительнее узился и редел. Уцелевших к исходу этого двадцатилетия утрат нетрудно счесть по пальцам: Жуковский — в Германии, Гоголь — в Италии, Плетнев, Тютчев, вот, пожалуй, и все...

«Трудно теперь найти себе современников: кто слишком стар, кто слишком молод, ни с кем не встречаешься единомыслием и единочувствием», — сетовал он Жуковскому в 1845 году, в год смерти Александра Тургенева.

Смерть жатву жизни косит, косит
И каждый день, и каждый час
Добычи новой жадно просит
И грозно разрывает нас.

А мы остались, уцелели
Из этой сечи роковой,
Но смертью ближних оскудели
И уж не рвемся в жизнь, как в бой.

Сыны другого поколения,
Мы в новом — прошлогодний цвет:
Живых нам чужды впечатленья,
А нашим в них сочувствий нет...

«Мы не можем без живой симпатии, — писал Белинский, — читать этих стихов, в которых отжившее свой век поколение, в лице одного из замечательнейших своих представителей, с такою грустной искренностью признает себя побежденным и, отказываясь делить интересы нового поколения, уже не обвиняет его за то, что оно живет жизнью тоже своего, а не чужого времени».

Отзыв критика звучит как бы надгробным словом, в котором не жалко — и даже принято, согласно с приличиями, — давать оценки в степенях превосходных. Однако ритуал преждевремен. И трактовать стихи буквально — как обыденную прозу — рискованно. Можно промахнуться. Так и здесь: всё, вроде бы, верно, кроме... главного — кроме признания Вяземским поражения, тем более — от имени всего своего поколения. Оно не проиграло, оно просто вышло из игры, завершилось, оставив живым напоминанием о себе Вяземского. Его глазами смотрит оно, его мнениями сопоставляет с собою тех, кто пришли на смену, его пером соглашается, сомневается, спорит.

Это поколение подарило России Пушкина. «Только

однажды дается стране воспроизвести человека, который в такой высокой степени соединяет в себе столь различные и, по-видимому, друг друга исключают качества», — к этому Вяземский пришел еще при жизни Пушкина.

Сохранилось семьдесят четыре письма Пушкина к Вяземскому — ни к одному из прочих друзей своих он столько не писал. И сорок четыре письма Вяземского к Пушкину — причем нетрудно вычислить, сколько до нас не дошло. В конце 1825 года Пушкин, опасаясь ареста, избавлялся от «опасных бумаг», среди которых, несомненно, были и эти: зная немало повредившие Вяземскому письма первой половины двадцатых годов к другим адресатам, нет причин думать, что к Пушкину он писал менее откровенно и резко (не исключено и то, что Пушкин считал Вяземского причастным к заговору). На сорок одно пушкинское письмо этого времени приходится лишь девять — Вяземского, а ведь речь идет о самом эпистолярно-активном периоде его жизни. В следующие одиннадцать лет переписка, так сказать, вполне пропорциональна. Так что в огонь отправилось три десятка посланий.

«Начну с того, что отыскиваю в себе собственное, коренное, родовое, — рассказывал Вяземский на склоне лет, — ничего не перенимал я, никому раболепно не следовал... Он (Пушкин. — В. П.) — где-то сказал, что я один из тех, которые охотно вызывают его на спор. Следовательно, есть во мне чем отспориваться. Пушкин не наткнулся бы на пустое...»

Многие, кто интересовались судьбою и сочинениями Вяземского, не скрывали удивления, чуть ли не обижались на него за то, что он не написал целостных воспоминаний о Пушкине, которого пережил на четыре десятка лет, так что имел довольно времени и для раздумий, и для того, чтобы занести их на бумагу. Он не сделал этого, хотя до нас дошли мемуары людей, бывших несравненно дальше от Пушкина, чем Вяземский.

Но в том-то как раз все и дело — в близости. Вяземский — вовсе не исключение. Ни один из ближайших к Пушкину людей таких воспоминаний не оставил, кроме, разве, Пущина, но то — случай особенный, да и отрезок жизни описан короткий, замкнутый, без почти полутора последних десятилетий.

Разумеется, случайности тут места не было. Все

сделано — вернее, не сделано — осознанно. Друзья Пушкина не хуже нас понимали, сколь ценно всякое достоверное свидетельство о нем. И молчали, словно сговорились.

В октябре 1852 года И. С. Тургенев писал к П. В. Анненкову, завершавшему работу над «Материалами для биографии А. С. Пушкина» и обескураженному нехваткою несомненных свидетельств о важных, на его взгляд, эпизодах из последних лет жизни поэта: «Я понимаю, как вам должно быть тяжело дописывать биографию Пушкина, но что же делать! Истинная биография исторического человека у нас еще не скоро возможна, не говоря уже с точки зрения цензуры, но даже с точки зрения так называемых приличий».

Тут явствен отзвук пушкинского, очевидно известного друзьям его, отношения к исповедам, запискам, мемуарам, выказанного в конце 1825 года в письме к Вяземскому с предельною определенностью. Вполне разделяя мнение многих современников, что друзья Руссо обязаны были воспрепятствовать публикации его «Исповеди», он пояснял: «Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы — иначе».

Это стало руководством для всех его друзей, основанием их «сговора», их общего мнения, которое недвусмысленно изложил, ознакомившись в 1855 году с трудом Анненкова, С. А. Соболевский в письме к М. Н. Лонгинову: «Публика, как всякое большинство, глупа и не помнит, что и в солнце есть пятна; поэтому не напишет об покойном поэте никто из друзей его, зная, что если выскажет правду, то будут его укорять в недружелюбии из-за всякого верного и совестливого словечка; с другой стороны не может он часто, где следует, оправдывать с у б ъ е к т а своей биографии, ибо это оправдание должно основываться на обвинении или осмеянии других, еще здравствующих лиц. И так, чтобы не пересказать лишнего или не досказать нужного — каждый друг Пушкина должен молчать. По этой-то причине пусть пишут об нем н е з н а в ш и е его, и пишут так, как написал (А < нненков >; то есть

мало касаясь его личности и говоря об ней только то, что поясняет его литературную деятельность».

Вяземский последовал пушкинскому совету: «Оставь любопытство толпе и будь заодно с Гением». Он мог бы порассказать многое, ведомое ему одному. Но не стал, считая, что будет неверно прочитан и понят. К тому же смерть Пушкина не принесла Вяземскому ощущения разрыва, отдаления. Пушкин оставался для него ближе и живее многих, с кем сводила впоследствии долгая жизнь. Внутренний диалог этот длился и длился, то и дело оставляя следы и на бумаге, выскальзывая как бы невзначай из-под пера его беглыми высказываниями, репликами по тому или иному поводу — в заметках, письмах, статьях. Будучи собраны воедино, эти фрагменты — замена воспоминаниям. Не давая композиционно стройной и завершенной картины, они содержат множество скрытых указаний исследователям: что и в каких направлениях искать, чтобы картина эта могла, наконец, быть написана...

С первых же лет знакомства Вяземский был озабочен тем, как складывается судьба Пушкина. Тревога сквозит в его письмах в Петербург к Александру Тургеневу, хлопотавшему о смягчении наказания юному поэту — чтобы в первую ссылку он хотя бы не на север, как решил было Александр I, а на юг отправился, в Кишинев. Потом — заботы о переводе Пушкина, не поладившего с «хозяином» Бессарабии генералом Инзовым, из Кишинева в Одессу, где поэт встретился и подружился с женою Вяземского — княгиней Верой Федоровной. Наконец, письма в Михайловское. Вяземский убеждал друга отрешиться от всего постороннего его предназначению — поэзии.

«...Поверь, что о тебе помнят по твоим поэмам, но об опале твоей в год и двух раз не поговорят... Ты служишь чему-то, чего у нас нет».

Он отнюдь не ограничивался увещеваниями, но взял на себя — или под опеку свою — издания пушкинских сочинений. И вообще делал все для того, чтобы публика как можно лучше помнила и знала михайловского изгнанника по его поэмам.

«Слышно, что юный атлет наш,— сообщал он читателям «Московского телеграфа» в конце 1825 года,— испытывает силы на новом поприще и пишет трагедию «Борис Годунов». По-моему, должно надеяться, что

он подарит нас образцовым опытом первой трагедии народной... Как жаль, что Озеров, при поэтическом своем даровании, не дерзнул переродить трагедию нашу! Тем более опыт Пушкина любопытен и важен»... Вдуматься — происходит нечто совершенно необыкновенное, в русской критике небывалое. Трагедия еще не дописана, а главное — сам-то критик знает о ней — и ее — лишь понаслышке, из писем автора. Но решительно подготавливает публику к успеху у нее этого сочинения, более того — к триумфу. Заражает ее своею убежденностью в том, что вот-вот произойдет, состоится художественное открытие. А ведь никаких доводов в пользу этого у него нет. Кроме веры в пушкинский гений.

Трагедия сочиняется белыми стихами. Лет пять спустя именно Вяземскому придет Пушкин «драгоценность» — списки «сумароковщины», копии архивных бумаг, среди которых окажется и письмо Сумарокова к князю Потемкину, откуда явствует, что светлейший князь «приказывать изволили» поэту сочинить «новую трагедию без рифм»; то есть, заметит по этому поводу Вяземский, «требовал уже от драмы нашей новых покушений, не довольствуясь исключительным подражанием узким формам трагедии французской», и поэтому, как ни парадоксально то звучит, «должен занять почетное место в романтической нашей школе». Той самой, к которой принадлежит и Пушкин, как бы восполнивший своим опытом предначертанное предшественнику, но не осуществленное им.

Вяземскому — первому! — спешит сообщить Пушкин, что трагедия завершена. А в марте 1826 года он приехал в Москву и привез «Годунова». Отзыв Вяземского тем более любопытен, что на сей раз написан не для публики, но адресован близкому — общему с Пушкиным — другу, Александру Тургеневу.

«Пушкин читал мне своего Бориса Годунова. Зрелое и возвышенное произведение. Трагедия это или более историческая картина, об этом пока не скажу ни слова: надобно вслушаться в нее, вникнуть, чтобы дать удовлетворительное определение; но дело в том, что историческая верность нравов, языка, поэтических красок сохранена в совершенстве, что ум Пушкина развернулся не на шутку, что мысли его созрели, душа проясни-

лась, что он в этом творении вознесся до высоты, которой он еще не достигал...»

Похоже на то, что трагедия превзошла его самые смелые ожидания. Во всяком случае, теперь, зная ее, он словно робеет, сдерживается, не торопится с оценкою целого, отделяваясь пока несколькими общими словами, отмечает лишь то, что на первый же взгляд сопоставимо с прежними пушкинскими вещами. Прочее не поддается меркам и определениям привычным, испытанным, не открывается единым разом до конца даже ему, искушенному, искусному читателю и слушателю — «надобно вслушаться..., вникнуть». Отсюда — странность: в обращении к другу и единомышленнику, с полуслова способному понять, он осторожнее и осмотрительней, чем в давешнем разговоре с разномыслящими читателями. Хотя как будто должно бы — наоборот.

В этом же письме, которое сейчас перед нами, есть фраза: «Следующие песни Онегина тоже далеко ушли от первой...» По мере появления из печати очередных глав стихотворного романа росло и число проницательных замечаний Вяземского о мастерстве Пушкина.

В третьей главе он сразу выделил письмо Татьяны к Онегину, строфы, где поэту удалось проникнуть в глубины женской психологии — и сочинить послание, которое могла написать только женщина. Русская поэзия не знает другого такого случая. Хотя попытки делались много раз.

«Письмо и разговор Татьяны не отзываются авторством; в них слышится женский голос, гибкий и свежий, — и Вяземский приподнимает завесу, обычно отделяющую писателя от читателя, нимало не опасаясь, что выказываемая таким образом осведомленность — свидетельство дружбы с автором — даст повод заподозрить критика в необъективности. — Автор сказывал, что он долго не мог решиться, как заставить писать Татьяну без нарушения женской личности и правдоподобия в слог: от страха сбиться на академическую оду, думал он написать письмо прозой, думал даже написать его по-французски, но, наконец, счастливое вдохновение пришло кстати и сердце женское запросто и свободно заговорило русским языком».

В начале 1827 года Вяземский писал к Александру Тургеневу: «Пушкин кончил шестую песнь Онегина.

Есть прелести образцовые. Уездный деревенский бал уморительно хорош. Поединок двух друзей, Онегина и Ленского, и смерть последнего, описание превосходное. Поэтическая живость и прозаическая верность соединяются в одном ярком свете, в поразительной истине».

И снова нельзя не подивиться безошибочности критического взгляда Вяземского, его умению найти, быть может, единственные слова, назвать то, что уже существует, но еще не имеет имени. Он — «воитель романтизма» — дал первое — и замечательное — определение пушкинского реализма. Стих Пушкина, сохраняя всю свою звучность и выразительность, заговорил о вещах, считавшихся дотоле уделом прозы. Казавшаяся навсегда незыблемою стена между поэзией и прозой рассыпалась. Достоинства двух далеких друг от друга литературных форм, вернее — словесных искусств, соприглись, а затем и соединились в «романе в стихах».

«Ты не можешь себе представить, как приятно читать о себе суждение умного человека», — весело признавался Вяземскому Пушкин, благодаря за статью о «Кавказском пленнике». Таким оставалось его отношение к суждениям Вяземского о поэзии, вообще о литературе, на протяжении полутора десятков лет. Он мог не соглашаться, спорить с ним, например, о творчестве Озерова, иной раз — и резче, но неизменно прислушивался, внимательно читал, метко схватывая самую суть.

Конечно, Вяземский, как и все поэты, окружавшие Пушкина, да просто жившие в одно с ним время, испытал влияние его поэзии. Коснулось оно по большей части формы: стих стал естественнее и пластичней, постепенно ушли из него и торжественно-приподнятая стилистика оды, процветавшей в русской поэзии XVIII века, и риторический пафос сатиры, унаследованный от Кантемира, который, в свою очередь, имел перед глазами античные образцы, впрочем, уже обработанные европейскими поэтами Просвещения, и басенные аллегоричность и условность, воспринятые в юности от французских баснописцев и их русского переводчика И. И. Дмитриева.

Потому Вяземский был не совсем прав, когда говорил, что ни у кого и ничего не перенимал. Так в литературе не бывает. Поэт живет не в вакууме, он дышит воздухом, в котором растворен поэтический дух его

времени, его слух поневоле включен в диалог поэтов-современников. Не говоря уже о том, что есть школа, которую обязательно должен окончить всякий, вступающий на литературный путь. Эта школа — творчество предшественников, их опыт и мастерство. Новый поэт начинает не там, где завершились они, а раньше — осваивает чужое, чтобы нащупать, выделить, утвердить свое.

Когда однажды Вяземский написал, что «в Пушкине нет ничего Жуковского», что поэзия его — наследница и без того достаточно состоятельная, чтобы быть не зависимой от завещателя, то получил в ответ возражение самого сведущего в этом вопросе человека — Пушкина: «...Ты слишком бережешь меня в отношении к Жуковскому. Я не следствие, а точно ученик его, и только тем и беру, что не смею сунуться на дорогу его, а бреду проселочной. Никто не имел и не будет иметь слога, равного в могуществе и разнообразии слогу его...»

В старости, просматривая статью «О жизни и сочинениях В. А. Озерова» перед тем, как включить ее в свое собрание сочинений, Вяземский приписал к ней, что при жизни Карамзина, не опасаясь обидеть его, «за его счет» возвысил Озерова. «Ум и перо мои обмолвились», — признался он. Вероятно, по поводу сорвавшегося в критическом запале «возвышения» Пушкина «за счет» Жуковского он мог бы сказать то же самое. Но в этом случае поправку уже дал сам Пушкин — не из смиренной скромности, даже не из благодарности к учителю, который во всеуслышание — после «Руслана и Людмилы» — признал свое поражение, но ради истины.

Та хрестоматийно известная надпись Жуковского на подаренном Пушкину портрете за сто семьдесят минувших лет уже многих ввела в более или менее глубокое заблуждение. Не избегнул его и Вяземский. И вряд ли может быть иначе, если не связывать ее мысленно с тем, что было до и после, если считать привычно, будто все хорошие писатели любили и ценили друг друга, над чем смеялся Юрий Тынянов, показав, что так бывало, мягко говоря, не всегда...

Вспомним, что еще в 1815 году, едва познакомившись с Пушкиным, Жуковский пришел к мысли, что всем лучшим литераторам времени «надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиган-

ту, который всех нас перерастет». И его предложение осуществилось: в заботы о Пушкине, каждый по-своему, включились Карамзин и Дмитриев, Батюшков и Чаадаев, Александр Тургенев и Денис Давыдов, Жуковский и Вяземский. Второго подобного примера не найти в истории русской, да, насколько известно, и не только русской литературы. Под бескорыстной и ненавязчивой этой опекой Пушкин рос «не по дням, а по часам».

Прошло четыре года. И вот в дружеском кругу Пушкин читает «Руслана и Людмилу». Поэму, связанную с творчеством Жуковского множеством нитей. То совершенно явных — как заимствование вынесенного в название имени героини. То менее очевидных, но все же без труда уловимых просвещенным читателем, вроде разработки «в духе Жуковского» сюжета и отдельных эпизодов поэмы. То, наконец, лишь искусственному, профессиональному взгляду открывающихся — в интонациях и приемах, пародирующих манеру и поэтику учителя. И все это — осознанно, непринужденно, мастерски. Мог ли Жуковский желать более красноречивого и убедительного свидетельства, что предсказание его сбылось в полной мере! И сама собою явилась в надписи афористическая формула для выражения этой радости.

Фраза запомнилась, стала передаваться из уст в уста, в нее поверили все. Кроме Пушкина. Критически настроенный по отношению к рациональному европейскому XVIII веку с его почти мистической верою в прогресс, он уже уяснил для себя, что прогресса в искусстве не бывает, что *превзойти* великих предшественников нельзя, да и нет у художника такой задачи.

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль,—

написал он о Жуковском в 1818 году (кстати, тоже — надпись «к портрету»), как будто заглянув на без малого полвека вперед и вступая в спор с провозглашателями прикладного, общественного назначения поэзии, с их утверждениями, что «пленительной сладости» стихов слишком мало не только для признания у потомков, но и для признательности современников.

Несколько лет спустя он сказал о том же — иначе: «Никто не имел и не будет иметь (курсив мой.— В. П.) слога, равного... слогу его». И добавил: «К тому же

смешно говорить об нем, как об отцветшем, тогда как слог его еще мужает...» Если угодно, предсказание — за предсказание. И столь же точное, воплотившееся в позднем Жуковском, в «Одиссее», например.

Великодушный учитель мог открыто и гласно признать свое поражение. Гениальный ученик счел своим долгом заявить, что учитель остался непобежденным...

Вообще-то заблуждения, подобные недооценке влияния Жуковского на Пушкина, легко объяснимы. Причина тому — привычка расставлять художников «по росту», выстраивать историю литературы в виде своего рода пирамиды, где, чем ближе писатель к вершине, тем менее «прилично» говорить о его творческой зависимости от тех, которые «ниже». Влияние мыслится расширяющимся сверху вниз, но не наоборот. А оно всегда обоюдно, взаимно.

Вяземский «никому раболепно не следовал». Его взгляды на поэзию были самостоятельны и независимы. И весьма определенно сложились еще в юности. Их сходство с пушкинскими не «влиянием» обусловлено, но духовною общностью.

Так, оба считали, что зрелые мысли и сильные чувства — для поэтической деятельности условия необходимые, но недостаточные. Надо еще уметь это делать — писать стихи. Пушкин говорил, что «должно смотреть на поэзию, ...как на ремесло». Вяземский вторил ему: «Стихотворство — ремесло, как и другое; должно сперва набить руку, а потом уже браться за работу на славу: Рафаэль начал не Преображением».

В их переписке разговор о стихах друг друга идет на равных. Достаточно хотя бы прочитать пушкинское письмо из Одессы от 1—8 декабря 1823 года — с правкой «Бахчисарайского фонтана» по замечаниям Вяземского, — чтобы увидеть, так сказать, профессиональный уровень их общения.

Или вспомним переписку по поводу «Нарвского водопада», где о стихах Вяземского Пушкин говорит почти как о своих...

Впрочем, отношение Пушкина к поэзии Вяземского явствует не только из писем, стихов, печатных его суждений. Вяземскому посвящен «Бахчисарайский фонтан». Из Вяземского взят эпиграф к первой главе «Евгения Онегина» — там же мы обнаружили ссылку на

«Первый снег». В эпитафии к «Кавказскому пленнику» поначалу значились строки:

**Пред бурей рока — твердый камень,
В волненьях страсти — легкий лист,—**

из стихотворения Вяземского, посвященного Ф. И. Толстому-«Американцу»; только ссора с Толстым — «зачная», из недоразумения возникшая, — побудила Пушкина снять эпитафию, как ни жаль ему было: «Понимаешь, почему не оставил его. Но за твои четыре стиха я бы отдал три четверти своей поэмы». В «Медном всаднике», описывая Петербург, автор отсылает читателя опять-таки к стихам Вяземского — «Разговор 7 апреля 1832 года», не видя смысла повторять «своими словами» то, что прекрасно уже сказано другим поэтом.

Родство литературных взглядов и интересов скрепляло дружбу. Такую внутреннюю близость Вяземский считал нравственным законом литературы, справедливым во все времена. «Державин, Хемницер и Капнист, Карамзин и Дмитриев, Жуковский и Батюшков, — напоминал он, — каждый в свою эпоху современники и более или менее совместники были также сообща главами тайного заговора дарования против дюжинной пошлости, вкуса против безвкусицы, образованности против невежества...»

Теперь, в свой черед, во главе такого же «тайного заговора» стоит и он — вместе с Пушкиным, Баратынским, Дельвигом... Создаваемая ими литература хочет быть не развлечением, но «выражением общества». Противников у них предостаточно. Однако прямолинейное наступление на их позиции сулит мало шансов на успех — не вызовет сочувствия, не даст поддержки общественной, то есть читательской. Приходится выбирать пути окольные. Например, объяснять, что все писатели эти просто-таки обречены быть далекими от народа, от народных интересов и чаяний, а иначе и невозможно, ведь они — дворяне, аристократы, не выходцы «из низов» (правда, объясняющие — тоже, так скажем, «не от сохи» и не из «кухаркиных детей», ну, да какая разница!). Вяземский не скрывает возмущения: Пушкин, Жуковский, он сам, прочие просвещенные люди — разве не народ? Заезжие иностранцы? «...Некоторые из наших мыслителей и писателей признают за русский народ то, что на деле и по истории есть простонародье.

В сем последнем, по мнению их, вся сила, вся жизнь, все доблести, одним словом, вся русская суть... Большинство имеет, конечно, свое значение и свою силу. Но в государственном устройстве и меньшинство, особенно когда оно отличается образованием и просвещением, должно быть принято в расчет и уважено... При имени Минина, представителя большинства, есть рядом имя и князя Пожарского, представителя меньшинства, которое давало ход делу...» Так разгримировывается уловка, с помощью которой из века в век предпринимаются попытки под видом «демократизации» создать новое, «народное» деление на касты и «от имени народа» узурпировать власть над этим раздробленным обществом.

Литературному «меньшинству» в этих условиях особенно остро нужна возможность говорить с читателями, не завися от издательских пристрастий и групповых — либо политических — соображений. Собственный журнал. «Современник».

Издавать альманах под таким названием Вяземский намеревался еще в 1827 году — в пору энергичного своего участия в «Московском телеграфе». Был уверен, что приложение к журналу — сборники прозы, стихов и статей, выходящие «по четвертям года», — быстро завоеует читателей. Но последовал разрыв с Полевым — и с журналом. Альманах не состоялся. Замысел, впрочем, забыт не был.

Миновало чуть более восьми лет. В январе 1836 года Вяземский сообщал Александру Тургеневу: «Пушкину дано разрешение выдавать журнал». Это — о «Современнике».

Собственно, разрешен был не журнал, а сборник, альманах, четыре книжки в год. Причем издание сугубо литературное: никакой ни политики, ни публицистики! То есть ничего такого, что придавало бы действию этих книжек на общество характер действительно современный — в тон названию! Обойти подобное чрезвычайно стеснительное ограничение можно было, пожалуй, одним-единственным путем: привлечь в союзники как бы чисто теоретические размышления и доводы. Еще в «Литературной газете» Вяземский выступал против слишком узкого понимания «литературы», доказывал, что, помимо романов и рассказов, стихотворений и поэм, драматических сочинений и критических статей, в

нее следует включить произведения философские, публицистические, исторические. Теперь все это приобрело важнейший для успеха журнального предприятия Пушкина и Вяземского практический смысл. Потому понадобилось сослаться, опереться на авторитет бесспорный — как во мнении публики, так и в глазах властей.

К мысли, что непроходимой границы между прозой «художественной» и «исторической» нет, читателей подводил еще Карамзин, автор самого обстоятельного и признанного в России исторического труда и одновременно — знаменитый прозаик и поэт. Пользуясь карамзинским опытом, можно было, если умело взяться, многое сказать о современности, говоря как будто о «делах давно минувших дней».

Пускай «дозволен только журнал литературный; но историческую политику милости просим», — писал Вяземский к одному из будущих корреспондентов «Современника». И предупреждал, что об истинных целях этого журнального раздела лучше помалкивать, дело делать без лишнего шума. Правительство и так, еще не прочитав ни строки, заведомо подозрительно относится ко всему, что намерен печатать Пушкин. А коли пойдут «толки» о том, как ловко надумал он миновать «умственную плотину» цензуры, быть беде: «Приятели еще хуже врагов: берутся говорить о том, о чем говорить не следует. Мало ли делается такого, чего объяснять не должно, потому что не можно».

Выход первого тома «Современника»; где были помещены стихи Пушкина, Жуковского, Вяземского, стихи, взятые, так сказать, из самого центра «пушкинского круга», означал для Вяземского возвращение к деятельным занятиям литературой, прерванным запретом «Литературной газеты» и семейными несчастьями, когда поле литературных битв представлялось ему покинутым навсегда. Он тогда окинул сделанное критическим взглядом: «Лета научают строгости в отношении к себе: видя, как мы сами далеки от того, чем должны быть, как мы неполно оправдали обеты, упования молодости своей, мы уже не можем судить других... Кто из нас чист не в глазах света, а в своих глазах?» Усомнившись в своем моральном праве «судить других», он был готов навсегда отложить перо. Жизненно важное для поэта

сознание собственной правоты покинуло его. Выхода из этого творческого тупика он не видел.

Друзья, в меру сил, пытались помочь Вяземскому одолеть тяжкий отрезок жизненного пути, хотя бы по-немногу и ненадолго развеивать сумеречное состояние его души. Такими просветами, в частности, были еженедельные собрания у Жуковского, где бывали Пушкин, Крылов, Гоголь, Владимир Одоевский и другие, словом, почти весь цвет умственной и литературной жизни столицы. Кстати говоря, по мнению Плетнева, на вечерах Жуковского «видимо продолжало существование свое» арзамасское общество.

«Я еду к Жуковскому, который принимает меньшую литературную братью по субботам. У нас появился новый поэт, Бенедиктов... Замечательное, живое, свежее, самобытное явление... Глинка пишет новую оперу, то есть Глинка-музыкант, русскую национальную оперу: «Ивана Сусанина»,— рассказывал Вяземский Александру Тургеневу письмом, датированным концом ноября 1835 года.

Пушкин постепенно увлек друга своими историческими разысканиями, грандиозными — под стать карамзинским — планами. «...Древняя Россия,— писал он,— казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Колумбом...» Открытый этот материк предстояло исследовать, составить карту его, обжить.

Давний, почти позабывшийся интерес Вяземского к историческим штудиям оживился — возникли замыслы целой серии записок о восемнадцатом веке, о деятелях, которых довелось еще застать ему, и планы издания периодического сборника «Старина и новизна», где публиковались бы письма, документы, мемуары былых времен, в безвестности — и потому без должного применения, стало быть, без пользы — томящиеся в государственных и частных архивах. И понятно, что задумался он об исторических и этнографических отличиях России от прочих европейских стран — и о следующих из этого особенностях, специфике труда российского историка. Ведь на почетное, освященное именем Карамзина, это звание уж больно много претендентов развелось в последнее время: «Университеты начали требовать какой-то *подвижной истории*, то есть хотят перекраивать ее, усмотря по изменениям господствующего

образа мыслей и страстей современного поколения», — иронически тревожился он.

Правда, в попытках этих все еще серьезнейшей помехою остается опять-таки авторитет Карамзина. Потому и защищал его Вяземский столь решительно от нападок Николая Полевого в «Истории русского народа» и Н. Г. Устрялова в книге «О системе прагматической Русской Истории», что понимал: в пробиваемую этими сочинениями брешь — и прежде всего в области, Карамзиным не затронутые, — хлынут авторы, к серьезной работе не подготовленные ни образованностью, ни нравственно.

Как не тревожиться, если даже Булгарин намерен одарить современников историей собственного изготовления! «Подожди! Булгарин все... объяснит тебе в книге своей «Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях» и прочее, — предупреждал Вяземский Александра Тургенева. — Он напечатал в «Сные Отечества» толки о сем сочинении, то есть свои, потому что никто не толкует о ней, а что всего хуже для него, никто не толчется в книжных лавках, чтобы подписываться на нее... В сих толках он говорит, что «долг отечеству» (можно спросить: какому?) и совесть повелевают ему писать историю после Карамзина... «Не подумайте, однако же», прибавляет он, «чтобы я почитал себя Христофором Колумбом, нет, он на столько выше меня, на сколько Тацит выше г. Полевого». Что он не Христофор Колумб, этому поверить можно; но что он участвует в открытиях Александра Христофоровича, этого также отнять у него нельзя». Имя и отчество Бенкендорфа пришли на редкость к месту. Вяземский знает: размноженный друзьями, от которых Тургенев писем его не таит, каламбур прилипнет к Булгарину, а там, глядишь, быть может, дойдет и до всемогущего генерала «всей Руси». Намек бьет без промаха: уж если добровольный осведомитель тайной полиции тщится записаться в русские историки, нельзя сидеть сложа руки и молчать. Безнравственность, не получив отпора, легко может стать для незрелых умов растлевающе-неуязвимой.

(Здесь стоит заметить, что приведенный Вяземским случай свидетельствует: всякий литературный прием сам по себе нейтрален, этическое содержание он получает в зависимости от того, кто и с какою целью к нему

прибегает. Когда Вяземский писал в «Московском телеграфе» об еще не завершенном «Борисе Годунове», его руку вела любовь к литературе и внутренняя потребность быть «заодно с Гением». Булгарин в предварительном самовосхвалении движим единственно своекорыстием. Прием у обоих один, но лишь по видимости — не по сути.)

Итак, каким должно быть русскому историку? Как прежде — Карамзин. Как теперь — Пушкин. Хотя Вяземский не хуже других знает о заочном споре между ними, начавшемся фразой Карамзина, что история народа принадлежит царю. Тут не было лести придворного историка, исполнителя — заказчику. Просто история России виделась ему прочной цепью царствований, последнее, пока, звено которой — нынешний самодержец, Александр I.

Никита Муравьев, будущий декабрист, причем из самых радикально настроенных, резко возразил: «История народов принадлежит народам».

Третью реплику бросил Пушкин: «История принадлежит поэту». Пожалуй, афористичность и полемический тон помешали вдуматься в сказанное с вниманием, какого оно заслуживает. А суть в том, что только интуиция и воображение художника способны дополнить и насытить жизнью ту скупую схему, которая чаще всего вырисовывается из дошедших до исследователя документов. В этой задаче слишком много неизвестных, чтобы можно было решить ее строго логически, как говорится, по всем правилам. Только художнику дается тайна верной и убедительной догадки, скрытая от других — художественная — закономерность и связность истории.

Вяземский тонко разобрался в споре. Увидел, что сходство между историками Карамзиным и Пушкиным больше всех вместе взятых различий и расхождений во взглядах. Годы спустя его мнение несколько не изменится. «В последнее время работа, состоящая у него на очереди, ...была история Петра Великого, — вспоминал он. — Труд многосложный, многообъемный, почти всеобъемлющий. Это целый мир! В Пушкине было верное понимание истории... Он не писал бы картин по мерке и объему рам, заранее изготовленных, как то часто делают новейшие историки, для удобного вложения в них событий и лиц, предстоящих изображению. Он не исто-

рию воплощал бы в себя и в свою современность, а себя перенес бы в историю и в минувшее...» Он считает себя вправе строить предположения о не сделанном Пушкиным. Потому что сделанное творилось на его глазах. Ему, ближайшему свидетелю и карамзинской работы над историей, было с чем сравнивать...

1836 год, ознаменованный началом издания «Современника», казалось, многое посулил Вяземскому на будущее. Ему сорок четыре года — возраст полной зрелости духа. Еще не поздно наверстать упущенное, совершить свое предназначение в литературе.

Выстрелы, прозвучавшие январским утром 1837 года на Черной речке, все перечеркнули...

Гибель Пушкина обозначила решающий перелом в судьбе Вяземского. Отныне жизнь его была разделена на *до* и *после* этой даты.

Что осталось?

Разрыдаться, простершись ниц на паперти Конюшенной церкви первого февраля, в день отпевания Пушкина.

Взять перчатку, в которой Пушкин был на дуэли и которая отныне будет храниться в Остафьеве — с прочими пушкинскими реликвиями, а взамен бросить свою — в ящик, куда поставлен гроб с телом Пушкина. Дать этот знак грядущей встречи в лучшем мире. И вот уже тронулись лошади по заснеженной, стылой дороге, унося в последнюю ссылку поэта — и того, кому единственному дозволено его проводить, Александра Тургенева, который несколько дней спустя напишет к Вяземскому и Жуковскому:

«7 февраля, воскресенье, 5-й час утра. Псков. Мы предали земное земле на рассвете. Я провел около суток в Тригорском у вдовы Осиповой, где искренно оплакивают поэта и человека в Пушкине... Везу вам сырой земли, сухих ветвей — и только...»

Что осталось?

Одно — то, чего нет теперь важнее. Рассказать о последних днях и часах поэта. Об отчаянии, гневе, решимости отстаивать достоинство свое. О причинах дуэли Пушкина, о том, что предшествовало ей. Воспроизвести на бумаге события, шаг за шагом загонявшие его в западню, пока не осталось у него другого выхода, кроме выхода к барьеру. Оставить бесценные свидетельства, в которые будут вчитываться поколения и поколения,

стремясь постигнуть трагический исход судьбы гения...

Позднейшие биографы Пушкина были недовольны Вяземским за то, что он, создатель жанра писательской биографии и острый, памятливым мемуарист, прожив еще четыре десятка лет, не написал о Пушкине ничего целостного, завершенного, — так, наброски, фрагменты, письма. И даже находили этому объяснение — в «небезоблачности» их отношений, особенно в последние годы. Думается, здесь произошел некий ретроспективный сдвиг представлений, подмена понятий, которую, справедливости ради, можно признать психологически естественной. Литература жива, подвижна конфликтом, трагизмом внутренних противоречий, без чего у писателя попросту нет повода братья за перо. Историк литературы, он же — ее читатель, причем серьезный, профессиональный, как бы проецирует — сознательно или подсознательно — эту самую «конфликтность» на литераторские взаимоотношения, пристальным вниманием своим подчеркивает столкновения, разногласие, споры, нередко преувеличивает их, прочее же видит ему куда как менее существенным. Отталкиваясь чересчур резко от слащаво-благостных изображений, он впадает в другую крайность, принимает органически возникшую с годами сдержанность за охлаждение.

В этом искажении чужого взгляда Вяземский виновен: его подсказки остались неслышанными, указания — незамеченными.

Он написал о Пушкине.

Не раз и не два говорил он, с некоторою даже навязчивостью повторяя, что лучшее из всего им за жизнь сочиненного — письма. Этот жанр он осваивал осознанно — по французским, прежде всего, наиболее совершенным образцам, по Монтескье и Вольтеру. И освоил блестяще.

Его письма о гибели Пушкина — не россыпь. При чтении их не враздробь, но подряд, одно за другим, обнаруживается обдуманность, если угодно, фабульного построения — и сюжетная логика.

Он знает цену этим письмам — нынешнюю и будущую. Садится за них уже через четыре дня после прощания с другом. Сочиняет их рационально, взвешенно, усилием воли сдерживая избыток эмоций, точно представляя себе каждого из адресатов — и тот круг, в котором письмо получит хождение (замечу, что все адреса-

ты — ближе, дальше ли — между собою знакомы, так что «объединение» текстов не только возможно, но и вероятно). Подобно шахматисту, рассчитывает он ходы, понимая, что возможностей исправить их не представится. При этом, повторю, каждое письмо — одновременно и самостоятельно, то есть преследует определенную цель, и часть целого, фрагмент истории гибели поэта, изложенной в письмах. Попробуем не упускать из виду оба этих параллельных плана.

Прежде всего надо было защитить Пушкина от клеветы, пресечь порожденные дуэльной историей сплетни о поэте и его семейной жизни. Версия событий, изложенная одним из ближайших к Пушкину людей, приобретала особую весомость. Ей же, по замыслу автора, предстояло отвести опасность, развеять подозрения, которые навлекли на себя в глазах правительства друзья, присутствовавшие при кончине: кто-то донес, что Жуковский вынес из опечатанного пушкинского кабинета какие-то бумаги; недовольный тем, что Пушкина положили в гроб не в камер-юнкерском мундире, а в скюртке, царь бросил: «Верно, это Тургенев или князь Вяземский присоветовали...» Ему увиделся чуть ли не заговор.

Пятого февраля Вяземский отправил большое письмо старинному своему приятелю, московскому почт-директору А. Я. Булгакову, через которого оно вскоре стало известно «всей Москве». Так и было задумано: Вяземский сам просил Булгакова знакомить с письмом всякого, кто ни пожелает. Копии письма множились и распространялись, не минуя рук и глаз, так сказать, официальных. Что и требовалось. В этом описании последних часов Пушкина всячески подчеркивается, что поэт умер благочестивым христианином и со словами благодарности государю за обещанную заботу о жене и детях. О дуэли же говорится в общем, почти скороговоркой, словно поспешая к выводу: «Пушкина в гроб положили и зарезали его жену городские сплетни, людская злоба, праздность и клевета петербургских салонов, безыменные письма...» И добавлено — столь же безлично, — что «все порядочные люди» уверены в невинности жены Пушкина...

Булгаков отлично разобрался в том, что побудило Вяземского написать именно такое письмо и именно к нему. И принял «условия игры», согласился на предло-

женную роль: «Я скажу тебе откровенно, — писал он в ответ, — что никому в мысль не приходит изъяслять малейшее сомнение в показаниях твоих». Как минимум, один усомнившийся был — сам Булгаков: он дает понять, что расчет Вяземского на свою безупречную «эпистолярную» репутацию вполне оправдался, но в те же дни, пиша к дочери, замечает, что умеет «отличить Пушкина от Вяземского»...

Четыре дня спустя, девятого февраля, Вяземский пишет к Денису Давыдову: «Ясно изложить причины, которые произвели это плачевное последствие, невозможно, потому что многое остается тайным для нас самих, очевидцев». Однако далее, словно невзначай противореча себе, как раз и пытается объяснить происшедшее. Подробно рассказывает о предузельных событиях, особо выделяя анонимные письма, которым отводит решающую роль в трагедии. Детально описывает историю несостоявшейся ноябрьской дуэли, предотвращенной лишь женитьбою Дантеса на Екатерине Гончаровой. Наконец, говорит о роковом решении как о поступке общественном, защищающем имя и честь не только «частного лица», но и первого поэта России. «...Мне нужно..., чтобы мое доброе имя и честь были неприкосновенны во всех углах России, где мое имя известно», — сказал Пушкин С. Н. Карамзиной накануне дуэли...

Это письмо, в отличие от первого, предназначено для узкого, собственно литературного круга, который Вяземским четко очерчен: он просит показать его Е. А. Баратынскому, П. В. Нащокину, А. Н. Раевскому и «всем тем, кому память Пушкина драгоценна». Без «тактических» уловок он дает полный и точный отчет обо всем, что видел, узнал, понял. Впрочем, по всей вероятности, есть у него еще одно намерение, распознать которое в тексте письма могли только «посвященные». Но об этом — чуть позже.

Четырнадцатым февраля датировано письмо к великому князю Михаилу Павловичу в Рим — хроника последних месяцев жизни Пушкина, его гибели и вызванных ею последствий. Как некогда «Исповедь» Вяземского, адресованная Константину Павловичу, предназначалась, в сущности, его царствующему брату и вообще правительству, так и это письмо мыслится Вяземским как документ исторического значения, который не

только власть предержажими, но и — главное — потомками будет изучаться самым пристальным образом. Поэтому автор обстоятелен и нетороплив, старается ничего не упустить и явно не придает значения тому, что некоторые сообщаемые им факты и обстоятельства адресату наверняка известны. «Я потерял в нем друга... Мы все потеряли в нем прекраснейшую славу литературы, человека, являющегося одной из интеллектуальных вершин эпохи», — пишет он, подчеркивая ответственность своих свидетельских показаний. Как ни трудно сделать такое, например, признание: «Пушкин не был понят при жизни не только равнодушными к нему людьми, но и его друзьями. Признаюсь и прошу в том прощения у его памяти, я не считал его до такой степени способным ко всему. Сколько было в этой истрадавшейся душе великодушия, силы, глубоко скрытого самоотвержения!..»

Для Вяземского безнравственны, бесстыдны попытки светской черни представить «пострадавшими» обе стороны, морально уравнивать убийцу и жертву: «Я не из тех патриотов, которые содрогаются при имени иностранца, я удовлетворяюсь патриотизмом в духе Петра Великого, который был патриотом с ног до головы, но признавал несмотря на это, что есть у иностранцев преимущества, которыми можно позаимствоваться. Но в настоящем случае как можно даже сравнивать этих двух людей? Один был самой светлой, литературной славой нашего времени, другой — человек без традиций, без настоящего и без будущего для страны. Один погиб, как сугубая жертва врага, который убил его физически, убив предварительно нравственно; другой — жив и здоров и рано или поздно, покинув Россию, забудет причиненное им зло».

(Не отделаться от впечатления, что Лермонтов, когда писал «Смерть поэта», знал это письмо Вяземского.)

Ничуть не более нравственно, по его мнению, повело себя после гибели Пушкина и правительство (читай: Николай Павлович): «Друзей покойного вперед уже заподозрили самым оскорбительным образом; осмелились со всей подлостью, на которую были способны, приписать им намерение учинить скандал, навязали им чувства враждебные властям, утверждая, что не друга, не поэта оплакивали они, а политического деятеля. В день, предшествовавший ночи, в которую на-

значен был вынос тела, в доме, где собралось человек десять друзей и близких Пушкина, чтобы отдать ему последний долг, в маленькой гостиной, где мы все находились, очутился целый корпус жандармов. Без преувеличения можно сказать, что у гроба собрались в большом количестве не друзья, а жандармы.

Небеспристрастное, но все же довольно сдержанное повествование неуловимо преображается в нечто иное. Не случайно вспоминается «Исповедь» — тот же прием: и там без видимого усилия, просто и логично Вяземский защищающийся превращается в нападающего. Оправдание Пушкина и его друзей уступает место обвинению от их (и от его!) имени. Потому что правительство тоже приложило руку к тому, чтобы в преддверьи катастрофы создать обстановку для Пушкина нестерпимую. «Наши так называемые монархические, благонамеренные журналы, пользующиеся особым покровительством полиции (не намек — прямое указание на булгаринскую «Северную пчелу» и иже с ней. — В. П.), часто старались подорвать народную к нему любовь (и успевали в этом), объявляя, что талант его померк как раз в последних его произведениях, которые они вменяли ему чуть ли не в преступление. Суть заключалась в том, что истинные его убеждения не сходились с доносами о нем полиции...»

То, что по первому впечатлению казалось несчастным случаем, нанесенным вслепую ударом судьбы, поддалось аналитическому уму Вяземского, расслоилось на несколько причин, внутренне связно и закономерно приведших к единственному, неизбежному следствию. Но и гибелью Пушкина их действие не было оборвано, а продолжалось, черня память о нем.

Это письмо — важнейшее, центральное во всем цикле. Здесь — кульминация и развязка сюжета. Поэтому Вяземский вкладывает в тот же конверт и копию уже упоминавшегося письма своего к Булгакову: два этих документа должно было соединить — и тем самым однозначно прояснить действительный смысл каждого из них; можно сказать, что письмо, запущенное в сторону властей окольным путем, через «всю Москву», девять дней спустя «отменяется» — письмом, отправленным напрямик. Это письмо не должно пропасть — без него все остальные окажутся не связанными между собою. Поэтому оно помещается в самое надежное ме-

сто хранения — в архив императорской семьи: воспитанник Карамзина знает, что рано или поздно историки получают доступ туда. Однако и современников Вяземский не забывает: копию письма к Михаилу он, так сказать, запускает в рукописное тиражирование; немногим позже оно — вместе с некоторыми другими документами — вошло в своего рода рукописный сборник материалов о гибели Пушкина, занимающий заметное место в «самиздате», в неподцензурной русской литературе XIX века. И таким образом стало доступным для остальных адресатов Вяземского.

Еще одно письмо, которое необходимо здесь процитировать, предназначалось тем, кого ввели или могли ввести в заблуждение доносящиеся из великосветских салонов лицемерные сетования о без вины виноватом Дантесе и об его нелепо загубленной карьере. Письмо к Э. К. Мусиной-Пушкиной от шестнадцатого февраля. К этому моменту позорные роль и поведение Геккернов, старшего и младшего, в происшедшем Вяземскому совершенно ясны, равно как и нравственная правота Пушкина. Нет, не так: вернее сказать, что все это и раньше не вызывало у него сомнений, но теперь, когда история гибели поэта близка к завершению пришла пора добавить существенный штрих обозначить трещину — и в официальной, и в «светской» версиях. «В Пушкине я оплакиваю друга, оплакиваю величайшую славу родной словесности, прекрасный цветок в нашем национальном венке, однако будь в этом ужасном деле не на его стороне право, я в том сознался бы первый. Но во всем его поведении было одно благородство, великодушие, деликатность. Если бы на другой стороне был только порыв страсти или хотя бы честное ухаживание, я, продолжая оплакивать Пушкина, не осудил бы и его противника. В этом отношении я не такой уж ригорист. Всякому греху — милосердие. Да, но не всякой низости!»

Яснее не скажешь: Вяземский не просто *не верит* в любовные страдания Дантеса, он уверен, то есть *знает*, что все эти вздохи и закатывания глаз при виде Натальи Николаевны — не что иное, как спектакль, разыгранный обдуманно и жестоко, видимая часть заговора, жертвой которого стал Пушкин.

Намеченная Вяземским программа осуществлена. Он сказал то, что хотел, и так, как хотел.

Но вот что невольно обращает на себя внимание. С самого начала верно поняв и объяснив значение, которое имели в развитии событий анонимные письма, полученные Пушкиным и его друзьями, он в дальнейшем лишь повторяет это, не пытаясь углубиться и почти не затрагивая важнейшего вопроса — об их происхождении и авторстве (и значит — о других участниках заговора). Правда, в письме к Михаилу Павловичу сообщает: Пушкин умер в уверенности, что письма сочинил старший Геккерн, но друзья были решительно с ним не согласны. Хотя позже некий — неназываемый — «случай» дал этому подозрению «некоторую долю вероятности». Звучит довольно туманно, собственное отношение никак не проявлено. Впрочем, обращаясь к брату царя, он, понятно, не мог высказываться яснее, не имея неопровержимых улик. Все же маловероятно, чтобы он не провел собственного расследования. Тем более странно, что и в письмах к друзьям, где он чувствовал себя куда свободнее, как будто нет никаких догадок и указаний, даже намек на сей счет. А может быть — все-таки есть?

Здесь, по-моему, требуется небольшое отступление: несколько слов об эффекте «похищенного письма». У Эдгара По есть новелла с таким названием. Напомню: речь идет о пропаже важнейшего для судеб героев документа, который на всем протяжении судорожных поисков пребывает на самом виду, где обнаружить его — только руку протянуть, но это никому не приходит в голову, пока в дело не вмешивается сыщик-психолог. Короче, лучший способ спрятать вещь — не прятать ее вовсе, с некоторой как бы даже демонстративностью. Однако есть у этого психологического феномена и обратная сторона. Когда необходимо, чтобы нечто было непременно обнаружено, у любого из нас нет иного выхода, кроме как расположить это «нечто» опять-таки на самом виду, то есть именно там, где... менее всего станут искать. История (в частности — литературы) знает немало тому примеров. Причем ловушка срабатывает тем вернее, чем дальше — во времени — ищущий от не-прячущего...

Вот концовка письма Вяземского к Денису Давыдову: «Адские козни опутали их (Пушкина и его жену. — В. П.) и остаются еще под мраком. Время, может быть, раскроет их. Но пока я сказал тебе все, что нам извест-

но». На следующий день, десятого февраля, в третьем письме к Булгакову (второе было написано шестого), не столь «политическом», более личном, чем первое, и призванном, похоже, развеять возможную обиду адресата на «использование» его в роли «всей Москвы», он повторяет почти навязчиво, словно желая задержать, остановить на фразе взгляд читателя: «Адские сети, адские козни были устроены против Пушкина и его жены». Выражение слишком сильное, если иметь в виду, что, судя по написанному за следующую неделю, вся «тайна» — коварство и двуличие Геккернов. «Ради красного словца» подобные метафорические пассажи Вяземскому не свойственны, с его эпистолярным мастерством они как-то не вяжутся. И больше похожи на... эпиграммы его, далеко не все из которых были прижизненно опубликованы, так сказать, в силу приличий, что, впрочем, нисколько не мешало им затверживаться наизусть — и не забываться: ни друзьями, ни врагами. Например, такая:

Нечистый дух собаку съел

Нам строить козни и подкопы.

Кто выдохся из внутренности ...

Тот стал у нас министром внешних дел. (Курсив мой.— В. П.)

Она условно датируется 1828 годом, когда вице-канцлер и министр иностранных дел граф К. В. Нессельроде, большой любитель и мастер придворной и политической интриги, сумел помешать в «прикомандировании по гражданской части» Вяземского и Пушкина к армии. Вяземский об этом узнал: «Я имел случай убедиться, что наш возлюбленный племянник, вице-канцлер и действительная свинья, Нессельроде был в этом деле одним из противных ветров». Знал он и то, что в судьбе Пушкина «министр внешних дел» и прежде — однажды — сыграл зловещую роль. В 1824 году, после ссоры с Пушкиным, М. С. Воронцов хотел перевести того на службу «во внутренние губернии». Однако Нессельроде, по ведомству которого числился Пушкин, чужими руками — «криво» представив дело — добился его отставки, за которой последовала ссылка в Михайловское. Когда же Александр Тургенев попытался вмешаться и обратился к нему, всем видом изобразил беспомощность, мол, «это уже невозможно»...

Словом, ни для кого не было секретом, что отноше-

ния Пушкина с его «начальником по службе», как говорится, не сложились. Но много хуже были они с женой Нессельроде, Марией Дмитриевной. Сын Вяземского, Павел Петрович, писал, что враждебность Пушкина к графине Нессельроде «едва ли не превышала его ненависть к Булгарину». Чувства были взаимными: графиня неизменно оставалась на стороне противников поэта. Геккерт-старший пользовался расположением министра. А младший был в добрых отношениях с многими из тех, кто составляли аристократический салон, «Кружок Нессельроде», который, по свидетельству Александра Карамзина, не отказался от враждебности к Пушкину и после его смерти. Не мешает помнить и о том, что графиня Нессельроде была посаженной матерью на свадьбе Дантеса и Екатерины Гончаровой.

Над вопросом об авторстве анонимных писем исследователи бьются уже давно, время от времени обнаруживая сенсационные открытия и всякий раз нарываясь на не менее эффектные опровержения. Так случилось, например, с организованной П. Е. Щеголевым в 1927 году графологической экспертизой — ее провел авторитетный криминалист А. А. Сальков, опознавший в писавшем князя П. В. Долгорукова. Полвека это заключение кочевало из статьи в статью, из книги в книгу, подчас вызывало сомнения, но всякий раз уцелевало. Пока, наконец, в 1976 году не было опровергнуто киевским экспертом С. А. Ципенюк — в едва ли доступном, увы, для широкой публики сугубо профессиональном издании «Криминалистика и судебная экспертиза». А уже в наши дни, сравнительно недавно, В. В. Кожинов (в газете «Правда»!) предложил весьма удобного «кандидата» — немца (то бишь «инородца», как и Дантес) Ф. И. Брунова, почерк которого много лет назад якобы «идентифицировал» Г. В. Чичерин в письме к тому же Щеголеву. Правда, этот современный исследователь, «изящно» оборвав цитату, «позабыл» сообщить, что Чичерин высказывает *предположение* и просит его проверить, ибо с бумагами Брунова имел дело лет за тридцать до того, а теперь, при взгляде на факсимильное воспроизведение пасквиля, почерк показался ему знакомым (*проверить* не составляло труда: как раз в то время, которым датировано письмо Чичерина, в архиве Министерства иностранных дел трудился друг Щеголева —

историк Е. В. Тарле). И еще одна «мелочь»: Врунов вовсе не был так близок к Нессельроде, как это нам подается, в службе своей он опирался на поддержку совсем другого человека — и отнюдь не дружественного министру — А. Ф. Орлова.

При всей разноте исследователей — добросовестного и, мягко говоря, не очень — есть у них и общее: они пытаются дать ответ, упуская из виду, что это — не один, а два разных вопроса. Потому что исполнитель — вовсе не обязательно автор. Такое «творчество» вполне тянет на «коллективное». А роль пишущей машинки в ту технически несовершенную эпоху играл переписчик...

В 1847 году в статье «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина» Вяземский писал: «Не настала еще пора... разоблачить тайны, окружающие несчастный конец Пушкина». Не потому ли, что Нессельроде были еще живы (графиня умерла в 1849 году, граф — тринадцать лет спустя)?

Значительно позже, как явствует из неопубликованных «Записок» А. М. Голицына, Александр II сказал в кругу приближенных: «Ну так вот теперь знают автора анонимных писем, которые были причиной смерти Пушкина: это Нессельроде» (тут же — помета автора: «Слышал от особы, сидевшей возле государя»). Фраза построена так, что не определить, кто имеется в виду: муж, жена или они оба... Вряд ли кому-либо чересчур смелым покажется предположение, что Александр Николаевич, воспитанник Жуковского, с детства знавший Вяземского и сразу по восшествии на престол приблизивший его к своей семье, именно от него об этом и узнал.

Конечно, все эти подтверждения уверенности Вяземского в том, что чета Нессельроде сыграла заглавную роль в антипушкинской интриге, выглядят косвенными. Однако есть и более прямое свидетельство — и оно тем любопытнее, что исходит от человека осведомленного, близкого ко двору и хорошо знавшего всех — с обеих сторон — участников трагедии: Александре Осиповне Смирновой-Россет. Она, как и Вяземский, убеждена в том, что «роман» Дантеса с Пушкиной насквозь фальшив, «декоративен», но решительно не согласна с его схемой распределения ролей в заговоре: «Это не Нес-

сельроде распространили сплетни. Ничто не может быть так мало на них похоже. Вяземский не любит графини Нессельроде, и он приписывает ей то, чего нет».

(Нелишне, по-моему, добавить, что весь этот эпистолярный цикл Вяземского как бы окольцован — открыт и замкнут — двумя письмами к Смирновой-Россет: от первого февраля и от второго марта. Пролог и эпилог...)

Однозначных и собственноручно писанных доказательств тому, о чем здесь рассказано, Вяземский не оставил. Однако нелишне бывает поразмыслить над тем, что случайных цитат у писателей не бывает, тем более — «из самого себя»...

Впрочем, из других — тоже. «Цитата не есть выписка, — сказал Мандельштам. — Цитата есть цикада. Неумолима ей свойственна». Законы природы и искусства действуют не независимо от того, открыты они, переведены в слова и формулы — или нет.

«Солнце нашей Поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща!..» Так начал некролог Владимир Одоевский, несколько строк срывающимся в отточия пером. До цитат ли тут? И все же...

«Угасло одно из светил поэзии нашей, лучезарнейшее светило ее! Державина нет! Смерть похитила в нем у муз почтенного их Нестора, у отечества — мужа знаменитого, прешедшего со славою и пользою поприще долгой жизни...» С того дня, как всеми просвещенными людьми прочитаны были эти слова, подведшие итог жизни поэта, минуло чуть более двадцати лет. Цитата, произвольно вырвавшаяся у Одоевского, сблизила два трагичных для русской поэзии события, но выявила и различье — насильственную незавершенность пушкинского пути. Цитата из Вяземского...

От него в эти дни, словно из некоего центра, расходится по сторонам все, что связано с гибелью Пушкина. И к нему же сходятся отзвуки, эхо.

Первым, третьего февраля, едва получив горестное известие, пишет к Вяземскому Денис Давыдов: «...Я много терял друзей подобною смертью на полях сражения, но тогда я сам разделял с ними ту же опасность, тогда я сам ждал такой же смерти, что много облегчает, — а это Бог знает какое несчастье! А Булгарины и

Сенковские живы и будут живы, потому что пощечины и палочные удары не убивают до смерти».

Месяц спустя, шестого марта, смятение и скорбь его нимало не успокоились: «Веришь ли, что я по сию пору не могу опомниться, так эта смерть поразила меня! Пройдя сквозь весь пыл наполеоновских и других войн, многим подобного рода смертям я был и виновником и свидетелем, но ни одна не потрясла душу мою подобно смерти Пушкина. Грустно, что рано, но если уж умирать, то умирать так должно, а не так, как умрут те из знакомых нам с тобою литераторов, которые теперь втихомолку служат молебны и благодарят судьбу за счастливейшее для них происшествие. Как Пушкин-то и гением, и чувствами, и жизнью, и смертью парит над ними! И эти говенные жуки думали соперничать с этим громодежавным орлом!..»

Пятого февраля, в волнении датируя письмо тридцать шестым годом (кстати, ту же описку сделал Вяземский в письме к Михаилу Павловичу), откликнулся Баратынский: «Пишу к Вам под громовым впечатлением, произведенным во мне, и не во мне одним, ужасною вестию о гибели Пушкина. Как русский, как товарищ, как семьянин скорблю и негодую. Мы лишились таланта первостепенного, быть может, еще не достигшего своего полного развития, который совершил бы непредвиденное, если б разрешились сети, расставленные ему обстоятельствами, если б в последней отчаянной схватке с ними судьба преклонила весы свои в его пользу. Не могу выразить, что я чувствую, знаю только, что я потрясен глубоко, и со слезами, ропотом, недоумением беспрестанно себя спрашиваю: зачем это так, а не иначе?»

Дмитриев лишь к концу февраля смог собраться с силами — хотя бы на несколько строк: «Благодарительное мое письмо уже начато было в свое время, но остановилось в ходу своем по случаю поразившего меня известия о судьбе незабвенного Пушкина. С той минуты и до сего времени не хотелось мне брать в руки перо, да и Вам, конечно, было не до моих писем...» (Меньше чем через восемь месяцев не станет и Дмитриева — оборвется последняя живая связь Вяземского с «допушкинской» литературной эпохой, взрастившей его. Слово бы сама история позаботилась придать завершенность половине его жизни.)

Смерть поэта — последний его творческий акт. Относимый от нее течением времени, Вяземский видит это все ясней и бесспорней. А боль не стихает...

Что осталось?

«Я в жизни не люблю крутого перелома», — оборонялся, противился Вяземский. Но перелом совершился. Два десятилетия дружбы с Пушкиным подошли к концу. В это трудно поверить, когда бы не ощущение незаполнимой пустоты в душе.

Я пережил и многое, и многих,
И многому изведаль цену я;
Теперь влачусь в одних пределах строгих
Известного размера бытия.
Мой горизонт и сумрачен, и близок,
И с каждым днем все ближе и темней...

Лучшая часть жизни иссякла. Пора простаться.

На память и завет о прошлом в мире новом
Я вас напутствую единым скорбным словом,
Затем что скорбь моя превыше сил моих...

Эти стихи читают в очередном, без Пушкина вышедшем томе читателя «Современника» — и почувствуют, мысленно согласятся,

...Что песни лучшие поэзии родной
Внезапно замерли на лире онемелой,
Что пал во всей поре красоты и славы зрелой
Наш лавр, наш вещий лавр, услада наших дней,
Который трепетом и сладкозвучным шумом
От сна воспрянувших пророческих ветвей
Вещал глагол богов на севере угрюмом,
Что навсегда умолк любимый наш поэт,
Что скорбь постигла нас, что Пушкина уж нет...

Отныне и до конца дней поэзия, да и все творческое поведение Пушкина окончательно стали для Вяземского мерой и образцом в раздумьях об изящной словесности, в отношении ко всем, кто пришли в нее после Пушкина. Незримо присутствуют они в его критических разборах появляющихся в печати сочинений. И выступают на первый план, когда речь заходит о природе творчества, об его внутренних закономерностях, незнание — либо непонимание — которых губит художника. В частности — о сложнейших для всякого, взявшего в руки перо, взаимоотношениях творения и творца: «В лирических творениях своих поэт не прячется, не утаивает, не пре-

одолевает личности своей, напротив, он как будто невольно, как будто бессознательно, весь себя выказывает с своими заветными и потаенными думами, с своими страстными порывами и изнеможениями, с своими сочувствиями и ненавистями. Там, где он лицо постороннее, а действующие лица его должны жить собственной жизнью, а не только отпечатками автора, автор и сам держится в стороне...»

Когда вскоре подготавливается к выпуску первое посмертное собрание сочинений Пушкина, Вяземский внимательно читает один рукописный лист за другим, обнаруживает немало строк, прежде неведомых, комментирует прочитанное в записной книжке. «В отрывке Пушкина *Записки М* сказано: «При отъезде моем (из немецкого университета) дал я прощальный пир, на котором поклялся я быть вечно верен дружбе и человечеству и *никогда не принимать должности цензора*». Забавно, что эти последние слова вычеркнуты в рукописи красными чернилами цензора».

Почти тут же он наталкивается на другой курьез: «Вот слава! В новое издание сочинений Пушкина едва не попали стихи Алексея Михайловича Пушкина на смерть Кутузова, напечатанные в Вестнике Европы 1813. Я их подметил и выключил». Составителя ввела в заблуждение подпись: «А. Пушкин». Надо сказать, не его одного. Попытки «поправить» поэта, назвавшего первую своей публикацией совсем другую, более позднюю — и в другом журнале, — не раз делались и позже, вплоть до наших дней. Пожалуй, последнюю из них по времени удалось «обезвредить» автору этих строк, в руки которого попала предназначенная к сенсационной публикации статья, где обстоятельно анализировалось то самое стихотворение из «Вестника Европы» — и доказывалось, что для *четырнадцатилетнего* Пушкина оно не так уж плохо. Увы, вся эта кропотливая стиховедческая работа была проделана впустую. Потому что Вяземский *точно знал* — кто автор. С ровесником своим, Алексеем Михайловичем Пушкиным, дальним родственником поэта, изредка на досуге сочинявшем стихи, он был в добрых отношениях — настолько, что порою правил, чуть не переписывал его опусы, дабы привести их хотя бы в соответствие нормам стихосложения...

В пятидесятых годах он так же тщательно просматривал подготовленное П. В. Анненковым наиболее пол-

ное по тем временам собрание пушкинских сочинений. И внезапно обнаружил нивесть коим образом попавшее туда свое стихотворение — «Лилия». Пришлось и его «подметить и выключить».

Одну из пушкинских записей 1826 года Анненков воспроизвел так: «У. о. с. Р. И. М. К. Б: 24». По аналогии с другими заметками расшифровал три первых знака: «Услышал о смерти...» Дата — 24 июля. Ясно — речь о декабристах: Рылееве, Пестеле, Муравьеве, Каховском, Бестужеве. Умышленно прочитанное «И» вместо «П» (Пестель) призвано было обмануть цензуру. Не обмануло. Цензор Фрейганг заподозрил неладное. Вяземский успокаивает цензора, одновременно защищая издателя (и Пушкина): имея в виду декабристов, «Пушкин, вероятно, записал бы о казни, а не просто о смерти». Лучшая защита — нападение, фраза получилась обоюдоострая: он бы, Вяземский, в этом случае никогда не поставил бы «смерть» — слабо и неточно, но именно и только — «казнь»...

С годами память о погибшем друге становится все более властной и яркой, все так или иначе с ним связанное обретает значение первостепенное. И потому из множества людей, с которыми теперь — хотя бы мимолетно — сводит Вяземского судьба, особенно близки ему те, кто были некогда дружески соединены с Пушкиным.

В 1839 году в Париже он повстречался с Адамом Мицкевичем. Они не виделись лет десять. А познакомились еще в середине двадцатых годов, когда Мицкевич за участие в тайном студенческом патриотическом обществе был выслан из Литвы и четыре с половиной года прожил в России. Миновать дом Вяземского, попавшего в опалу за сочувствие к Польше и полякам, он, разумеется, не мог.

Вяземский рекомендовал его Жуковскому и остальным своим друзьям. Его похвалы польскому поэтическому собрату сделали Мицкевича желанным гостем в просвещенном московском обществе. Вместе бывали они на литературских собраниях. Вместе слушали пушкинское чтение «Бориса Годунова». В записях Вяземского можно найти впечатления от Мицкевича, чья необыкновенная одаренность была очевидна, бросалась в глаза даже и не знавшим польского языка. К тому же для Мицкевича Вяземский, не прерывавший

эпистолярных отношений со своими варшавскими друзьями и свободно владевший польским, был поистине драгоценным собеседником. А со статьи Вяземского «Сонеты Мицкевича», напечатанной в 1827 году, началась, в сущности, настоящая литературная известность польского поэта в России.

Завершая эту статью, Вяземский призвал лучших русских поэтов переводить Мицкевича, сделать его творчество достоянием российских читателей. И подал пример: перевел «Крымские сонеты». Правда, не стихами, а прозой, как это принято в большинстве европейских литератур; в России это был едва ли не первый опыт такого рода. И хотя он не получил распространения, не прижился, переводы Вяземского не лишены интереса и в наши дни (достаточно сказать, что наш современник, признанный мастер поэтического перевода В. В. Левик, сам переведший «Крымские сонеты», яростный противник русских «прозаизаций» иноязычных стихов, прочитав эти переводы, сказал, что готов сделать для них исключение, потому что они доносят до читателя не только «букву», но и дух поэзии Мицкевича). Призыв был услышан: Пушкин перевел баллады «Будрыс и его сыновья» и «Воевода», переводил стихи Мицкевича Козлов, а позже — Лермонтов, Огарев, Минаев, Ап. Майков, Фет...

В том же, 1827 году Вяземский помог Мицкевичу провести через цензуру поэму «Конрад Валленрод».

Да и позже, когда Мицкевич обосновался в эмиграции, живо интересовался его судьбой...

Разлука не охладила отношений. Парижская встреча искренно обрадовала обоих. И почти тут же сам собою зашел разговор о Пушкине. Собираясь домой, Вяземский взял у Мицкевича опубликованную во Франции его статью «Пушкин и литературное движение в России», которую впоследствии напечатал в русском переводе.

Однако было бы неверным полагать, что Пушкиным для него ограничилась, чуть ли не закончилась русская поэзия. Совсем напротив: он считал, что пушкинское творчество решающим образом способствует расцвету разнообразных дарований на прекрасно подготовленной почве. Правда, больших открытий оказалось, на его взгляд, куда меньше, чем ожидалось, но они были. Прежде всего — Лермонтов. Вяземский сразу оценил

его самобытность, непохожесть на Пушкина, «байронический» демонизм его поэзии, уверенное, не по годам зрелое владение стихом. И помог — вместе с Жуковским — появлению поэмы «Тамбовская казначейша» в «Современнике». Но радость была недолгой.

«...Дошло до меня известие о смерти Лермонтова, — записывал он в 1841 году. — Какая противоположность в этих участьях... Карамзин и Жуковский: в последнем отразилась жизнь первого, равно как в Лермонтове отразился Пушкин. Это может дать повод ко многим размышлениям. Я говорю, что в нашу поэзию стреляют удачнее, чем в Лудвига Филиппа: вот второй раз, что не дают промаха...»

Это сопоставление имени и судьбы Лермонтова с именами и судьбами самыми для Вяземского дорогими красноречивее любых восхвалений. Позже, когда некоторые критики попытались не сопоставлять — противопоставлять Лермонтова Пушкину, выискивая в младшем черты превосходства над старшим, Вяземский высказался более сдержанно и строго. Признал, что «у Лермонтова было великое дарование», но тут же добавил, что оно не успело достигнуть полной зрелости. Этот полемический мотив отнюдь не «отменял» прежних отзывов, лишь уточнял их. Когда-то он подобным образом «заступался» за Карамзина. Теперь — за Пушкина...

А «путь утрат» продолжался. Все меньше оставалось вокруг духовно близких людей. В 1844 году не стало Баратынского и Крылова. Годом позже — Александра Тургенева. Еще через два года — Языкова. Его дружество, сочувствие, готовность в трудную минуту придти на помощь уже почти никому не могут понадобиться. Разве что Гоголю, с которым они время от времени встречались, а в 1849 году даже ездили вместе в Остафьево — помянуть общих друзей, — который мучительно переживает духовный — и творческий — кризис.

Одним из первых — с Пушкиным и Жуковским — Вяземский заметил, выделил, полюбил этого писателя. Острое, парадоксальное мышление, неиссякаемая фантазия, редкостное в русской литературе гоголевское чувство юмора были ему родственны.

Вернувшись на царскую службу после «польской» опалы и тяготясь чиновничьей скукой в ведомстве Канкрин, Вяземский как-то посетовал: «Департамент не

владеет всем моим временем, но портит все мое время». Все же ироничная натура взяла свое — к противоестественному своему положению он отнесся с некоторым, если угодно, чисто писательским любопытством: «Если я мог бы увидеть себя в этой зале, одного за столом, читающего, чего не понимаю и понимать не хочу...»

И рассказал Жуковскому: «Вот сюжет для русской фантастической повести из чиновничьих нравов: чиновник, который сходит с ума при имени своем, которого имя преследует, рябит в глазах, звучит в ушах, кипит на слюне; он отплевывается от имени своего, принимает тайно и молча другое имя, например, начальника своего, подписывает под этим чужим именем важную бумагу, которая идет в ход и производит значительные последствия; он за эту неумышленную фальшь подвергается суду, и так далее. Вот тебе сюжет на досуге. А я по суеверию не примусь за него, опасаясь, чтобы не сбылось со мной». Написано это в 1832 году, задолго до первых из «Петербургских повестей». Но опознать в описываемом чиновнике своего рода двойника Поприщина, будущего героя «Записок сумасшедшего», не стоит труда, хотя там, конечно, многое иначе. Известно, что Гоголь «брал подарки» — сюжетами, изрядно перерабатывая и, так сказать, раскручивая их. В этом случае никаких свидетельств нет, хотя гипотеза соблазнительна. Любопытнее все же другое: родственность автобиографических фантазий Вяземского гоголевским фантазмагориям, как бы «предчувствие» писателя, до знакомства с которым — еще четыре года.

Повествуя Александру Тургеневу о «субботах» Жуковского, Вяземский то и дело писал о Гоголе. В апреле 1836 года: «В последнюю субботу читал он нам повесть о носе, который пропал с лица неожиданно у какого-то коллежского асессора и очутился после в Казанском соборе в мундире Министерства просвещения...» Четырьмя месяцами раньше, в январе: «Вчера Гоголь читал нам новую комедию «Ревизор»: петербургский департаментский шалопай, который заезжает в уездный город и не имеет чем выехать в то самое время, когда городничий ожидает из Петербурга ревизора. С испуга принимает он проезжего за ожидаемого ревизора, дает ему денег взаймы, думая, что подкупает его взятками, и прочее... Читает мастерски... Не знаю, не потеряет ли пьеса на сцене, ибо не все актеры сыграют, как он чита-

ет... У нас он тем замечательнее, что, за исключением Фонвизина, никто из наших авторов не имел истинной веселости...»

Сразу после премьеры он сообщал: «Я готовлю для «Современника» разбор комедии, а еще более зрителей».

Мысль написать не столько о самой комедии, сколько о зрителях, об их отклике на нее — поистине счастливая находка для русской критики. «Редко случается писателям нашим задеть публику за живое, касаясь предметов, близких к ней». А тут именно такой случай! «Чисто литературные споры почти всегда бесполезны, потому что в спорах об изящности художественного произведения трудно или решительно невозможно привести спор к решительному заключению». Так что есть резон миновать «печатную критику», не морщась от ее уколов, и обратиться прямо к зрителям, к общим толкам о комедии.

Первое: это не комедия, а фарс, не картина, а карикатура. С последним можно согласиться: «В *Ревизоре* есть карикатурная природа»... А где же ещё, собственно, ей и быть, если не в комедии! «...В природе не всё изящно, но в подражании природе неизящной может быть изящность в художественном отношении».

Второе: «Говорят, что язык низок. Высокое и низкое высоко и низко по сравнению и отношению: низкое, когда оно на месте, не низко: оно в пору и в меру».

Третье: все без изъятия персонажи комедии ничтожны и пошлы. Однако и это нисколько не противоречит природе, духу, традициям жанра. Достаточно вспомнить, что фонвизинского «Недоросля» играли при Екатерине, нещадно сокращая за счет «положительных» Стародума и Милона.

Четвертое: «Говорят, что *Ревизор* — комедия безнравственная, потому что в ней выведены одни пороки и глупости людские...» В таком случае естественно спросить: «Кто из зрителей *Ревизора* пожелал бы быть Хлестаковым, Земляником, Шпекиным, или даже невинными Петрами Ивановичами, Добчинским и Бобчинским? Верно, никто! Следовательно, в действительности, производимом комедию, нет ничего безнравственного». Прежде в русской комедии обязателен был резонер, который выходил на сцену и побеждал зло — словом, обличением. Или проигрывал, как Чацкий, — на сцене,

выигрывая, по мысли автора, в душах зрителей. Сочинитель «Ревизора» первым отказался от этой условной фигуры. Он одолевает в комедии зло оружием самой комедии — смехом публики. Это — его блистательное художественное открытие.

Вывод: «Условия искусства выдержаны, комик прав». Теперь читателям-зрителям предстоит поразмыслить самостоятельно, быть может, еще и еще раз отправиться на спектакль, вникнуть в авторский замысел, переменить, отсмеявшись, первоначальные, скоропалительные свои мнения о комедии. «Говорят, что в комедии Гоголя не видно ни одного умного человека; неправда: умен автор». Чтобы приблизиться к нему, понять его, надобно и самому поумнеть...

В том, что после сравнительного неуспеха первого представления «Ревизора» он вскоре стал — и остается поныне — одним из самых популярных произведений русской драматургии, есть и заслуга Вяземского-зрителя, Вяземского-критика.

Десять лет спустя еще более пылкие страсти разгорелись в печати и среди читающей публики вокруг гоголевских «Выбранных мест из переписки с друзьями». Мнение тех, кто наотрез не приняли книгу, даже возмутились ею, всего определеннее, пожалуй, выразил Белинский — в знаменитом «Письме к Гоголю».

Вяземский оценил книгу иначе, размышлениям о ней отвел вторую часть статьи «Языков.— Гоголь». Но заслуживает внимания и первая часть, посвященная творчеству только что умершего Языкова.

«В нем угасла последняя звезда Пушкинского созвездия, с ним навсегда умолкли последние отголоски Пушкинской лиры», — себя Вяземский, как видим, к созвездию не причисляет, отводит себе довольно скромную роль в поэзии пушкинской поры, хотя в этом с ним решительно были не согласны такие знающие толк в поэзии люди, как Жуковский или Баратынский. Подводя предварительные итоги сделанному уже «разрозненной плеядой», он вынужденно включается в разворачивающуюся полемику о народности литературы — народности, понятие которой он-то в русскую критику и ввел, используя польское «narodowość» (не предполагая, конечно, что давешний приятель его по «Арзамасу», ставший затем министром народного просвещения, С. С. Уваров включит удачно найденное слово в крае-

угольную триаду Российской империи: «Православие — Самодержавие — Народность»). Он отражает нападки на писателей — сверстников своих и современников, — благо, не впервой ему этим заниматься, выявляет абсурдность крайностей, очевидно, неизбежных в страстном споре. «Неужели Жуковский, который нам передает Гомера и еще греческим гекзаметром, а не размером песни Кирши Данилова, должен по части народности уступить ему в отношении к форме, а, например, Хераскову, творцу «Россиады», в отношении к содержанию... Разве Шекспир не тот же народный поэт в Англии, не та же литературная плоть и кровь ее в «Отелло» и в «Ромео», как и в других драмах своих чисто народных и туземно-исторических...»

Переходя затем к книге Гоголя, Вяземский прежде всего обозначает свою позицию. Ни один художник не застрахован от ошибок и заблуждений, от творческих неудач, наконец, говорить о которых с ним самим и с публикою — право и обязанность критиков. Гоголь в своей книге дал поводы к несогласиям, возражениям, спорам. Но, как ни были бы существенны недостатки, их «обличение» не должно перечеркивать всей книги, богатой глубиной мыслей, зоркостью наблюдений, острой пронизательностью суждений. Вяземского встревожила не критика как таковая, но, с его точки зрения, чрезмерная резкость оценок, жестокость высказываний, провозглашение книги чуть ли не «антинародною» по духу. Не только из близости к Пушкину объединил он имена Языкова и Гоголя в одной статье, но, думается, и затем, чтобы мысли о народности, высказанные в первой части, бросали отсветы и на часть вторую.

Когда Вяземский писал о «Ревизоре», он, выделяясь на общем журнальном фоне стилистической остротой и оригинальностью приема, был все же *одним из* критиков, вступивших за Гоголя перед публикою, не сразу понявшей и принявшей комедию. Не то с «Выбранными местами...» — тут он оказался *единственным*, кто принял сторону автора. Это различие очевидно, оно бросается в глаза — и заслоняет собою сходство между двумя разделенными десятилетием статьями. И сходство едва ли случайное — ничего подобного в критической прозе Вяземского больше нет. Он снова делает «разбор публики»: как она отнеслась к книге и почему именно так, не иначе. Тем самым критик ненавязчиво —

в подтексте — напоминает, что однажды она, публика, уже была несправедлива к Гоголю, ошибалась, да и не однажды, если не только о Гоголе говорить, вообще небезгрешна в отношении своем к писателям.

Говоря о книге, рождавшейся в мучительных сомнениях, являющей собою выход автора к незнакомым людям со словами выстраданными, искренними и беспощадными, прежде всего к себе самому и лишь потом — ко всему, чего коснулись взор и мысль его, о книге, которая по всему по этому поставлена автором на особенное, всем взглядам открытое место в своей творческой биографии, критик Вяземский в том и видит главное, решающее ее достоинство, что «...она есть выражение нынешнего образа мыслей автора, род суда его над самим собой и, следовательно, суда над многими, потому что он отразился во многих. Как ни оценивай этой книги, с какой точки зрения ни смотри на нее, а все придешь к тому заключению, что книга в высшей степени замечательная. Она событие литературное и психологическое. А у нас эти события редки. Мы истратились на мелочи, мы растерялись в дневных пустяках...»

Однако он далек от того, чтобы огулом отвергнуть все возражения и нелестные суждения о книге. Не скрывает, что и сам испытал неудовлетворенность при чтении. И находит, что Гоголь дал к тому повод — приняв неестественную для своего дарования «позу пророка» и сделав это, судя по всему, осознанно. Вяземский вряд ли мог не обратить внимания на писанное Гоголем о Карамзине, однако и без «подсказок» он уловил в «Выбранных местах...» отзвуки «Писем русского путешественника», автор которых тоже был искушаем соблазном «пророчествовать», однако не поддался ему...

Ну, а более всего «вина» книги Гоголя, пишет Вяземский, в том, что она — не та, какой ждали от Гоголя, зная прежние его произведения. Словно он лег спать автором «Ревизора» и «Тараса Бульбы», а проснулся сочинителем «Выбранных мест из переписки с друзьями». Тем спокойнее, неторопливей надо приглядеться к этой «истории внутреннего и постепенного перелома в понятиях человека», независимо от того — нравится этот перелом или нет. Но критики, взыскующие «народности», выступающие если не от имени народа, то во всяком случае из монополизированного ими сострада-

ния к нему, права на иное мнение, чем свое, обычно ни за кем не признают. Даже за художником, уязвимая душа которого в расчет не принимается. Не говоря уже о критике, которому, если он — князь Вяземский, смаху лепится ярлык — «аристократ в жизни и холоп в литературе». Есть от чего придти в недоумение: «Мы чувствуем и толкуем о независимости понятий, а в нас нет даже и терпимости».

Тут можно бы и остановиться. Но нет — Вяземский высказывает автору пожелание на будущее: «Пускай передаст он нам все нажитое им в эти последние годы в сочинениях повествовательных, или драматических, но чуждых этой исключительности, этого ожесточения... Гоголь во многих местах книги своей кается в бесполезности всего написанного им — это неверно. Писанное им не бесполезно, а напротив, принесло свою пользу...»

Дело, думается, сегодня не в том, чтобы указывать, где критик-современник был «исторически» прав, а в чем, как впоследствии выяснилось, ошибался. Это — хлеб нетяжелый. «Выбранные места из переписки с друзьями» с момента появления обросли множеством отзывов, анализов, оценок — и вместе с ними вошли в историю литературы (несмотря на большую часть нашего столетия, когда собрания сочинений Гоголя издавались «отретушированными» — без этой «реакционной» книги, лишь с фрагментами из нее). Вяземский отнюдь не стремился к тому, чтобы именно его мнение признали за непреложную истину. Но в одном был убежден, на том стоял: никакая критика и никогда не должна ставить рассматриваемое ею произведение выше судьбы живого человека — автора, гениального художника...

Это — его последнее выступление в печати. Оно «никому не угодило», начиная с самого Гоголя, вызвало яростные нападки. Но были и другие отклики, два из которых стоит привести.

Чаадаев, не пришедший, мягко говоря, в восхищение от книги Гоголя и во многом с Вяземским не согласный, писал к нему из Москвы: «Вам, вероятно, уже известно, что на нее здесь очень гневаятся, но что теперь ни скажут о вашей статье, она останется в памяти читающих и мыслящих людей, как самое честное слово, произнесенное об этой книге».

В 1856 году, когда страсти давно улеглись, предсказание получило подтверждение под пером Чернышевского: «По смерти Пушкина друзья его продолжали быть и друзьями Гоголя как человека и почитателями его таланта. Из этих людей двое, князь Вяземский и г. Плетнев, были журналистами, и оба очень верно понимали произведения Гоголя. *Все написанное ими о нем* (курсив мой.— В. П.) принадлежит к числу лучшего, что только написано о Гоголе...»

Дело было, разумеется, не в том, чтобы статью «угодить» кому бы то ни было — такого в мыслях у Вяземского не бывало. Однако реакция публики, в большинстве принявшей сторону его противников, отдавшей предпочтение эффектным филиппикам, а не обдуманному аргументу, подтолкнула его к выводу, что продолжение литературной борьбы в том виде, в каком вел ее до сих пор, бесполезно и уже не имеет для него смысла. Пожалуй, впервые он так отчетливо почувствовал, что устал. Несколько лет спустя в стихотворении «Литературная исповедь» скажет об этом, перефразируя излюбленные строки Озера:

**Журналов перешед волнуемое поле,
Стал мене пылок я и жалостлив стал боле...**

Когда-то Вольтер сказал, что тот, кто в молодости не был либералом, лишен сердца, но кто остался им в зрелые лета — лишен ума. В чем другом, а в уме Вяземскому отказать было трудно. Наблюдая и исследуя происходящие в душе и мыслях перемены, Вяземский не раз припоминал вольтеров афоризм. То вдруг раздражался в письме тирадою о жаре, запальчивости и резкости молодости — и о кладнокровии, самопознании, исторической бесстрастности «в летах опыта». То пытался объяснить: «Мои убеждения не изменились. Некоторые понятия преобразовались — так, но я, слава Богу, не дурак и не мономан (тут как не вспомнить пушкинское: «Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют». — В. П.), следовательно, и не могло быть иначе». И добавлял: «Могу ошибиться в своих мнениях, но никогда не могу стыдиться и краснеть за них, потому что всегда мои побуждения чисты и чистосердечны. Что нет уже во мне зеленого пыла, это правда; что смотрю на многое

глазами опытности, что во многом и во многих я разуверился — и это правда...»

Он и впрямь оставался верен большинству прежних своих убеждений. Никакие обстоятельства не были способны вынудить его не то чтобы к переходу на позиции противоположные, «на другую сторону», но даже и к тому, чтобы держаться «золотой середины» (как удавалось это без насилия над собою некоторым из его друзей, Жуковскому, например, или Александру Тургеневу). Однако жизнь ему выпала долгая: общественные настроения менялись, эпоха «левела», то, что двадцать лет назад считалось почти революционным, теперь — на новом фоне — выглядело консерватизмом. Правда, был в России влиятельный человек, думавший иначе и никаких конформистских сдвигов в Вяземском не замечавший — император Николай Павлович.

В 1849 году, впервые за долгую службу, Вяземский был пожалован орденом — Св. Станислава I-й степени. К известию этому он отнесся по обыкновению иронически: «Видно, что я устарел и что дух во мне укротился. Эта милость меня не взбесила, а разве только немножко сердит...» Правда, прежде он сам упорно уклонялся от подобного рода отличий, но и правительство на них не особенно настаивало. «Ордена в некотором роде похожи на детские болезни: корь, скарлатину, — продолжал он. — Если не перенесешь их в свое время, то есть в молодых летах, то можешь подвергнуться действию их на старости лет... Отличие, полученное мною, ни от кого меня не отличает, а, напротив, более прежнего записывает в число рядовых и дюжинных...» Награждение это не с какими-то заслугами связывалось, а было лишь данью традициям — и до исключительности явно запоздалой: едва ли удастся отыскать второй случай, когда бы столь родовитый аристократ, двадцать лет состоя на государственной службе, первую награду получил в пятьдесят семь! Тем не менее приходится «еще благодарить за это». И вот, отправившись выполнять «статью этикета», Вяземский сообразил, что не был при дворе с тридцать девятого, то ли с сорокового года! Случай невероятный: крупный чиновник и камергер двора прожил десять лет в столице, не бывая в Зимнем дворце. Очевидно нет нужды в более ярком подтверждении тому, что недоверие царя

к поэту, автору «катехизиса заговорщиков», так и не поколебалось. Справедливости ради, стоит добавить, что Вяземский и не пытался его поколебать...

Сороковые и начало пятидесятых годов — время, когда, как мы видели, собеседников и читателей у Вяземского оставалось все меньше, а его разлад с современностью становился все глубже. Разве что обращения к прошлому, плодом которых стали, в частности, мемуарные очерки и заметки, а также богатое собрание уникальных рукописей и документов, да еще поэзия — только они притупляли остроту одиночества. Но иногда оно одолевало, срывало с места — все равно куда, лишь бы ехать! Однако не так, как когда-то:

Не сидится мне на месте,
Спертый воздух давит грудь;
Как жених спешит к невесте,
Я спешу куда-нибудь!..

Нет, совсем не так. «Я скоро опять буду один на большой дороге, без цели для себя, без пользы для других...» Чуть позже — о том же — еще в одной «Дорожной думе»:

Опять я на большой дороге
Стихии вольной гражданин,
Опять в кочующей берлоге
Я думу думаю один.

Мне нужно это развлеченье,
Усталость тела и тоска,
И неподвижное движенье,
Которым зыблюсь я слегка...

Он словно бы поменялся ролями с пространством: оно движется, он покачивается, сидя на месте, погруженный в себя. И ничто не отвлекает, ничто не мешает предаться таящимся там, в глубине, воспоминаниям.

Мне все одно; обратным оком
В себя я тайзо погружен,
И в этом мире одиноком
Я заперся со всех сторон...

Он не бежит одиночества, а носит его с собой, в себе, охраняя от посторонних вторжений, — и возвращается мысленно к друзьям и событиям молодости, к образам, запечатленным в стародавних его стихах:

Когда я был душою молод,
С восторгом пел я первый снег;
Зимы предвестник, первый холод,
Мне был задатком новых нег.

Мне нравилась в тот полдень жаркий
Зима под сребренным венцом,
Зима с своей улыбкой яркой
И ослепительным лицом...

И вдруг как будто пробуждается в настоящем —
только чтобы запечатлеть щемяще-пронзительную перемену состояния:

В летах и чувствах устарелый,
Я ныне с тайною тоской
Смотрю, как вьется пепел белый
Над унывающей землей...

Это — тоска по самой жизни, обратившейся в снежный пепел... Мотив звучит и звучит, не отстает, повторяется, варьируясь, тоном выше или ниже, но неизменно — в миноре:

Теперь любимеся зимою,
Новинка в ней, приманка есть.
Потом замучит нас тоскою
И нам успеет надоеть

Своей красой однообразной,
Своей улыбкой ледяной,
Своей любовью неотвязной,
Своею верностью седой...

И снова — дорога:

Бесконечная Россия,
Словно вечность на земле!
Едешь, едешь, едешь, едешь,
Дни и версты нипочем,
Тонут время и пространство
В необъятности твоей...

Это пронизанные гулками «е» и «о» белые хорей, которые, кажется, вместе с рифмою утратили привычные резкость и четкость, стали протяжны — точь-в-точь, как воплощенные в них видение и состояние, не больно-то характерны для русской поэзии, склонной в таких случаях к ямба. Но вот из дремотной монотонности природы — и души — выхвачена и одним стремительным, уверенным движением написана кар-

тина — и хорей тут же становится сам собой: упругим, звенящим, рифмованным.

**Небеса, как купол медный,
Раскалмдсь. Степь гола.
Кое-где пред хатой бедной
Сохнет бедная ветла...**

Так все и останется, когда путник проедет, когда дорога его жизни оборвется...

Он и не подозревает, что до конца еще далеко, чуть ли не четверть века. Что он останется последней «звездой разрозненной плеяды», единственным хранителем ее наследия. И что лишь самую малость, каких-нибудь двух лет не доживет до открытия памятника Пушкину, до речей Тургенева и Достоевского, до новой вспышки этой звездной славы, им же первым предреченной: «Как мы многое отвергли из того, что перешло к нам от дедов, так и 20-й век, который уже не за горами, вероятно, отвергнет многое, чем мы ныне так щеголяем и гордимся. Нынешние, страстные нововводители будут в глазах внуков наших запоздалые старообрядцы. Как знать? Может быть, внуки наши, если помянут старину, то перескочат через наше поколение и возобновят прерванную связь с поколениями, которые нам предшествовали...»

Вяземский был уверен, что ему ничего не осталось в жизни, кроме воспоминаний. А ему предстояло еще одно испытание — короткая и на сей раз действительно последняя вспышка литературной и общественной деятельности, не имевшая, впрочем, шансов оказаться удачной...



Глава IX. Товарищ министра

Я не могу сказать, что старость для меня
Безоблачный закат безоблачного дня.

Вяземский. «Сознание».

Безгласность, низость, трусость, в которых погрязли все наши чиновники, неизменно... Каждый видит, что меры пагубны, но ни один из них не имеет духа отойти от зла, идти в отставку и протестовать добросовестно и в истинном смысле верноподданнически против направления, которое всех пугает...

*Из письма Вяземского к Жуковскому,
1844 год.*

Восемнадцатого февраля 1855 года умер император Николай Павлович. На престол взошел его сын, Александр Николаевич.

Завершилось сумрачное правление Россией на армейский манер, как сказали бы теперь, административно-командное. Оно пролегло и уместилось меж двух глубоких российских кризисов — выступлением декабристов и Крымской войной. И в обоих правитель обнаружил слабость, выдавая ее за твердость и решительность. Слухи о неестественности его смерти распространились молниеносно и мало в ком вызвали сочувствие к нему; версия самоубийства существует и по сию пору.

Известие о кончине Николая застало Вяземского за

границей и никак не нарушило его планов и образа жизни. Только в июле, воротившись в столицу, отправился он «представляться» новому государю — и получил предложение служить по министерству народного просвещения — товарищем, то есть заместителем министра, которым стал давний его знакомый, участник войны двенадцатого года А. С. Норов.

В том, что Александр II, воспитанник Жуковского, предложил ответственный этот пост ближайшему другу бывшего своего наставника, не было ничего необычного. То, что он знал Вяземского с детства, едва ли имело существенное значение. В отличие от отца, его готовили к царствованию с младых ногтей. Сентиментальные воспоминания тут были не при чем.

Отношение Вяземского к Николаю I, повторю, мало переменилось на протяжении тридцати лет. В середине сороковых годов он записал, что, если Людовик XIV сказал как-то: «Государство — это я!», то «кто-то другой (читай: нынешний глава России. — В. П.) с меньшим основанием мог бы провозгласить: «Анархия — это я!» Подобные высказывания, хотя и менее резкие по форме, нетрудно найти и среди записей, сделанных позже.

Все же в самые последние годы николаевского правления некоторое внешнее сближение Вяземского с правительством как будто произошло.

Ах, как хотелось бы, чтобы герой книги был безупречен и безошибочен — и не только был, но и выглядел таким, чтобы никогда не отставал он от того, что, как нам теперь доподлинно известно, было в его время самым передовым и прогрессивным! Увы, так не бывает. Движение долгой человеческой жизни неизбежно отклоняется от течения эпохи, убеждения человека, если не заимствуются они, а приобретены мыслью и опытом, меняются медленнее, чем господствующие в обществе идеи и настроения. И чем самостоятельнее, духовно независимее человек, тем меньше вероятность для него совпасть взглядами и оценками с теми, кто приходят на смену его поколению.

Это можно пояснить на простом примере. Для Вяземского, одного из первых и последовательнейших противников рабства в России, отмена крепостного права должна стать событием, открывающим неисчислимые возможности преобразования и развития страны.

Для поколения же, заставшего крепостничество уже на обессилевшем его излете, капиталистические отношения выглядят несколько не лучше феодальных, ибо тоже на социальном неравенстве основаны... Новое поколение нередко борется против того, что предшественникам представлялось шагом вперед и несомненным усовершенствованием.

Нечто подобное происходит и в литературе. Социальное происхождение Вяземского, его органическая связь с дворянской культурой поры ее высочайшего взлета, в чем была и его, никем не отрицаемая заслуга, не позволили ему беспристрастно понять и принять литературу, создаваемую разночинцами, революционными демократами. В них он увидел прежде всего разрушителей того, что почитал непреходящими ценностями: «Наше время, против которого нынешнее протестует, дало однако же России 12-й год, Карамзина, Жуковского, Державина, Пушкина. Увидим, что даст нынешнее...» Впрочем, вглядываться не особенно хотелось, да и неинтересно было. Такое будущее, ставшее теперь для него настоящим, не удовлетворяло. Он хранил верность дорогим именам, любимым книгам, мнениям, высказывание которых некогда было небезопасно — и литературно, и политически. И это сыграло с ним злую историческую шутку.

Раньше им было недовольно правительство. Теперь — литературное большинство, задающее тон общественному мнению. Равновесие одинокого человека между этими двумя силами крайне неустойчиво. Отталкиваясь от одного, Вяземский неотвратимо становился ближе к другому. Механизм этот был ему давно известен: вовсе не обязательно отрываться, уходить от большинства, довольно и того, если уйдет оно, убежденное в неоспоримой коллективной своей правоте, нередко оказывающейся мнимой, в том, что два ума, не говоря уже о тысячах, лучше одного, а прогресс, пусть даже механически понимаемый, дает моральное и интеллектуальное превосходство над предками.

«Странные бывают люди! — удивлялся Вяземский. — Есть, например, такие, которые на том основании, что они переносятся из места в место по железным дорогам, а Лейбниц и Вольтер медленно тащились по выбоинам и рытвинам в неуклюжих почтовых рыдванах, твердо убеждены, что они выше и умнее Лейбница

и Вольтера. При каждом удобном, а часто и неудобном случае, они на лету и с высоты высока своего смеются над этими жалкими недорослями, выражают презрение к минувшему времени, рисуются и любуются собою в настоящем. Как бы растолковать этим господам, что хотя век наш материально и обогатился многими изобретениями и вспомогательными средствами, но все же еще не дошел до того, что выдумал паровой аппарат, который придавал бы ума тем, которые ума не имеют...»

Этакая язвительность, понятно, не добавляет симпатий со стороны задетых ею.

Существенным образом повлияли на Вяземского и европейские политические события конца сороковых и начала пятидесятих годов.

Когда-то Вяземский считал примером и образцом для России французский и английский типы государственного устройства и правления. С тех пор он не раз и подолгу бывал в Европе. Его проницательный, трезвый взгляд распознал и отнюдь не положительные стороны сравнительно молодых еще буржуазных демократий. Он обнаружил, что «народовластие», о котором там так любят разглагольствовать, на поверку часто оказывается призрачным. Путь к реальной власти один — богатство. А чтобы удержаться у власти, правительства не брезгают ни махинациями и подтасовками при проведении «свободных выборов», ни ввержением народов своих в войну, ни силовым подавлением социальных и политических волнений.

От революции 1848 года он отшатнулся:

**Во имя равенства, свободы и любви
Вражда во всех сердцах и руки все в крови...**

В памяти его стояли образы Великой французской революции, завершившейся Террором, возникновением империи Наполеона, Аустерлицем, Двенадцатым годом...

Последние два года он прожил за границей — в Германии, Чехии, Австрии, Италии, Швейцарии. В политических путевых заметках его — впечатления от Дрездена, Карлсбада, Праги, Вены, Венеции и... предчувствие надвигающейся войны. Он сочувствует Италии, изнывающей под австрийским владычеством. Позже напишет:

**Авзонии пленительный язык
С тевтонскою грамматикой в разладе.
Как ни держи, немецкий материк,
Разлив лагун и южный пыл в осаде —
Напрасный труд! И сила здесь слаба:
Им на роду написана борьба...**

Политическое чутье не притупилось — равно как и поэтическое. словно бы в дисгармонии двух языков, насильственно друг с другом сведенных, услышал поэт нарастание освободительного движения итальянцев, близящиеся перемены в расстановке европейских сил.

Но больше всего Вяземский был обеспокоен судьбою России, прекрасно зная, что от бывшего могущества «победительницы Наполеона» мало что осталось, что неумелое николаевское правление ввергло ее в политический и экономический застой, привело на грань катастрофы. Он понимал, что политические лидеры европейских стран, осведомленные в российском положении дел, неспроста разжигают антирусские настроения, что это — прелюдия к войне, ждать которой осталось недолго.

В юности война виделась романтически окрашенным театральным действием. И возможностью испытать себя под пулями и ядрами. Теперь она — любая — братоубийство:

**Смешно и жалко видеть, как без цели
Мы портим жизнь, как братскую семью
Разбили мы на спорные артели
И тратим силы в родственном бою.
Есть на земле границы между нами —
В земле же все мы будем земляками.**

Перед лицом враждебно объединяющейся Европы Вяземский почитал долгом заступиться за Россию. Сперва импульсивно — стихами, торопливыми и чересчур «боевыми», потому оставшимися лишь бледными отголосками Жуковского — «Певца во стане русских воинов». И не достигающими цели — русскому читателю они были не нужны, а западному недоступны. И тогда он написал книгу публицистических статей «Письма русского ветерана 1812 года в восточном вопросе», фрагменты напечатал в европейской периодике, а целиком издал ее в Швейцарии по-французски, то есть «в оригинале» (русский перевод был сделан много позже,

после смерти автора — для Полного собрания его сочинений). В названии — намек на судьбу вторгшейся в Россию армии Наполеона. И предостережение тем, кто собираются подобным образом продемонстрировать свою военную мощь. Последовательно разбирая и отводя возводимые на его страну обвинения, в которых аргументы политически-временные представлялись как исторически-объективные, Вяземский логически вынужденно дошел и до «защиты» Николая I, служившего мишенью особенно ожесточенных нападок. Не то, чтобы он внезапно возлюбил своего монарха, которого дотоле приязнью не жаловал. Просто отдавал себе отчет в том, что, обрушиваясь на Николая, западные политики и пресса искусно подталкивают публику к обобщениям — и выходит, что имеется в виду не только, не столько человек, все худшие качества души и характера которого были Вяземскому ясны, но чуть ли не олицетворение России, персонифицированное в государе воплощение национального характера...

Правда, и заступаться можно по-разному! В числе главных заслуг непопулярного императора Вяземский называет... заботу о развитии российского просвещения, которое как раз при Николае и стало всё заметнее отставать от европейского! Ирония — для умеющих читать «междустрочно», для тех, кто раскроют его книгу в России: они сразу сообразят, что и все прочие похвалы и защитительные доводы на иностранцев рассчитаны, им адресованы.

Но в то же самое время, Бог весть какую инерцией ведомый, сочинил он и стихи, посвященные Николаю. Впервые за три десятилетия (потом будут еще — но лишь ритуально-придворные, «на смерть», а более — никогда). Это был промах. Тактические соображения, более или менее оправданные в публицистике, поэзии чужды, они — из другого рода мышления. Подобного обращения с собою она никому не прощает. Слова, предназначенные для прославления, звучали казенно, банально, тускло. Стихи вышли трескучими и пустыми. Верно, хуже он не писал никогда.

Справедливости ради, надобно сказать, что немногим лучше несколько примерно тогда же написанных за границей стихотворений, условно обозначая, «ностальгических», вроде «Масленицы на чужой стороне». Очевидные изъяны поэтической формы — верный при-

знак творческого кризиса, естественного — и мучительного — для всякого поэта. Создается впечатление, что, пытаясь его преодолеть, Вяземский подчас искусственно задавал себе темы для письма: внутренней потребности писать о Николае у него не было, острой ностальгии, тем более — связанной с чисто внешними атрибутами россияинства, всеми этими блинами да безрезками, не испытывал. Подобные опыты в поэзии безнадежны, провал неизбежен.

И все же это были слова — *дела* поэта. Объяснить их появление — не значит оправдать...

Впрочем, всего рассказанного — и только — было бы недостаточно для предоставления ответственной должности человеку, в государственной службе не поднаторевшему, к тому же, мягко говоря, не первой молодости, в возрасте, когда пора бы, дослужившись до высокого чина, выйти в отставку. Чиновников, чьи верноподданнические чувства выказывались и разнообразней, и убедительней, хватало и без Вяземского. Существовала, разумеется, куда более веская причина назначения именно его и именно в министерство просвещения.

За несколько лет до того предложили ему составить «записку» о цензуре. Положение литературы в России, незащищенность литераторов и журналистов от произвола людей случайных и некомпетентных, но несмотря на это (а возможно — и благодаря этому, о чем Вяземский, как уже упоминалось, писал) поставленных за благонадежностью литературы надзирать, издавна тревожили и возмущали Вяземского. В сороковых годах и без того неблагоприятные дела заметно ухудшились, времена наступили и вовсе мрачные. «Что за черная немочь напала на нашу литературу? — сокрушался он в письме к Жуковскому. — Кого убьют, кто умрет, кто не сможет преждевременно...» Если хотя бы немного ослабить цензурный гнет, литература вздохнет посвободнее, а там, глядишь, постепенно снова наберет силу, уже явленную прежде в ней Карамзиным и Пушкиным.

Вместо того, чтобы говорить о состоянии цензуры вообще, о пользе или вреде от ее существования в государстве, то есть о вещах, в сомыслие о которых вовлечь Николая I все равно не удалось бы, Вяземский взял тему более конкретную, задевающую адресата, считающего себя психологом, знатоком характеров, помыслов, способностей любого из своих подданных. Де-

скасть, не в цензурном уставе дело — в людях, приставленных блюсти его исполнение, в людях, подобранных и назначенных властями. «Общие, должностные цензоры наши большею частью люди темные, безгласные, малообразованные, чуждые обществу и не имеющие в нем ни значения, ни уважения. Кто не способен ни к какому другому роду службы, ...тот ищет цензорского места и часто получает его. В звание цензора поступают также люди, поверхностно знакомые с одною частью литературы, так называемые литераторы без имени, без дарования, и только потому, что они грамотнее других» (думаю, излишне подробно пояснять цель сего обобщения — Вяземский не хуже нас знал, что среди цензоров были, например, С. Т. Аксаков или И. А. Гончаров). Это — пагубное обыкновение. Такой цензор всегда предпочтет запретить то, в чем хотя бы слегка усомнился, а не разрешить. Потому что запрет безопасней: в худшем случае, пожурят за избыточную осторожность, да и то навряд ли; если же пропустишь сочинение, которое, не дай Бог, не угодит начальству, можно лишиться места. Словом, до литературы ли тут!

Ну, а «литераторы известные, с дарованием, не пойдут в цензора, потому что это звание слишком унижено в общем мнении».

«Записка» ничего не изменила. Вопросы же, в ней рассмотренные, что ни год, делались острее. Александр II, знакомый с мнением Вяземского, назначая его в министерство просвещения, тем самым предлагал заняться этими вопросами вплотную и самостоятельно: «литератор известный, с дарованием», сам изрядно претерпевший от цензуры, отныне получал ее под свое начало.

Все это опоздало на тридцать лет и пришло слишком поздно. У шестидесятитрехлетнего Вяземского был опыт, понимание обстановки, знание тех, с кем придется ему сотрудничать или сталкиваться, конкретная программа действий. Но не было ни прежней энергии, ни единомышленников, на кого смог бы уверенно опереться, ни — главное — времени для последовательного, ступень за ступенью, осуществления планов, которые тоже опоздали на тридцатилетие, если не больше. Наверстывать упущенное в молодости — дело безнадежное. Он оказался окружен младшими — и справа, и слева. *Возраст Вяземского* — вот что более всего обращало

на себя внимание, убеждало окружающих в бесплодности его попыток и неизбежности «возрастных» промахов. *Начинать* в его годы серьезную государственную карьеру было по тем временам делом совершенно немыслимым.

Вышедшим в середине века на авансцену политической и литературной жизни России революционным демократам Вяземский, друг Карамзина, Жуковского и Пушкина, бывший знаменитым литератором, когда большинства из них еще на свете не было, виделся осколком «давно минувших дней», а вся его деятельность — еще до начала — заведомо консервативной, ориентированной на безусловно любезный его сердцу день вчерашний.

Но и для высших правительственных чиновников он был и остался чужаком — состарившимся дилетантом от политики, чьи замыслы и суждения уместны были бы разве что в пору «дней александровых прекрасного начала», но не в правление Александра II, получившего в наследство от отца громоздкую, по-своему рациональную и отлаженную бюрократическую машину, предназначенную для... работы вхолостую, или почти вхолостую во всем, что не касалось обслуживания самой себя. Всякий, кто не был профессиональным чиновником, не ориентировался свободно в лабиринте кротовых ходов этой системы, был обречен ею — рано или поздно — на отторжение.

Спокойнее всего для Вяземского было бы оставить все, как есть: кто ничего не делает, не рискует ошибиться. Преклонные лета позволяли с достоинством отказаться от назначения, что никого не удивило бы. Если Вяземский согласился, то потому, что считал силы еще не вконец растраченными. Цель, которую он видел пред собою, придавала решимости.

Он начал с пересмотра введенных в незапамятные времена установлений и ограничений: «Цензура... должна судить не лицо, не автора, а только представляемое им сочинение». Ибо не надо долго искать примеров, когда одна лишь принадлежность сочинения перу «подозрительного» автора служила основанием для запрещения, либо — для бесконечной цензурной волокиты, бравшей писателя на измор.

Особенно сурово относилось прежнее правительство к славянофилам — мыслителям и писателям, углуб-

ленным в исследование национального духа российской культуры и истории, утверждавших исключительность пути развития России по отношению к любому из европейских государств. Казалось бы, властям, во всеуслышание провозглашавшим примерно то же самое, есть прямой резон всячески поддерживать это течение. Однако обостренным своим чутьем на опасность Николай I уловил, что из размышлений славянофилов А. С. Хомякова, братьев Киреевских, братьев Аксаковых умный читатель может сделать вывод о его, Николая, несостоятельности в управлении Россией: вместо того, чтобы вывести на просторную дорогу, он завел ее в тупик. Проповедуемые славянофилами просвещение и рост национального самосознания — идеи, не совместимые с принципами абсолютизма. Самодержавию духовная свобода подданных — нож острый!

Вяземский видел в суждениях славянофилов некоторые привлекательные стороны. К тому же среди них были, например, братья Киреевские, к кому он издавна относился дружелюбно. Однако в целом направление этого движения представлялось ему ошибочным. Вслед за Карамзиным, говорившим, что сначала мы — люди, а только потом — «земляки, областные жители», он не сочувствовал попыткам поставить национальное выше общечеловеческого, ни хотя бы вровень. Ни в общественной жизни, ни в литературе. Воспитанный культурой, в которой почиталось естественным, что «русский европеец», будучи в любой стране, — более «европеец», нежели кто-либо иной, он еще в 1824 году иронизировал над писателями, ставившими себе в особую заслугу «русскость» своих сочинений: «Хотя бы и не было никаких книг, кроме вашей *доморощенной*, то все не читали бы вас, милостивые государи! Пишите по-европейски, и тогда соперничество европейское не будет вам опасно и читатели европейские присвоят вас себе».

И много позже — о том же: «Лучшие писатели наши прежнего времени сами вскормлены были на чужих хлебах. Но они чужой хлеб перепекали в своей родной печи, прибавляли к ней муки своей, и мало-помалу пошли в ход и вошли в славу московские калачи и разные сдобные печенья».

Идея всякой национальной исключительности, говорит Вяземский, опасна, она «суживает умы», поработа-

ет, закрепощает своего носителя, искажает заданностью его отношение к миру, вредна, в конечном счете, именно для национального самосознания. «Национальность,— напоминал он как будто общеизвестное и бесспорное,— есть чувство свободное, врожденное: мы любим родину свою, народ, которому принадлежим, который наш и нас считает своими, по тому же закону природы, по которому любим себя, а в себе любим и семью свою, родителей, братьев, сестер. Захотеть же вложить это чувство в систему, в учение, в закон, это то же, что задушить его... Литературная ли национальность, политическая ли, принятая в смысле слишком ограниченном, ни до чего хорошего довести не может».

.. Не менее резкие возражения вызывали в нем нападки на европейские страны, противопоставление им — в самом выгодном свете — России, чуть ли не отрицание сколько-нибудь благотворного влияния европейской культуры на русскую. «Как пруссаки ненавидят нас, потому что мы им помогли и выручили из беды, так наши восточники ненавидят Запад. Думать, что мы и без Запада справились бы,— то же, что думать, что и без солнца могло бы светло быть на земле... Вот эти руссославы и ходят все кругом этого места, где таится клад, с припевами, заговорками, заклятиями и проклятиями Западу, а все ничего вызвать и осуществить не могут. Один пар бьет столбом из-под обетованной их земли. Эти руссославы гораздо более немцы, чем русские»,— не сдержав раздражения, записал Вяземский в 1847 году.

Даже очевидная необходимость просвещения народа — первейшее условие истинного освобождения — в том виде, как трактовалась она славянофилами, навела Вяземского на мысли в высшей степени скептические: «Выдумывать новое просвещение на славянских началах, из славянских стихий — смешно и безрассудно. Да и где эти начала, эти стихии? Отказываться от того просвещения, которое ныне имеем, в чаянии другого просвещения, более родного, более к нам приноровленного, то же, что ломать дом, в котором мы кое-как уже обжились и обзавелись, потому что по каким-то преданиям, гаданиям, ворожейкам где-то, в какой-то потаенной, заветной каменоломне должен непременно скрываться камень-самородок, из которого можно построить такие дивные палаты, что перед ними

нынешние дворцы будут казаться просто нужниками...»

От этих взглядов он не отклонился ни разу, до самого конца. Перед смертью, порицая проводимую «с позиции силы» политику России на Балканах, приведшую к войне с Турцией, Вяземский опять-таки намекнул на связь ее с идеями славянофилов, пусть чисто внешнюю:

**Идем, подобно Божьей каре,
Россию и за ней Европу всю поджечь,
Затем, чтобы Аксаков на пожаре
Славянофильское яичко мог испечь.**

В то же время он считал, что Николай I намеренно преувеличивал угрозу, исходящую от славянофилов, их шансы покорить общество своими идеями. И просто-напросто использовал удобным случай, чтобы оправдать суровость цензурных мер, да заодно и других мыслящих строптивцев утратить, не заботясь о последствиях: «Кто хочет страха, заводи его в сердце подвластного, но помни, что он поглотит все другие чувства». Власти, по Вяземскому, должны, ради собственной выгоды, действовать умнее и тоньше. Все, что основано не на разуме, но лишь на силе, непрочное и, как минимум, бесполезно.

«Эти притеснения, или излишние стеснения, могут именно возродить ту опасность, от которой думают отделаться прозорливостью цензурной строгости... Подозревая таких и таких-то писателей, правительство облекает их в политический характер и обращает на них общественное мнение. Самое молчание их полно смысла и значения... Позволительно в умеренной свободе излагать свои мнения, желания, даже и тогда, когда они не буквально согласны с общим порядком и ходом действительности... Взаперти всякий протест, даже в основании своем безопасный, крепнет и безмолвно вооружается...» Иначе говоря, результат получается не тот, на который рассчитывало правительство, но едва ли не противоположный.

«Наша письменность,— продолжал Вяземский,— даже и в тех приемах, которые наиболее пугают некоторых своею мнимой наступательностью, все еще далеко отстоит от общего изустного мнения. В самых резких выражениях своих она разве позволяет себе, или позволяют ей, говорить кое-что и кое-как о том, что у всех на уме и на языке и что говорится громогласно на всех

перекрестках обширного нашего государства. Можно, конечно, лишить ее и этого безобидного и весьма умеренного права, но какая будет польза от того и кому? Уж верно не правительству...» Такого рода высказывания, сделанные по видимости из охранительных побуждений, с приличествующими оговорками и осторожностью, но по сути радикальные — для литературной ситуации пятидесятых годов, — мало отличались от того, что говорил и писал Вяземский и десять, и двадцать, и тридцать лет назад. Однако на сей раз принадлежали они не притесняемому литератору, чьи критические эскапады ничего изменить были не в состоянии, а человеку, получившему как будто реальные возможности осуществить свои соображения, в частности, если не отменить вовсе, то преобразованиями ограничить влияние цензуры.

«Давно нужен был в Министерстве просвещения человек просвещенный, просвещенный в настоящем смысле слова, — писал к Вяземскому К. С. Аксаков. — Еще лучше, если этот человек сам — писатель; ибо для того, чтобы понимать писателей, нужно самому быть из их числа, нужно ценить те нравственные и умственные побуждения, которые рвутся облечься в слово, нужно ценить и мысль, и знания, и вдохновение, и порыв. Вот поэтому-то так рады все желающие света, что Вы заняли в Министерстве просвещения такое место». Вяземский откликнулся на просьбу, заключавшую это письмо, и сделал это тактически безошибочно: используя подготовленные им материалы, министр А. С. Норов вступил в «обычную» межведомственную переписку с шефом жандармов А. Ф. Орловым об отмене особого порядка цензуры для славянофилов — и вскоре Александр II дал на это согласие. Литераторы этого направления стали равны перед цензурой со всеми прочими писателями. И теперь, когда они могли, наконец, опубликовать залежавшиеся в столах сочинения, и согласие и полемика с ними приобретали характер гласный — единственно плодотворный в литературе.

Через месяц — в сентябре 1855 года — К. С. Аксаков прислал второе письмо, где между прочим сообщал: «Батюшка сердечно благодарит Вас за Ваше доброе, приветливое слово об его книге и поручает мне сказать Вам свое искреннее почтение. Он подготовил целый том «Семейной хроники и Воспоминаний», но цензура

приводит его в отчаяние, хотя в целом томе нет ни одного слова, подлежащего запрещению цензуры»... Здесь, признаться, несколько преувеличена «невинность» сочинения Аксакова-старшего: в русской литературе немного наберется книг, с такою спокойной убедительностью — в неторопливом описании жизни помещичьего семейства — изображающих крепостное состояние России. А дело происходит за шесть лет до освобождения крестьян...

Отчаяние бывшего цензора, а ныне преклонных лет почтенного писателя С. Т. Аксакова понять можно. Его наметанный глаз, конечно, различал не только «слова», но и целые страницы, над которыми, вероятно, нависнет, грозя вымарками, красными цензорскими чернилами набухшее перо. Ему ли не ведать о разнообразных проявлениях цензорской власти над писателем — той самой, с которой и в его, Аксакова, облике сталкивался в двадцатых годах поэт и критик Вяземский! Правда, властью той не упивался, даже пострадал за излишний либерализм — когда Николай, раздраженный «Европейцем», отставил от должности его, цензора, пропустившего журнал в печать. Роли переменялись. Отставной цензор ищет заступничества у бывшего «цензурованного». И находит: издание «Семейной хроники» препятствий не встретило...

Однако отдельные послабления, помощь тому или иному писателю не приносили Вяземскому особой радости. Он хотел большего. И понимал, что не добьется ничего, если не сумеет убедить Александра II в неотложности перемен решительных и необратимых. Хорошо зная «правила игры», он поступил в полном с ними соответствии.

В статье «Несколько слов о народном просвещении в настоящее время» он написал о том, что при Николае просвещение в России... стремительно развивалось, что расцвели университеты, что царь... покровительствовал литературе и поощрял лучших писателей.

Правда, некоторые факты и соображения, сопутствовавшие «похвалам» покойному государю, если вдуматься, выглядели довольно странно. И не безобидно. Скажем, то, что при нем экономические «сокращения» более всего затрагивали именно министерство народного просвещения — какой уж тут расцвет! Это, говорил Вяземский, все равно, что в земледелии экономить

на посевах! Да и отличия, раздаваемые литераторам, сильно смахивали на образцы, принятые в армии.

Такие невольно вызывающие скептическую улыбку упоминания попали в статью, разумеется, не случайно. Они — нескрываемое указание на то, что все написанное не в прошлое обращено, а в будущее: как сделанное, совершенное, названо то, что только еще предстоит осуществить. И подсказано: как изобразить предпринимаемые шаги следствием якобы последовательно, из правления в правление проводимой политики. Трудно ожидать от сына, чтобы он публично признал ошибки отца, которому наследует. Но можно надеяться, что Александр II поспособствует их исправлению, смягчению последствий, если ненавязчиво подвинуть его на это.

В прошлом к подобной тактике Вяземский обращался не раз. Например, когда, пытаясь склонить Александра I к отмене крепостного права на рубеже десятых и двадцатых годов, вместе с братьями Тургеневыми «подбрасывал» ему ссылку на указ Петра I — и возможность изобразить себя прямым последователем великого предка в этом деле. Или когда, стремясь умерить жестокость репрессий Николая I по отношению к участникам Польского восстания, перевел французскую статью, где факты, мягко говоря, действительности не соответствовали.

Как уже было показано, никакого успеха эта тактика не принесла. Но и близких к Вяземскому людей в заблуждение не вводила: они отлично разбирались в том, что из написанного им следует понимать буквально, а что — имея в виду «заднюю мысль».

На сей раз получилось наоборот. Александр II согласился на некоторые уступки и перемены — первые и дающие надеяться, что за ними последуют и другие, более существенные. Зато все написанное Вяземским в статье принял за чистую монету и резко ответил ему человек, за которого когда-то, четверть века назад именно Вяземский без колебаний вступился перед Николаем и Бенкендорфом. Иван Васильевич Киреевский. Напечатать возражения было невозможно. Киреевский послал Вяземскому письмо.

«...Мы надеялись, что те стеснения, которые у нас особенно в последнее время были наложены на развитие просвещения и словесности, будут, наконец,

сняты... И что же? Вместо этого нам объявляют, что правительство... «печется о просвещении, что словесность у нас процветает под его покровительством».

Ирония понята всерьез. Автор письма и мысли поначалу не допускает, что у Вяземского может быть какая-либо иная цель, кроме как высказать все, что на уме. Воспитанный в традициях публицистической, к самому широкому читательскому кругу обращенной журналистики, он попросту не воспринимает тех упорно бьющих в одну точку, конкретному «читателю» адресованных пассажей, что виртуозно были отработаны журналистикой пушкинской поры. Он судит о другом — по себе.

«Это пишете Вы в то самое время, когда... русская литература совсем раздавлена ценсурой неслыханною, какой еще не было примера с тех пор, как изобретено книгопечатание,— продолжал Киреевский,— когда имя Гоголя преследовалось как что-то вредное и опасное; когда Хомякову было запрещено не только печатать в России, но даже читать свои произведения друзьям своим; когда большая часть литераторов под опалю, или под запрещением, или под надзором полиции только за то, что они литераторы...»

Пусть перечисляемое уже отошло, либо на глазах — вот сейчас — отходит в день вчерашний. Что из того! Употребление настоящего времени взамен прошедшего — дело в публицистике обыденное.

А далее, не чувствуя чужой иронии, Киреевский выказывает, что ему самому это свойство ума вовсе не чуждо.

«Покойный император имел, кажется, много таких качеств, за которые его можно бы хвалить с уверенностью встретить общее одобрение и сочувствие. Но хвалить его именно за покровительство и сочувствие к просвещению и словесности, то же, что хвалить Сократа за правильный профиль...»

Здесь расхождение, пожалуй, значительней, чем кажется на первый взгляд. Судя по многолетнему отношению Вяземского к «покойному императору», он так и не обнаружил в том «много... качеств, за которые его можно бы хвалить». Ведь еще на исходе жизни Николая, впервые решив — по соображениям политическим — его поддержать, Вяземский выделил — среди прочих — для хвалы это самое качество, которого у им-

ператора не было вовсе: заботу о просвещении в России. Тем самым обозначалась — для понимающих — истинная цена и всех прочих отмеченных им «положительных качеств» Николая. И заодно он *демонстрировал вынужденность похвал*.

Киреевский с настойчивостью, достойной лучшего употребления, убеждает Вяземского в том, в чем тот несколько не сомневается. «Нет, покойный император никогда не любил словесности и никогда не покровительствовал ей. Быть литератором и подозрительным человеком, — в его глазах было однозначительно. Может быть, когда к. Вяземский будет писать свою биографию, и он расскажет кое-что в подтверждение моих слов... Особенно журнальная деятельность, — этот необходимый проводник между ученостью немногих и общею образованностью, — была совершенно задушена, не только тем, что журналы запрещались ни за что, но еще больше тем, что они отданы были в монополию трем-четырем спекулянтам... Один Булгарин с братиею пользовался постоянным покровительством правительства... Если Булгарин представитель просвещения и словесности России, то действительно они покровительствовались и поощрялись в его лице, или как приличнее назвать его персону...»

Киреевский не знал, что «биография» Вяземского, в сущности, уже написана. Это — «биография в письмах», которые князь Петр Андреевич ценил едва ли не выше всего, что ему доводилось писать в жизни. Письма для Вяземского — столь же средство общения с близкими людьми, сколь литературный жанр, требующий ничуть не менее тщательной и обдуманной работы, чем стихи или статьи. Отношение к письмам сближает его с писателями XVIII столетия — века расцвета эпистолярной литературы. Не случайно Вяземский не просто внимательно читал, но изучал письма Монтескье и Вольтера, Наполеона и Карамзина. Можно проследить его работу над письмами: как наброски, занесенные в записную книжку, схваченные на лету и бегло запечатленные мысли затем нередко повторяются, варьируются, словно разглядываемые с разных сторон, и, наконец, стилистически отшлифованными включаются в послания к Александру Тургеневу, Жуковскому или Пушкину. И тут же — сообщения о событиях и происшествиях, бытовые зарисовки, комментарии к литературным

стычкам, подшучивание над собою, лаконичные — в несколько строк — разборы написанного другими...

В письмах Вяземского жизнь внешняя всегда соотнесена с внутренней, автобиографичность не срывается ни в излишнюю исповедальность, ни в лукавство. Именно этот жанр давал ему ту свободу, которая позволяет писателю одновременно говорить и со знакомым адресатом, и с незнакомым читателем. Нельзя сказать, что писались они в расчете на будущую публикацию, но получались такими, что, будучи собраны вместе, выглядели в представлении автора книгою.

«Желаю и я, чтобы ты мои письма напечатал, — писал он к Александру Тургеневу еще в 1819 году, — не из личного хвастовства, а из народной чести. Далеко кулику до Петрова дня! Признаюсь, из любопытства хотелось бы дожить до этого времени; я думаю, на людях совсем другие лица будут. Но когда это случится? После дождичка в четверг...

**Русским быть и быть в свободе?
Но таких чудес в природе
Бог не силах сотворить...»**

Пусть пока эти письма надежно замкнуты в архивах, пусть барометр политической погоды в России должен высоко подняться, чтобы открылась возможность печатания таких писем, где, среди прочего, содержатся оценки николаевского царствования — резче не бывает! — проставленные при жизни царя, а не задним числом, как это делает Киреевский, — пусть... Главное — все написано, собрано, ждет своего часа.

Киреевский был знаком разве что с малою частью писем Вяземского и не мог, конечно, судить обо всем их содержании. Но вот другое было ему известно наверняка, когда писал о журнальной «монополии» и о Булгарине: никогда не было у Булгарина и журналов «торгового направления» противника непримиримее, чем Вяземский! Наивно полагать, что поэт, чьи эпиграммы на Булгарина пол-России знало наизусть, например, такую — сороковых годов, когда «знавший всех и вся» Фаддей Венедиктович, «сей корифей российской словесности», засел за мемуары:

**К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный.
В живых ни одного он друга не найдет;**

Зато, когда из лиц почетных кто умрет,
Клёмят он прах его своею дружбой грязной,—

что поэт этот вдруг взял да и сменил многолетнее свое мнение на прямо противоположное.

Автор письма, видимо, заподозрил-таки, что в высказываниях Вяземского «что-то не так». В последних строках он становится и осторожен, и мягок. Он ждет объяснений: «Вы знаете, многоуважаемый князь, что тому, кто владеет драгоценным камнем, грустно заметить на нем малейшую царапину. Уважение к тем необыкновенным людям, которых я имел счастье встретить в моей жизни, составляет мои драгоценные камни. Вас я знал с детства моего от лучших друзей Ваших, и через их глаза следил за Вами еще прежде, чем познакомился с Вами. Вот отчего теперь прошу Вас сердечно: помогите мне стереть царапину с моего драгоценного камня».

Судя по всему, это — последнее произведение Киреевского. Вскоре он умер. Более ста лет пролежало письмо в Остафьевском архиве и было отыскано и напечатано в наши дни историком литературы М. И. Гилельсоном.

Киреевский написал — в форме письма — страстную публицистическую статью. Аргументированную, язвительную, убедительную. И если он, некогда довольно близкий к Вяземскому и его кругу, так понял Вяземского, то могли ли понять его иначе люди пятидесятых-шестидесятых годов, никогда с тем кругом не соприкасавшиеся! Их позиция была однозначна: лстыть реакционной власти — неморально. Побуждения — добрые или злые — роли не играют, потому что ни в коем случае от такого правительства ничего хорошего ждать не приходится. Можно сказать, что с этого момента враждебность революционных демократов к Вяземскому определилась окончательно. Правда, Вяземского, похоже, это мало заботило.

Однако нам интересны и важны как раз побуждения — добрые или злые — к поступкам, место каждого поступка в цепочке событий биографии и литературной деятельности Вяземского. И сразу возникает сомнение: с мнением Вяземского ведет свой спор Киреевский, не с высказываниями ли, сделанными по соображениям, оставленным за пределами текста и потому лишаящим

полемику смысла? Прямых доказательств той или иной точки зрения здесь нет. Хотя как не вспомнить кстати утверждение самого Вяземского, что осуждение Николаем декабристов незаконно, потому что судил он их за умыслы, а не за деяния, за слова — как за действия.

Но попробуем все же, оставив пока в стороне сходство статьи Вяземского с его же прежними тактическими приемами и ходами, допустить, что Киреевский понял его точно, а не стал невольною жертвой недоразумения.

Тогда неизбежны вопросы, на которые необходимо ответить, чтобы косвенно подтвердить либо опровергнуть это допущение.

Во-первых, бросается в глаза едва ли не дословное подчас совпадение написанного Киреевским об отношении Николая к литературе и литераторам — с тем, что писал об этом Вяземский в записных книжках и письмах двадцатых, тридцатых, сороковых годов. Случайно ли?

Во-вторых, приходится повторить, за тридцать лет правления Николая, да и после, даже в глубокой старости, Вяземский ни разу не сказал о нем ничего, что хотя бы отчасти соответствовало статье (случай с «Письмами русского ветерана 1812 года», понятно, не в счет, он — того же ряда); суждений же противоположных более чем достаточно. Так где же он был «искреннее»: в беседах — устных и письменных — с ближайшими друзьями и наедине с собою, либо в статье, предназначенной прежде всего, если не единственно, для Александра II? Заодно — по аналогии — зададимся и таким вопросом: где был откровеннее Пушкин — в послании «Во глубине сибирских руд...» или в адресованных Николаю «Стансах»? И что «нравственнее»: не заботясь о последствиях (не для тебя одного имеющих значение), «резануть правду-матку в глаза» или, реалистически оценивая положение дел, обдуманном маневром попытаться достигнуть цели — помочь конкретным, живым людям?

В-третьих, с какой стати вся дальнейшая деятельность Вяземского «на стороне правительства» резко отлична от литературной политики николаевского времени и направлена на то, чтобы смягчить результаты ее пагубного действия?

Наконец, в-четвертых, почему он не ответил Киреевскому? Не нашел, что возразить?

Это он-то, чей полемический дар был признан всеми без изъятия современниками?

Вяземский положил полученное письмо в архив. Отвечать он не стал, хотя, верно, мог «стереть царапину с... драгоценного камня».

Когда-то он просил Александра Тургенева никому — даже друзьям — не говорить об истинном смысле намерений печатать в «Современнике» «политику историческую». Думается, и теперь, хотя бы и в личном письме, он сам не хотел выдать действительную цель того, что предпринимает. Рисковать впервые за долгую жизнь выпавшею возможностью помочь литературе, которая «совсем раздавлена ценсурой неслыханною», было попросту неразумно.

Он, пожалуй, несколько преувеличивал. Заметною, но не решающей была его роль в том, что Александр II пошел на уступки — перед этой неизбежностью его поставило стремительное развитие революционно-демократического движения в России. Попытки и дальше насильно и жестко ограничивать его были чреваты взрывом. И вели к полной изоляции от Европы, ко все большему отставанию от нее в политическом и, стало быть, экономическом отношениях. Это дошло, наконец, и до самых косных голов. Вопрос был не в том: уступать или не уступать? Но в том: когда это делать — раньше или позже? И в какой мере? — чтобы не потерять возможности влиять на ситуацию...

Для истории несколько лет — не срок. Иное дело — литература. Ее творят люди, и жизнь их коротка. Три или четыре лишних года неволи или свободы — существенно для человека, лишённого условий выражать свои мысли и чувства. Не говоря уже о том, что заблуждение — думать, будто достоинства хорошей книги не умалются, если сколько-то там лет останется она рукописью, что к читателю она всё равно не опоздает. Кто осмыслит и вычислит ущерб, нанесенный тем, что годами книги — написанные — как бы не существовали, что мысли, в них посеянные, не проросли в душах и умах?

Несколько «лишних» лет свободы...

Сохранились пометы Александра II на полях уже упоминавшейся «записки» Вяземского о цензуре. Из них видно, что он был склонен вдумываться в доводы

автора — и поддаваться, хоть и соблюдая известную осторожность, их весомости.

Старая «арзамасская» формула: «Быть представителем просвещения у трона непросвещенного», — от которой Вяземский во времена «Арзамаса» решительно отказался, теперь видоизменилась. У этого трона последний арзамасец готов был представлять просвещение, потому что трон, по его мнению, уже не был безнадежно непросвещенным.

Он утверждал в «записке», что в современной литературе нет «злонамеренных начал», а значит, и нет нужды в чрезвычайной бдительности. Александр не нашел, что возразить, только заметил: «Дай Бог, чтобы так было!»

«Не вижу пользы, — убеждал Вяземский, — при каждом движении прицеплять литературе тормоз, если впереди дорога гладкая. Тормоз хорош и необходим, когда в виду крутой скат или косогор; но теперь их нет». Читатель был настроен менее оптимистично, но высказался сдержанно: «Косогоры, к сожалению, есть».

«Для нас, в противность другим обществам, — гнул свое Вяземский, — опасность от приведенного в систему молчания пока гораздо пагубнее, нежели опасность от некоторого многоглаголанья».

«До некоторой степени оно справедливо», — признал император.

Чуть позже, развивая ту же мысль, Вяземский придет к выводу, видимая «охранительность» которого опять-таки обернется пользой для литературы, постепенным, но верным — и главное, «целесообразным»! — раскрепощением ее от цензурной зависимости. «...Умам дала движение не литература наша, — писал он, — напротив, в литературе слабо и поверхностно отзывается движение умов, пробужденных событиями, духом времени, победами науки и усиленную деятельностью нашей эпохи. Вопросы, вытесненные из печатной литературы, которая, несмотря на своевременные уклонения, невольно держится в берегах, определенных ей цензурным уставом, эти вопросы свободным разливом вторгнутся в рукописную литературу и в контрабандную литературу заграничных русских печатных станков. Никакие предохранительные и стеснительные меры полиции не будут в силах бороться с этим беспрестанно

возрастающим и напирющим злом. Она проникнет к нам, разольется у нас в тысячах видов. Русская литература перенесется за границу и, совершенно отрешенная не только от надзора, но и от влияния правительства, отрешится от собственного надзора над собою и бросится в крайности».

О поэте судят по словам. О деятеле — по делам. В первые два года пребывания Вяземского в министерстве просвещения было разрешено издание одиннадцати журналов. Причем таких разных — до противоположности — направлений, как западнический «Русский вестник» М. Н. Каткова и славянофильская «Русская беседа» А. И. Кошелева и Т. И. Филиппова. И не в том суть, что одни получали право выхода к читателю сразу, а другие не без сложностей, но в том, что подобного журналистского бума Россия давно уже не знавала.

При содействии товарища министра удалось издать, хоть и не полностью, сочинения умершего в эмиграции Мицкевича, чье имя в российской печати десятилетиями оставалось под запретом. А также выпустить более полно, чем прежде, сатиры Кантемира. Благодаря Вяземскому с меньшими цензурными изъятиями прошли в печать произведения Жуковского, Грибоедова, Голя...

К нему обратился П. В. Анненков, подготовив дополнительный, шестой — и наиболее сложный для издателя — том собрания сочинений Пушкина, уже намутившись с предыдущими томами под недреманным оком цензора Фрейганга. И цензор был заменен — на И. А. Гончарова.

Впрочем, это все понятно, когда речь — о писателях прошлого, память о которых в Вяземском, пережившем их, была жива и неизменна, образы которых обступали его всякий раз, когда приезжал он в Остафьево, где в числе желанных гостей и друзей своих принимал когда-то едва ли не всех талантливейших современников.

**Приветствую тебя, в минувшем молодая,
Давнишних дней прият, души моей Помпея! —**

писал он в 1857 году.

**Весь этот тесный мир, преданьями богатый,
Он мой и я его. Все блага, все утраты,**

Все, что я пережил, все, чем еще живу,—
Все чудится мне здесь во сне и наяву...

И далее:

Я слышу голоса из-за глухой могилы;
За милым образом мелькает образ милый...
Нет, не Помпея ты, моя святыня, нет,
Ты не развалина, не пепел древних лет,—
Ты все еще жива, как и во время оно:
Источником живым кипит благое лоно,
В котором утолял я жажду бытия.
Не изменилась ты, но изменился я...

Сюда возвращается он, «запоздалый гость другого поколения», побыть в прошлом, где бывал и счастлив, и несчастлив, но никогда не был так одинок, как ныне.

...Вдоль блещущих столбов прозрачной колоннады
Задумчиво брожу, предавшись весь мечтам,
И зыбко тень моя ложится по плитам.
И с нею прошлых лет и милых поколений
Из глубины ночной выглядывают тени.
Я вопрошаю их, прислушиваюсь к ним —
И в сердце отзыв есть приветам их родным.

Однако, более всего ценя литературу прошлого — давнего и недавнего, — Вяземский отнюдь не навязывал никому своих вкусов и пристрастий. Ни тогда — в критике, ни теперь, ставши, так сказать, лицом официальным. На издании современных книг они отражаться не должны. Запрет — не аргумент в споре. Равно как издание усеченное, исказившее авторский замысел. Надо сперва опубликовать написанное, а после можно и полемизировать с автором. Только в этом случае возражения могут стать во мнении читателей по-настоящему весомыми. Гласность — и ничто другое — способна и вразумить, и защитить писателя, который вольно или невольно дал повод «к превратному толкованию того, что хотел сказать». То есть участие читателя в судьбе сочинения, знакомство с профессиональными о нем суждениями, возможность поверить мнение и оценку, изложенные критиком, собственными впечатлениями.

Вяземский твердо держался этих убеждений. Скажем, представленные Салтыковым-Шедриним в цензуру «Губернские очерки» ему резко не понравились: он не принял ни яростно саркастического тона автора,

ни его манеры желчно высмеивать «все подряд», не видя, а возможно и не желая видеть ни малейшего просвета в окружающей действительности, причем самый смех в отличие, например, от гоголевского в «Ревизоре», выглядел чересчур злым и потому... не особенно смешным. Тем не менее книга вышла, быстро разошлась, и автор получил разрешение на второе издание. Не понравилась Вяземскому и поэзия Некрасова, о которой он отозвался весьма раздраженно, выразив даже неудовольствие «попустительством» цензора М. Н. Мусина-Пушкина. И опять-таки это не помешало появлению книги. А позже в письме к И. С. Тургеневу Некрасов сообщал, что Вяземский, повстречавшись с ним, сказал, что не будет возражать против переиздания.

Слухи об этих отзывах Вяземского распространились, докатившись аж до Герцена в Лондоне и чуть ли не затмив собою факт, что книги все же вышли. В номере «Колокола» от 1 июля 1857 года Герцен язвительно поинтересовался, «правда ли, что князь Вяземский... получил по почте свое собственное стихотворение «Русский бог» — стихотворение, не только непочтительное к богу, но и непочтительное к немцам, с прибавлением следующего куплета:

**Бог карьеры слишком быстрой,
Бог, кем русский демагог
Стал товарищем министра,
Вот он, вот он, русский бог?»**

О справедливости такого выпада читатель в состоянии судить самостоятельно. Вяземский же оставил его без внимания: ему со времен письма Белинского к Гоголю было не привыкать к выражениям «непарламентским».

Стоит назвать еще несколько книг, увидевших свет в пору «карьеры слишком быстрой» Вяземского. «Эстетические отношения искусства и действительности», «Очерки гоголевского периода», цикл «Сочинения Пушкина», принесшие широкую известность Чернышевскому, драматическая трилогия Сухово-Кобылина, «Рудин» Тургенева, стихи Фета, Огарева, Никитина. Каждая из этих книг стала событием в литературной жизни России и осталась заметною в ее истории.

Однако и это все, по мнению Вяземского, были

частности. Если вдуматься: то же цензурное всевластие, только наоборот, где вместо запрета — дозволение, то есть добрая воля вместо злой. Потому требовалось нечто более серьезное и принципиально иное: сделать писателя не зависящим ни от чьей личной воли. Не милости ему даровать, но правами наделить. Бесправие — не в отсутствии благосклонности начальства. Оно — в самой подчиненности не закону, единому и беспристрастному, а человеку, неизбежно подверженному субъективным симпатиям и антипатиям. Оно — в непредсказуемости судьбы сочинений и последствий для их автора.

Еще в двадцатых годах Вяземский пришел к выводу, что существующее положение дел, проводимая государством литературная политика неудовлетворительны и одинаково невыгодны обеим сторонам — и государству, и литературе. Теперь, став одним из тех, кто как раз и призваны эту самую политику определять и направлять, первым шагом к переменам он считал разработку и введение нового цензурного устава: прежний сковывает движение, к тому же оброс противоречивыми дополнениями, ограничениями, инструкциями и, по сути, не оставляет литератору шансов защитить себя и творчество свое. Тем более, что некоторые ведомства ввели и свои запреты писать без согласования с ними — об иностранных делах, например, или о торговых. Так что любая книга может быть не допущена к печати: соблюсти все требования, да еще в большинстве своем «секретные», писателю неизвестные, никто не в состоянии. Литература отдана на откуп чиновникам, то есть бесправна, причем невелика разница — хорош чиновник или плох. Потому что, как писал впоследствии барон М. А. Корф, развивая эти соображения Вяземского, «находясь по самому положению своему в непосредственном соприкосновении со всеми важнейшими вопросами дня и под неизбежным влиянием всех случайностей государственной жизни, он иногда невольно должен будет, более, чем следует, увлекаться к тому, чтоб действия свои в отношении литературы подчинять временным административным видам и законы о печати обращать в орудие к достижению разнообразных меняющихся целей. Никакие качества ума и характера и никакое внимание к делу не могут спасти государственного деятеля в таких обстоятельствах от

пагубных по своим последствиям ошибок... Произвол, непоследовательность, противоречия останутся, таким образом, ...характеристической чертой этой отрасли управления».

Тут любопытно припомнить давнее впечатление Вяземского, когда узнал он, что государь объявил Пушкину, что отныне он сам, Николай, будет ему цензором. Мы хрестоматийно привыкли считать, что решение это было крайне стесняющим, закабаляющим поэта. Однако все не так-то просто. Николай I не сам это придумал, его поступок был простым подражанием — старшему брату, Александру I. В 1818 году, когда Карамзин готовил издание первых восьми томов «Истории государства Российского», более всего тревожила его неотвратимость столкновений с цензурой — и нынешних, и особенно будущих, ведь в девятом томе предстояло рассказывать о чудовищном терроре, развязанном Иоанном Грозным. И тогда Александр сказал, что сам будет цензором «Истории...» Восемь лет спустя, узнав о смерти Карамзина и набрасывая в Михайловском заметки о нем, Пушкин пронизательно в этом разобрался: «...Государь, освободив его от цензуры, сим знаком доверенности некоторым образом налагал на Карамзина обязанность всевозможной скромности и умеренности». Вскоре, возвращенный Николаем из ссылки, он оказался в подобном положении, словно о себе писал. Но нет худа без добра: Пушкин воспользовался случаем, чтобы императорский «плагиат» стал логически завершенным. Если он хочет быть Пушкину тем же, кем Александр был Карамзину, почему бы и Пушкину не стать при Николае тем, кем был Карамзин при Александре! Историографом. И стал. Хотя, конечно, «высочайшая цензура» ему досаждала.

Современник — и друг — Пушкина думал иначе. Его занимало не сходство ситуаций, но различие. Одно дело — Александр, опекающий таким образом своего придворного историографа, «заказчик» — «исполнителя», к тому же и в мыслях не имеющий — сколь-нибудь вмешиваться в его работу. Совсем другое — Николай, вздумавший решать судьбу сочинений поэта, чья творческая свобода — по определению — не зависит ни от какой власти, кроме Божией. Вяземский возмутился — не самим фактом, а нравственным, — вернее, безнравственным — его смыслом. Если цензура, распростра-

ненная на всех писателей, несправедлива, безграмотна и бесосновательно мешает им, полагал он, то надобно ее отменить или хотя бы урезонить. А если не числится за нею этих грехов, тогда тем более непонятно, почему для кого-то одного делается исключение из общего правила. Несмотря на то, что в частном случае — для друга — это, быть может, и к лучшему. Сообщая Александру Тургеневу о том, что Пушкин получил «Бориса Годунова» от личного своего цензора, Вяземский комментирует: «Все бы таких цензоров. Увечий совсем мало...»

Новый цензурный устав должен быть четок, ясен, свободен от каких бы то ни было ведомственных притязаний — и не таиться от литераторов. Он и только он определит взаимоотношения писателя и государства.

Идея *гласности* цензуры взрывала основу основ ее: ставила под контроль общественного мнения. И давала писателю возможность, заранее видя препятствия, обойти их. Более того, в этом случае цензура обречена на отмирание: в том, чтобы содержать ее, нет смысла. Как исключение Николаем Пушкина из общего ряда цензуруемых, так и выделение писателей в обособленную от прочих граждан группу, введение для них особых «правил» — вместо единого для всех закона — есть нарушение их прав, нарушение закона. Если закон плох, следует отменить его или усовершенствовать. А если хорош, то исключения не нужны.

Запрет на ту или иную тему не может быть произволен, он мотивируется законодательно. Иначе говоря, «запретная» тема потому и запретна, что обратившийся к ней писатель преступает закон. И должен отвечать за это не перед цензором, а перед судом, — как и любой другой гражданин государства. И едва ли вызовет в обществе сочувствие, которое почти наверняка обеспечено ему, если сочинение не было пропущено в печать и осталось неведомым никому, кроме нескольких «должностных лиц»...

В конце 1857 года Вяземский возглавил «комитет для пересмотра старого и составления нового цензурного устава». Несколько месяцев спустя А. С. Норов прочитал «в заседании совета министров» составленную Вяземским с помощью Гончарова «записку о необходимости действовать цензуре в смягчительном духе». И в полемике с не утруждающими себя обдумыванием

услышанного, но более красноречивыми, чем он, ораторами потерпел сокрушительное поражение. Его не только не поддержали, но и сошлись против него во мнении, что цензура и так чересчур либеральна.

Вяземский с неудачей не смирился. Чуть позже — на первом заседании комитета — он выступил с новой запиской, в которой опровергал возводимые на литературу обвинения в злонамеренности и дурном влиянии на общество. По словам современника и свидетеля, цензора А. В. Никитенко; записка была составлена «умно и изящно изложена» и делала «честь князю Вяземскому по светлым идеям в пользу мысли и просвещения, которые он сумел вложить в нее», доказав тем самым необоснованность «мнения многих, будто он сделался простым аристократом-царедворцем, особенно Герцена, который беспощадно казнит его в каждом номере «Колокола».

Комитет оказался глух к голосу своего председателя, не пожелав ввязываться в разногласия с кабинетом министров, о чем настроении был, разумеется, слышан. А сил затевать в одиночку борьбу против всех у Вяземского уже не осталось — как и надежды на успех. Согласиться с «направлением, которое всех пугает», он не мог. У него «хватило духа отойти от зла»: в марте 1858 года он подал в отставку.

Впрочем, поэт и на сей раз опередил политика — уже несколько месяцев, как было написано:

**Я не рожден бороться с жизнью трудной,
Победный лавр цветет не для меня...**

Так почти сорок лет спустя вновь возникла из-под пера Вяземского тема одного из самых знаменитых стихотворений его — «Уныние». Но теперь — без романтического флера. Это — не томительно-смутные предчувствия, но трезвая готовность к подведению итогов:

**Уж подвиг мой окончен. Неудачен,
Хорош ли он? Здесь не об этом речь.
Но близок день, который предназначен,
И ношу дня пора мне сбросить с плеч.**

В этой неудаче Вяземского замечательно то, что он, кого считали и объявляли безнадежно отставшим от времени, еще раз, как вскоре выяснилось, опередил время. Уже следующий год стал годом начала цензурных

реформ, завершившихся в 1865 году прекращением деятельности Главного цензурного управления и... не принесших российской печати настоящей свободы. Отмахнувшись от предупреждений Вяземского об опасностях и сложностях, отказавшись от продуманного и предложенного им постепенного и естественного отмирания цензуры, да и просто промедлив с началом реформ, новые государственные деятели угодили во все подстерегавшие их ловушки. Отменив цензуру, они не позаботились о защите печати от министерств и ведомств, которые незаметно опутали ее множеством своих цензур...

В 1860 году, выступая на юбилее одного из государственных деятелей, Вяземский с горькою иронией сказал об успешно произведенном на нем самом опыте избавления от критика государственной литературной политики — о превращении «теоретика» в практика: «Как писатель я иногда жаловался на цензуру, но стал постоянно бояться ее и на нее жаловаться, когда она поступила в мое ведение. Сначала казалось мне достаточным смотреть в оба глаза за тем, что печатается; но вышло, что нужны особые два глаза и особые уши, чтобы следить за читателями, угадывать, как прочтут они то, что написано, и расслушивать разнородные суждения доброжелателей и публики. Немногие даже и между грамотными умеют читать. Есть такие читатели, которые от себя причитывают к прочитанному, так что часто эти причитающиеся проценты превышают самый капитал... Вместо того, чтобы цензуровать писателей и быть самому под прихотливою цензурою почтеннейшей публики, я мирно возвратился к прежнему моему ремеслу».

Это верно лишь отчасти — с поправкою на возраст Вяземского и общественную ситуацию в России. К активной литературной деятельности, которая принесла ему столько радостей и разочарований, он уже не вернулся. И от политики не то, чтобы ушел, скорее — отстранился, снова убедившись, что прав, еще в молодости сравнив себя с термометром, ограничился ролью наблюдателя — скептического и хорошо осведомленного в подоплеке происходящего и в устройстве государственного механизма.

Осведомленность эту он черпал, так сказать, из первоисточника. Расставание со службой вовсе не было разрывом с императорской семьей. Напротив, отношениям — особенно с императрицей — перестала быть

помехой официальность, они стали более дружескими и доверительными. Но, конечно, не только поэтому он был в курсе затеваемых Александром II реформ и преобразований. Император готовился к ним основательно, неплохо изучил историю вопроса, и, естественно, близость человека, издавна убежденного, что «революция сверху» — единственная возможность предотвратить катастрофическую «революцию снизу», когда туго затянутые узлы не распутываются терпеливо, а топором разрубаются, была ему на руку. Тем более, что этот человек в числе первых — еще сорок лет назад — самым серьезным образом занимался острейшей из российских проблем — разрабатывал программу отмены крепостного права. Его соображения на сей счет отнюдь не утратили актуальности и теперь, когда реформа не назрела — перезрела. Именно в том, что проводить ее приходится с чудовищным опозданием, Вяземскому чуялась наибольшая опасность: любой опрометчивый — поспешный — шаг чреват катастрофой. Но и медлить нельзя: спасу нет от тех, кто торопят, толкают под руку, полагая, что лучше всех знают, как надо. Любой, кто не согласен с ними — ретроград, реакционер, короче — враг: не их личный — всего народа.

Нетерпимость — плохой советчик, предостерегает Вяземский. И вспоминает рассказ Д. П. Бутурлина, чей отец был дружен с Н. И. Новиковым, у которого «вроде секретаря» был молодой человек из крепостных. Новиков дал ему «некоторое образование» и приблизил к себе, так что тот «при гостях всегда обедал за одним столом с барином своим». Однажды, приехав в гости, Бутурлин-старший заметил отсутствие этого молодого человека и спросил о нем, услышав от Новикова в ответ, что секретарь «совсем избаловался» и пришлось отдать его в солдаты.

«...Что же следует из этого вывести? — размышляет Вяземский. — Ничего особенного и необыкновенного. Поступок Новикова покажется чудовищным, а потому и невероятным нынешним поколениям либералов. Он и в самом деле неблагоприятен и бросает некоторую тень «на личность Новикова». Но в свое время подобная расправа была и законна, и очень просто вкладывалась в раму тогдашних порядков и обычаев. Дело в том, что можно быть передовым человеком по тому или другому вопросу, каковым был Новиков, например, по вопросу

печати и журналистики, и вместе с тем быть, по иным вопросам, строгим охранителем и сторонником порядков и учреждений не только нынешних, но и вчерашних».

Он не оправдывает — объясняет. Во всех случаях приходится иметь дело не с идеальными моделями и математическими схемами, а с реальными людьми и конкретными обстоятельствами — не только политическими, экономическими, но и психологическими. Не стоит отступать перед ними, но учитывать их необходимо.

Нелишне заметить, что для Вяземского, «выходца» из того же XVIII века, поступок, подобный новиковскому, был совершенно невозможен. Что не мешает ему оставаться объективным, не впадать в обвинительный тон. Это вообще характерно для него: не судить по себе, а чуть со стороны пытаться представить не то, как бы он, Вяземский, повел себя на месте другого, но то, почему другой повел себя именно так, не иначе.

«Новые порядки, — продолжает он, — дело хорошее и естественное явление в постепенном развитии общества (курсив мой. — В. П.). Но есть люди, которые хотят и требуют новых порядков во что бы то ни стало и не спрашивая, есть ли под рукою материалы и задатки для устройства новых порядков. Это лица такого рода, что они не усомнились бы взять на себя формирование конных полков в Венеции...»

В подобных условиях реформатор оказывается между молотом и наковальней. Между радикализмом «бури и натиска» лидеров общественного мнения — и пассивным, но твердым, тактически совершенным сопротивлением поставленной на тормоза бюрократической машины. Николай I говорил, что Россия управляема не им, а тридцатью пятью тысячами чиновников (которых, к слову, он же и расплодил в столь невероятном числе). Посмотрев «Ревизора», он заметил, что от Гоголя досталось всем, но более всех — ему. Имел он в виду при этом, думается, не столько городничего, сколько Хлестакова с его «тридцатью тысячами одних курьеров».

Открытая борьба против бюрократии не менее опасна для правителя, чем — против общества. Если не более. Александр II это понимал. Курьерское, виноват, чиновничье виртуозное владение искусством расщеплять, дробить любой вопрос на десятки и сотни вопро-

сов поменьше, так что после не собрать воедино, любой пустяк становится неразрешимым, — не самоцель, не бескорыстно. Есть что терять. В 1825 году Вяземский сделал выписку из французского издания: «...если произойдет постепенное освобождение народа, недалеко время, когда гражданская, военная и юридическая администрация России перестанет быть самой продажной во вселенной». С тех пор положение из десятилетия в десятилетие только ухудшалось. Если, конечно, было — куда. Теперь оставалось рассчитывать на то, что осуществление реформ приведет в конце концов к полной замене прежней системы управления новой, менее разветвленной и более действенной. Однако парадоксальным образом успех дела во многом зависел от усердия тех, кто в случае успеха, теряли все или почти все.

«Прежде, нежели делать ампутацию, должно промыслить оператора и приготовить инструменты, — писал Вяземский. — У нас хотят уничтожить рабство — дело прекрасное, потому что рабство — язва, увечье. Но где у вас врачи, инструменты? Разве ваша земская полиция, ваша внутренняя администрация готовы совершить искусно и благонадежно эту великую и трудную операцию? В этом заключается важность вопроса».

Долгих шесть лет пришлось потратить на подготовку к реформе. Ее опоздание еще более усугубилось. Последствия становились непредсказуемы. Стоит ли удивляться тому, что Вяземский не оставил нам восторженных откликов на главное событие 1861 года. Он тревожно ждал дальнейшего. И не ошибся. До взрыва оставалось меньше двух лет.

В ночь с 22 на 23 января 1863 года нападениями на царские войска началось восстание в Польше, вскоре охватившее Литву, Белоруссию и часть Правобережной Украины. В первый же день польский Центральный национальный комитет провозгласил себя Временным правительством, издал манифест и аграрные декреты, по которым крестьяне становились собственниками своих наделов, стоимость которых предполагалось позже компенсировать помещикам за счет государства.

Изрядно воодушевили повстанцев широкообещательные заверения Запада в экономической помощи и политической поддержке. Однако европейские страны вовсе не горели желанием доводить дело до вооружен-

ного конфликта с Россией. Предпочли наблюдать неравную, хотя и затяжную, схватку между восставшими и регулярной русской армией. К маю 1864 года восстание было подавлено. Правда, Александр II был вынужден после этого «узаконить» осуществленные поляками социально-экономические реформы и ускорить на более выгодных для крестьян условиях проведение реформы на прилегающих к Польше и поддержавших восстание национальных окраинах империи. В то же время было потеряно еще два года для общегосударственных преобразований, заторможено едва начавшееся движение.

Потому-то отношение Вяземского к Польскому восстанию 1863—1864 годов резко отличается от его же реакции на восстание, происшедшее тридцатью тремя годами ранее. Тогда он не видел иного выхода для поляков, кроме отчаянных, крайних мер в попытке вынудить Россию решать острейшие польские проблемы. Добровольных шагов Николая I в этом направлении ждать не приходилось. Ничего не оставалось, кроме как рисковать, делая центробежный бросок под лозунгом: «За вашу и нашу свободу!» Пусть риск не оправдался — можно было только посочувствовать проигравшим.

Теперь, все обстояло по-другому. Начатая Александром II реформенная «революция сверху» неизбежно должна была вот-вот распространиться и на Польшу, и на прочие нерусские земли, на всю страну. Причем «польский вопрос» считался одним из самых актуальных, первоочередных. Об этом Вяземский знал доподлинно. Порожденный нетерпением вооруженный конфликт только мешал мирному, политическому решению задачи. Толкал главу государства на действия решительные и крутые — ради спасения далеко рассчитанного плана преобразований, к осуществлению которого и без того препятствий было невпроворот. Противникам реформ это давало негаданную передышку.

Можно сказать, что «имперское мышление» на сей раз отчетливо проявилось не «сверху», а «снизу» — в непонимании уже понятого правительством: того, что нынешние перемены — не милость, даруемая «по магию царя», но единственная, в сущности, реальная возможность для власти избежать худшего. Опять же, как тут не вспомнить Карамзина: «Те, которые у нас бо-

лее прочих вопиют против самодержавия, носят его в крови и лимфе...»

Все это следует иметь в виду, чтобы уразуметь действительный смысл инвектив Вяземского по адресу восставших.

Однако противники его обратили внимание лишь на следствия — не на причины. Сравнили слова — со словами. Давешние призывы к отмене рабства (например, в «Негодовании») — с весьма сдержанным отношением к этому долгожданному событию. Сочувствие к польским повстанцам в тридцатых годах — с осуждением в шестидесятых. Сопоставить обстоятельства, разделенные тридцатью-сорока годами, они не потрудились. Да и едва ли смогли бы, — в отличие от Вяземского, не прожив, не пережив обе разительно несхожие эпохи.

Так возникло благополучно дошедшее до наших дней представление, будто Вяземский на протяжении жизни совершил крутой поворот: пришел в старости к явному противоречию с взглядами и мыслями своей молодости. Оно омрачило последние его годы разладом с современниками, прежде всего — литературными. Их выпады граничили с прямыми оскорблениями. Как, например, эпиграмма В. С. Курочкина, пародирующая пушкинское четверостишие:

Судьба весь юмор свой явить желала в нем,
Забавно совместив ничтожество с чинами,
Морщины старика с младенческим умом
И спесь боярскую с холопскими стихами.

Вероятно, в ту пору это звучало очень смешно. «Толпа... радуется унижению высокого...», — сказал Пушкин. Не было ни совмещения «ничтожества с чинами», ни «спеси», ни «холопских стихов» (не цитата ли из Белинского?) — «припечатывание» не снисходит до подобных «мелочей»! Что же до «ума», то эпитет сатириком выбран, прямо надо сказать, опрометчиво. Вступать в полемику такого рода унижительно. Разве что бросить реплику:

Мы действуем и мыслим с ними розно
Не потому, что нам обидна их вражда:
Беда не в том, что пишут слишком грозно,
А грязно пишут эти господа.

Почти не участвуя уже в литературной жизни, Вяземский по-прежнему пристально наблюдал за нею,

чутко и остроумно откликнулся на ее явления, чаще не на публику, для себя, но иной раз — и гласно. У него хватало скептицизма и на правительство, и на его противников: Верный ученик великого скептика и вольнодумца Вольтера, которого поминал:

Сфинкс, не разгаданный до гроба,—
О нем и ныне спорят вновь;
В его любви роптала злоба,
А в злобе теплилась любовь,—

он зорко подмечал уязвимые места в любой позиции.

Разумеется, революционные демократы не были бы собою — *революционными* демократами, если бы не выступали открыто против консерватизма, если бы не проявляли нетерпимости, нередко хватая через край, ко всему, что, по их мнению, реакционно.

Но и Вяземский не был бы собою, Вяземским, когда бы не раздражали его, не претили ему крайности, априорное отрицание всякого мнения, расходящегося с главенствующим, наиболее популярным в либеральных кругах и потому считающимся прогрессивным. Опасно, когда человек оценивается не по оригинальности мысли, не по самостоятельности слов и поступков, не по различию с окружающими, но по сходству, по принадлежности к тому или иному кругу и безропотному признанию истинным всего, что в этом круге говорится и пишется. И он высмеивает адептов этого, с позволения сказать, демократического централизма: «Уж если быть либералом, говорят они, то быть круглым либералом. Мы думали до сей поры, что только можно быть круглым дураком, а что круглых умников не видать. Человеческий ум не бывает со всех сторон правильно обточен, все же где-нибудь отыщется угловатость или зазубрина...»

Нет, как ни глянь, по меньшей мере нелепо судить о человеке не по личности его, а по партийной принадлежности: «Некоторые из наших журнальных корифеев как будто и не догадываются,— предполагает Вяземский,— что могут быть *умные консерваторы* и *глупые либералы*. По их легкомыслию, ...все консерваторы люди пошлые, все либералы народ умный, бойкий и на все способный...» Это — не апология консерватизма, но отстаивание права быть собой, отвращение к идеологической авторитарности, сводящей многообразие взглядов к примитивному набору ярлыков.

По Вяземскому, например, глупый либерал несравненно хуже глупого консерватора. Ибо глупость его *деятельна*.

Он сознательно утрирует, выдвигает на первый план симптомы наиболее угрожающие, считая своею обязанностью предостеречь от подмены одной несвободы другою. Потому что борьба за свободу ведется ради людей, ради каждого отдельного человека. И она теряет смысл, если хотя бы отчасти подавляется данная человеку от рождения свобода мыслить.

**Послушать — век наш век свободы,
А в сущность глубже загляни:
Свободной мысли коноводы
Восточным деспотам сродни.**

**У них два веса, два мерила,
Двойкий взгляд, двойкий суд:
Себе дается власть и сила,
Своих наверх, других под спуд.**

.
**Свобода, правда, сахар сладкий,
Но от плантаторов беда.
Куда как тяжки их порядки
Рабам свободного труда.**

**Свобода — превращеньем роли —
На их условном языке
Есть отреченье личной воли,
Чтоб быть винтом в паровике...**

.
**Скажу с сознанием печальным:
Не вижу разницы большой
Между холопством либеральным
И всякой барщиной другой.**

Даже такое бесспорное, казалось бы, демократическое завоевание, как гласность, извращается монопольными притязаниями на нее, превращается в средство подавления инакомыслящих не «справа», так «слева», то бишь «во имя общего блага», из лучших побуждений (но кто и когда признавался в худших?):

**Вы гласность любите, но в одиночку, с правом,
Чтоб голос ваш один руководил толпу;**

Но голосу других, драконовским уставом,
Нет места в гласности у вас на откуп.

Неволи худшей нет — свободы по заказу...

Гласность — не цель, но средство. Для чего? Велик
облазн объявить ретроградом всякого, кто задает «не-
удобные» вопросы:

Что так шумите вы?— Отстаиваем гласность.
— Бог в помощь вам; но шум и гласность не одно:
Цель гласности — привести дела скорее в ясность;
А в шуме истину расслышать мудрено...

Тем более, что шум этот нередко позволяет вы-
делиться, захватить лидерство отнюдь не самым умным
и толковым:

Лоб не краснеющий, хоть есть с чего краснеть,
Нахальство языка и зычность медной груди,
Вот часто все, что надобно иметь,
Чтобы попасть в передовые люди.

Весьма иронически относился Вяземский и к тому,
что нападки на строгость цензуры становятся тем ре-
шительней и многочисленней, чем более — при Алек-
сандре II— становится она снисходительней и сговор-
чивей. Чему подтверждением, кстати, и беспрепятст-
венно проходящие в печать антицензурные филиппики.
В обличительной чрезмерности он усматривал счастли-
вую возможность для посредственности обелить в чи-
тательских глазах свое творческое бессилие:

Пенять цензуре нам некстати:
Нам служит выручкой она,
За наши пошлости в печати
Она отвечает одна.

Теперь мы прячемся за нею,
И я за то ее люблю,
Что можем ей валить на шею
Несостоятельность свою.

Журналы ль скучны, пусты ль книги,
В очистку можем мы сказать,
Что под цензурные вериги
Должны мы ум поработать;

Что мы теперь, как Прометей,
К скале прикованные в плоть,

**Что жадно коршуны-злодеи
Терзают нашу мысль и плоть;**

**Что без цензурных притеснений
Собой мы удивляли б мир,
Что вы и я — под гнетом гений,
В тисках Вольтер или Шекспир.**

Провозглашенная революционно-демократической критикой кампания, чуть ли крестовый поход против «чистого искусства», агрессивное утверждение социальности, «гражданственности», пусть даже в ущерб эстетическому уровню сочинений, писательскому мастерству, — все это тоже не вызывало в Вяземском ни малейшего сочувствия. Но как ни огорчительно, что пострадала репутация таких поэтов, как Фет или Аполлон Григорьев, не говоря уже о молодых, вроде Случевского, вынужденного почти на два десятка лет уйти из поля зрения читателей, еще хуже то, что аргументированный литературный спор вытеснен бранной хлесткостью. Читатель, с которым говорят «от имени народа», которому клянутся в защите его, читателя, интересов, в конце концов поддается — и начинает верить не писателю, а критику, не произведению, а выжженному на нем журналистскому тавру.

**Вопрос искусства для искусства
Давно изношенный вопрос;
Другие взгляды, мнения, чувства
Дух современный в жизнь занес.**

**Теперь черед другим вопросам,
И, от искусства отрешась,
Доносом из любви к доносам
Литература занялась.**

Не слабее, впрочем, доставалось от него и стороне противоположной — официальной пропаганде, умалчивающей об истинных причинах российских неурядиц, все пытающейся объяснить — еще с Бенкендорфа начиная — и оправдать «естественными» трудностями перехода от неплохого прошлого к еще более светлому будущему:

**Идут ли впрок дела или плохо,
Успех, замывка ли в труде,
Все переходная эпоха
За все отвечает везде.**

Упившись этим новым словом,
Толкуем мы и вкривь и вкось,
Как будто о явленья новом,
Что неожиданно сбылось,

Как будто новая эпоха
С небес сошла на нас врасплох,
Но со времен царя Гороха
Непереходных нет эпох...

Займись Вяземский на старости лет, как нередко случается, исключительно ретушированием и ревностным обережением литературной своей репутации, наверняка преуспел бы в том. Даже, пожалуй, так могло сложиться, что самому для этого и делать-то почти ничего бы не пришлось.

«Дайте мне средства быть Вашим биографом,— просил Вяземского С. П. Шевырев в 1858 году.— Вы теперь старшее звено, связующее всю нашу литературу. Около Вашей биографии скуется вся наша словесность, за исключением разве Ломоносова да Кантемира».

Младшие современники охотно примирились бы с ним — в роли гласно почитаемого за былые заслуги патриарха, живого символа славных ушедших дней, эталонного «старика Державина», который, «в гроб сходя», благословляет их всех. Извлечь из долголетия подобные выгоды — дело нехитрое, проверенное. Чтобы собрать почести, недоданные всему своему поколению, как правило, достаточно олицетворить его, пережить, остаться последним. И дожидать, бронзовея. Однако роль подобного «памятника» была не по нему. К «праву на хрестоматийность» он относился иронически, сознательно разрушал образ «живого классика», забавляясь растерянностью маститых составителей учебных пособий, которые не могут ни подытожить, хотя бы предварительно, его творческий путь, чтобы не попасть впросак, ни обойтись без его стихов, давно укоренившихся в истории русской поэзии.

Кювье литературных прахов,
На них ссылается Галахов,
Чтоб тварям всем подбить итог,
И вносит их не для почета,
А разве только так, для счета,
Он в свой животный некролог.

Он много сделал и, конечно, заслужил покой. Но не желал им пользоваться.

**В вопросах дня, в шуму житейских треволений
Горячим был и он участником в борьбе,
Но не заискивал чужих страстей и мнений:
Он ошибаться мог, но верен был себе,—**

сказал Вяземский об одном из прежних литературных соратников. И строки эти вполне приложимы к собственной его судьбе. «Верность себе» не позволяла почитать на лаврах, добытых блистательным созвездием уже ушедших современников — старших, сверстников, младших, — направляла поступки и диктовала слова. Он не молодился, не охорашивался, сознавал малость шансов на успех:

**Верчусь в неправильном кругу
И средоточья не имею:
Быть молодым я не могу,
А старым быть я не умею.**

Он прекрасно понимал, что время его миновало, что пережил не только близких и друзей, но и читателей своих. И подчас ловил себя на том, что глядит на жизнь свою со стороны, как бы вчуже. «Поздняя старость имеет право говорить о себе в третьем лице. Старик в собственных глазах своих уже не я, а он». Если же подводить итоги, следуя примеру Горация или Пушкина, то получится нечто решительно не похожее на их «Памятники»:

**Лукавый рок его обчел:
Родился рано он и поздно,
Жизнь одиночную прошел
Он с современной жизнью розно.**

**В нем старого добра был клад,
Родник и будущих стремлений;
Зато и был он виноват
У двух враждебных поколений.**

**«Воздвиг я памятник себе!» —
Не мог сказать он, умирая...**

И еще, в тогда же писанных стихах, *не умея быть старым* и словно бы продолжая — от первого лица — диалог с предшественниками:

**Потомству дальнему народные скрижали
Об имени моем ничем не возвестят;
На дни бесплодные смотрю я без печали
И, что не славен я, в своем смиренье рад.**

**Нет, слава лестное, но часто злое бремя,
Для слабых мышц моих та ноша тяжела.
Что время принесет, пусть и уносит время:
И человек есть персть, и персть его дела...**

Очень небольшое из написанного Вяземский пытался публиковать. Не желал ни подавать лишнего повода для упражнений в остроумии равнодушным к поэзии критикам, ни входить в давно приевшиеся, удручающие столкновения с цензурой, пусть и либерализованной.

Но избежать этих стычек все же не удалось — хотя бы и посмертных. При издании Полного собрания сочинений были вымараны целые страницы не только из знаменитого «катехизиса заговорщиков» — «Негодования», не только из «Записных книжек» двадцатых — сороковых годов. «Красные чернила ценсора» добрались и до последних — самых личных и самых трагических стихов.

В день восьмидесятилетия Вяземский написал восемь строк:

**Все сверстники мои давно уж на покое,
И младшие давно сошли уж на покой;
Зачем же я один несу ярмо земное,
Забывтый каторжник на каторге земной.**

**Не я ли искупил ценой страданий многих
Все, чем пред промыслом я быть виновен мог?
Иль только для меня своих законов строгих
Не властен отменить злопамятливый Бог?**

Так писать о Боге никому не позволялось. И в последнем, двенадцатом томе, вышедшем через восемнадцать лет после смерти поэта, было помещено лишь первое четверостишие.

Оказалось, чтобы попасть в немилость к цензуре, вовсе не обязательно писать о политике, о положении в обществе, словом, быть в какой бы то ни было оппозиции к власти. Довольно и попытки откровенно говорить о себе наедине с собою и листом бумаги, писать свободно — как писал Вяземский лирику последних лет своей жизни...



Глава X. «Не поздно ли уж зачитался я?»

...Перед тем, чтобы вкусить вечный покой, хорошо бы каждому возвратиться домой, то есть в себя, и отказаться от света и ото всех житейских попечений и удовольствий.

Вяземский. Записные книжки

Средь волн, когда они прибоем
Разят его со всех сторон,
На них взирает он с покоем,
Но все не хладный камень он.

Вяземский. «Бессознательность», 1877 год

Кто из поэтов, доживших до старости, не сравнивал ее с закатом? И всякий раз — наедине с поэзией — мы словно не замечаем повторений. Потому что каждая прожитая жизнь неповторима, как единственные утро, полдень, вечер навсегда уходящего дня:

**И в светлом зареве прекрасного заката
Сил угасающих и нега, и тоска.**

Но и самый закат предстояло Вяземскому пережить.

**Жизнь сызнова начни: легко сказать, а трудно
Ткань новую заткать, и также мудрено**

Приняться вновь за цель, когда в лампаде скудно,
Чуть пламя теплится, а на дворе темно...

Старость выдалась долгой и тяжелой: болезни, отчуждение, видимость неудачи литературного дела всей жизни, когда написанное некому читать, ощущение распадающейся связи времен и поколений, из которого возникают безотрадные прогнозы на будущее, коих, по счастью, не проверить, потому что — не дожить. Попытки найти успокоение и равновесие там, где испокон веков принято, где искали — и находили — многие сомневающиеся, отчаявшиеся:

Вхожу с надеждою и трепетом в Твой храм,
Хочу я волю дать молитве и слезам.

Боец уязвленный, томлюсь я битвой дня:
В Твое убежище, в Твое упокоенье
Прими, о Господи, меня.

Такое уже с ним бывало. Впервые — в конце тридцатых годов:

Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье
Души, тоскующей в изгнании своем,
Святого таинства земное выраженье,
Предчувствие и скорбь о чем-то неземном...

Двадцать лет спустя повторилось — резко и с несвойственной Вяземскому экзальтацией:

Чертог Твой вижу, Спасе мой,
Он блещет славою Твоею,
Но я войти в него не смею,
Но я одежды не имею,
Дабы предстать мне пред Тобой.

О Светодавче, просвети
Ты рубище души убогой,
Я нищим шел земной дорогой:
Любовью и щедротой многой
Меня к слугам Своим причти.

И снова — никакого отклика в глубине души. Сознание не поддавалось самовнушению, не допустило самообмана. Попытку возместить слабость чувства громкостью голоса поэт признал провальной, ложной.

Теперь, как и прежде, все это оказалось блеклым, призрачным — при последней всеотрицающей вспышке вольтерьянства:

**Жизнь так противна мне, я так страдал и стражду,
Что страшно мне иметь за гробом жизнь в виду;
Покоя твоего, ничтожество, я жажду:
От смерти только смерти жду.**

Отсюда — всего полшага до того, чтобы возроптать, открыто отказываясь не только от какого бы то ни было утешения, но даже от надежды на него:

**Свой катехизис сплошь прилежно изуча,
Вы Бога знаете по книгам и преданьям,
А я узнал Его по собственным страданиям,
И где отца искал, там встретил палача...**

Эти строки можно вычеркнуть из книги, как сделал впоследствии цензор, но не из жизни поэта. И то сказать: человеку послабее хватило бы меньшего, чтобы впасть во мрак безысходности. У Вяземского было две спасительных опоры — поэзия и память. Судьба сохранила ему до конца ясность мысли и способность соединять слова в стихи.

Греческий мудрец сказал: назвать — значит познать, познать — значит преодолеть. Поэзия спасала Вяземского — помогала ему назвать и выразить переживания и чувства, ослабить разрушительное их действие на душу. А память была богатством, откуда мог черпать он сознание, что жизнь тогда истинна и полна, когда в ней нераздельно слито все: от радости до горя.

Хороший совет — тот, какому следует сам советчик. Вяземский поступал так, как советовал другим. Не писал стихов «на общие задачи», отдавал поэзии то, что «на уме и на сердце», и стремился передать «нам все найткое им в последние годы в сочинениях» поэтических. Что прежде щедро тратилось на письма, статьи, беседы — все теперь досталось стихам, только стихам. От журнальной деятельности он отошел окончательно, жил замкнуто, по большей части — вне России. А для писем не осталось адресатов.

В 1852 году в Баден-Бадене умер Жуковский.

**...Души моей другое достоянье,
Мой старший друг, которого приязнь
Как совесть мне была — добра сознание
И недостойного всего боязнь;
Который на меня свой отблеск пролил,
Которым я и горд, и счастлив был...**

В последние годы никак не удавалось им увидеться. Переписка не прерывалась, была потребностью для обоих, однако не могла заменить встречи. Жуковский из письма в письмо повторяет, что хочет, рвется приехать в Россию, но... то сам болеет, то жена, то дети, не получается. Он так долго, так истово собирается в путь, что, кажется, самого намерения ему довольно, что он опасается сдвинуться с места — и очутиться там, где, кроме последнего друга, Вяземского, все разбередит память об утратах — любви и друзей, что боится увидеть не свою Россию, не признать ее.

Не состоялась и встречная поездка Вяземского — даже тогда, когда опоздать — значило: не повидаться в этом мире:

**К нему и я летел душою жадной;
Но не сподобился увидеть я,
Как он в красе торжественно-отрадной
Свершал последний подвиг бытия...**

Ничего не остается — только наблюдать, как лучшие годы жизни, вместе со спутниками их, уходят все дальше в прошлое, отдаляются от него, становятся добычей историков и «хрестоматов», для которых он, Вяземский, не очень-то удобен — тем, что до сих пор жив. Пооди найди для него место в «ареопаге знаменитостей», если он все еще пишет, не сисясь угодить современникам, пишет свою «Литературную исповедь»:

**...Но что ни говори, а Плаксин и Галахов,
Браковщики живых и судьи славных прахов,
С оглядкою меня выводят напоказ,
Не расточая мне своих хвалебных фраз.
Не мне о том судить. А может быть, и правы
Они. Быть может, я не дослужился славы
(Как самолюбие мое ни тарабарь)
Попасть в капитул их и в адрес-календарь,
В разряд больших чинов и в круг чернильной знати,
Пониже уголок и тот мне очень кстати...**

Он как будто нарочно дразнит блюстителей классики этим естественным, без уловимого «следа работы» александрийским стихом, его обманчиво простодушною разговорной интонацией. Посмеивается над собой, над ними, над публикой, демонстрируя совершенное безразличие к чужому — нынешнему — мнению, эпатируя прозаизмами:

Почтенной публикой (я должен бы сказать:
Почтеннейшей — но в стих не мог ее загнать)—
Почтенной публикой не очень я забочусь,
Когда с пером в руке за рифмами охочусь...

Эта тема его забавляет, послушливая гибкость стиха доставляет удовольствие — не хочется экономить строки. Тем более, что подвернулась счастливая возможность лишний раз «кивнуть» на Вольтера, сослаться на его слова: «Едва выйдя из колыбели, я лепетал стихи...» И сделать это с иронической показною скромностью, потупив взор, чтобы смиренным видом скрыть озорство, которое «не к лицу и не по летам»:

И я бы мог сказать, хоть не с таким почетом:
«Из колыбели я уж вышел рифмоплетом».
Безвыходно больной, в безвыходном бреду,
От рифмы к рифме я до старости бреду.

За усмешкой, чуть подчеркнутой омонимическим созвучием, мудроно уловить — как и когда стихи, нимало не скучнея, становятся серьезны, затевают полемику с суждениями поверхностными и для поэта неавторитетными:

Доволен я собой, и по сердцу мне труд,
Когда сдается мне, что выдержал бы суд
Жуковского; когда надеяться мне можно,
Что Батюшков, его проверив осторожно,
Ему б на выпуск дал свой цензорский билет;
Что сам бы на него не наложил запрет
Счастливый образец изящности афинской,
Мой зорко-сметливый и строгий Баратынский;
Что Пушкин, наконец, гроза плохих писак,
Пожав бы руку мне, сказал: «Вот это так!..»
Но, впрочем, признаюсь, как детям ни мирволю,
Не часто эти дни мне падают на долю...

Тем более дорожит он последними уцелевшими, живыми напоминаниями о дальних, о своих временах:

...Но муза и теперь моя не на безлюдьи,
Не упразднен мой суд, есть и живые судьи,
Которых признаю законность и права,
Пред коими моя повинна голова.
Не выдам их имен нескромным наговором...—

это чтобы на них не распространилась немилость, опала, в какую угодил он у публики и критики. Однако нам нетрудно выяснить, кого он имел в виду.

Книгу Вяземского «В дороге и дома» издатель М. Н. Лонгинов выпустил, когда семидесятилетний поэт жил за границей и в составлении ее принял участие лишь тем, что по его желанию туда было включено несколько стихотворений, которые Лонгинов напечатать едва ли рискнул бы, опасаясь раздражения тех, кого стихи эти задевали весьма болезненно. Автор увидел собственную книгу двумя годами позже. И тогда же послал ее «судьям», приложив стихи:

**Вам, двум, вам, спутникам той счастливой плеяды,
Которой некогда и я принадлежал...**

Он обращался к Петру Александровичу Плетневу и Федору Ивановичу Тютчеву. Правда, допустил здесь одну неточность и несколько лет спустя сделал поправку, о которой — чуть позже.

С Плетневым Вяземский познакомился в начале двадцатых годов — общими друзьями их были Жуковский, Пушкин, Дельвиг, Баратынский. Все, что ценил в людях взыскательный к своему окружению Вяземский, нашел он в Плетневе: ум, бескорыстие, верное служение литературе, вкус. Однако в первые лет пятнадцать их отношения были ровны, дружелюбны — и не особенно тесны: скорее — доброе знакомство, чем дружба. Сближение началось потом — после гибели Пушкина, когда Вяземский помогал Плетневу издавать «Современник». И длилось — по мере того, как все уже становился круг современников и «совместников».

В 1866 году в некрологе «Памяти Плетнева» Вяземский писал: «Заслуги, оказанные им отечественной литературе, не кидаются в глаза с первого раза. Но они отыщутся и по достоинству оценятся при позднейшей разработке и приведении в порядок и ясность действий и явлений современной ему литературной эпохи».

И добавил: «С Плетневым лишился я последнего собеседника о *делах минувших лет*. Есть еще у меня кое-кто, с кем могу перекликаться воспоминаниями последних двух десятилетий. Но выше эти предания пресекаются...»

В той же статье он сказал и о Тютчеве — по поводу цитированных стихов: «Сочетание двух приведенных имен не совершенно соответствует хронологическому порядку. Тютчев не принадлежал к первоначальной на-

шей старине. Он позднее к ней примкнул, но он чувством угадал ее...»

Вяземскому обязан Тютчев появлением своих стихотворений в «Современнике» еще при жизни Пушкина.

Эти стихи летом 1836 года передал Петру Андреевичу князь И. С. Гагарин, друг служившего тогда в Германии Тютчева и родственник В. Ф. Вяземской. Несколько дней спустя он заехал к Вяземскому и застал у него Жуковского; оба с видимым удовольствием читали тютчевские стихи. Тут же решили передать некоторые из них Пушкину — для публикации. Это сделал Вяземский. В третьем томе «Современника» напечатано шестнадцать стихотворений Тютчева.

Заочная приязнь стала вступлением к дружбе. В сороковых годах имя Тютчева все чаще встречается в письмах Вяземского. «Я очень рад здесь Тютчеву, — писал он в октябре 1844 года к Александру Тургеневу. — Разговор его возбуждает вопросы и рождает ответы, а разговор многих других возбуждает одно молчание».

В январе следующего года повторил: «Тютчев... один умеет расшевелить меня и дергать за язык».

Чуть позже поделился с Жуковским: «Одно мое здесь литературное сочувствие и вообще приятное развлечение — это Тютчев, который очень умен, мил, мягок и общежителен в обращении».

Они постоянно виделись в столице, вместе бывали за границу и никогда не скучали друг с другом. «Литературное сочувствие», проявленное Вяземским при первой встрече с поэзией Тютчева, стало вполне взаимным. Что, понятно, не означает согласия всегда и во всем, вовсе не исключает разных ответов на один вопрос. Бывали и «добрые ссоры», которые оба предпочитали «худому миру». Повод к одной из них дал М. Н. Катков, который в редакционных статьях «Московских ведомостей» страшил читателей призраком революционной опасности, призывал правительство к репрессиям против «левых» — во имя спасения России, не больше и не меньше.

Спорить, тем более ссориться с влиятельным журналистом подобного толка, то есть прибавлять к вражде «слева» недружелюбие «справа», было нерасчетливо, но:

**Сединам в бороду навстречу,
Знать, завсегда и бес в ребро:
Как скоро глупость где подмечу,
Сейчас зачесется перо.**

Вяземский презрительно относился к этой «позе спасителя», не без аффектации принятой журналистом-издателем, в молодости придерживавшимся воззрений едва ли не противоположных, к самоуверенности обладания истиной в последней инстанции. И написал стихотворение «Хлестаков», адресат которого был безошибочно узнаваем:

**Патриотизма мы не знали,
Его он первый изобрел.
Все крепким сном в России спали,
Но разбудить он нас сумел.**

.

**Все это вздор, но вот что горе:
Бобчинских и Добчинских род,
С тупою верою во взоре,
Стоят пред ним, разинув рот...**

Тютчев, сотрудничавший с катковской редакцией «Русского вестника», счел, что Вяземский чересчур резок, несправедлив, тон его обиден. И откликнулся — стихами:

**Когда дряхлеющие силы
Нам начинают изменять
И мы должны, как старожилы,
Пришельцам новым место дать,—**

**Спаси тогда нас, добрый гений,
От малодушных укоризи,
От клеветы, от озлоблений
На изменяющую жизнь...**

**Ото всего, что тем задорней,
Чем глубже крылось до сих пор,—
И старческой любви позорней
Сварливый старческий задор.**

От чужой несправедливости он защищает Каткова... свою: утверждать, что пафос «Хлестакова» глубоко «крылся до сих пор» в Вяземском, — по меньшей мере, неточно. То же раздражение поэта сказалось, очевидно, в записи его дочери, Е. Ф. Тютчевой: «...Натуры столь колючие, как Вяземский, являются по отношению

к новым поколениям тем, чем для малоисследованной страны является враждебно настроенный и предубежденный посетитель-иностранец».

Стихотворение едва не было напечатано, но автор вовремя спохватился — по его требованию оно было вырезано из издания 1868 года. Публикация, да еще с трехлетним опозданием, вывела бы столкновение за пределы литературы, сделав его публичным. «Повод» того не стоил. Тем более, что стихи на ту же тему были раньше, еще в 1861 году, написаны... самим Вяземским. И помещены в книге «В дороге и дома» под названием «Старость», с эпиграфом из Вольтера: «Кто не соответствует духу своего возраста — испытывает все бедствия этого возраста». Тютчев их читал.

**Беда не в старости. Беда
Не состариться с жизнью вместе...**

.

**Вольтер был прав: несчастны мы,
Когда не в уровень с годами,
Когда в нас чувства и умы
Не одногодки с сединами.**

Конфликт угас сам собою. «В старости ищешь не того, что разъединяет, а того, что обобщает», — сказал Вяземский.

У них изначально было немало общего во взглядах на поэзию, в отношении к ней. Достаточно упомянуть отстаивание Вяземским права «поэзии мысли» существовать наряду — и наравне — с «поэзией чувства». Или — отказ от крупных форм, вроде поэмы, от вещей повествовательно-сюжетных, предпочтение, отдаваемое лирическому стихотворению, движение которого неторопливо и явственно обозначает многослойность мысли, богатство ее оттенков. Десятки лет спустя эта общность едва не обернулась курьезом.

В начале девятисотых годов в подготовленном к печати собрании стихов Тютчева обнаружился отрывок стихотворения Вяземского, уже опубликованного полностью в его собрании сочинений, — «Фотография Венеции». Можно только гадать, как оказался листок в тютчевском архиве. Вероятно, поэт своею рукой переписал понравившиеся строки друга. Так было, иначе ли — не существенно. Любопытней другое: стихи эти вовсе не показались составителю «посторонними».

Приметы сходства между ними уже обращали на себя внимание и отмечались. Они были явны и самим поэтам. И даже подчас слегка подчеркивались ими — как, например, в стихах Вяземского, обращенных к Тютчеву:

**Твоя подстреленная птица
Так звучно-жалобно поет,
Нам так сочувственно певица
Свою тоску передает,**

**Что вчуже нас печаль волнует,
Что, песню скорби возлюбя,
В нас сердце, вторя ей, тоскует
И плачет, словно из себя.**

**Поэт, на язвы злополучья
Ты льешь свой внутренний елей,
И слезы перлами созвучья
Струятся из души твоей.**

Меньше повезло оборотной стороне сходства — полемике, разноголосью. Кроме, разве, случаев очевидно «прикладных», вроде «катковского». Тут многое остается незамеченным по сей день. Такой, скажем, отзыв Вяземского на бесчисленно цитируемое «Умом Россию не понять...»:

**...Нам чужды общие законы и преданья,
Не от Адама мы ведем свой род и век;
Днем равьше или днем позднее мирозданья
Был создан русский человек.**

До угрюмства серьезная формула не подправлена, скорее приправлена — иронической улыбкой...

В написанном за год до смерти стихотворении Вяземского есть строфа:

**Мы, как тростник под ветром, гибки,
Под нами почва не верна,
Мы впечатлительны и зыбки,
Как мимотечная волна...**

Он еще раз — напоследок — перекликается с поэтами, сопутствовавшими двум половинам жизни его. Связывает пушкинское:

**...И облачком зефир играет,
И тихо зыблется тростник,—**

и тютчевское, к Паскалю восходящее:

Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник?

Последние десятилетия Вяземского — череда расставаний, неизбежность которых — слабое утешение. «Человек в течение жизни своей обречен Провидением на утраты, от которых он более или менее беднеет... Но когда заживешься на земле, когда зайдешь так далеко, что все товарищи твои, кто ранее, кто позднее, от тебя отстали, когда чувствуешь, когда убедишься, что новых уже не нажить, что пора приобретений миновала, а настала пора окончательных недочетов, и наконец разочтешься с последнею утратою, тут и очутишься ничим...»

В середине пятидесятых годов поверилось было ему, что изрядно поредевшее окружение хоть немного пополнится — амнистия Александра II возвратила из изгнания уцелевших декабристов. Но «сибиряк» Иван Иванович Пущин уединился в Бронницах, вдалеке от столицы. А «европеец» Николай Иванович Тургенев пробыл в России всего несколько месяцев и, кажется, не без облегчения воротился на виллу свою под Парижем.

Заграничные поездки тоже не прибавляли желанных собеседников и мало что могли изменить в его настроении. Когда-то он встречался во Франции с Ламартином, просившим у него для перевода стихов Пушкина, или с политическим эмигрантом Мицкевичем, в Италии — со знаменитым романистом Мандзони... Теперь даже в любимейшем из городов — Венеции

И мокрое небо, и мутное море
На мысль и на чувство унынье наводят...

Не было дано ему и такого естественного умиротворения, как старость в семейном кругу. Круга не существовало. Единственный из его детей, доживший до зрелых (и преклонных) лет, — Павел Петрович, в отрочестве получивший пушкинское напутствие:

Душа моя, Павел,
Держись моих правил...

Нечастые встречи с сыном вносили оживление в душу медленно угасавшего поэта. Они были единомыш-

ленниками. Павел Петрович продолжил многое из начатого отцом. Да и собственная его деятельность заслуживает быть отмеченной в истории отечественной культуры.

Вяземский-младший — один из первых исследователей «Слова о полку Игореве», основатель и председатель Общества любителей древней письменности, куда входили такие ученые, как Ф. И. Буслаев и В. О. Ключевский: трудами этого Общества было положено начало систематическому собиранию и изучению памятников древнерусской литературы. Он подготовил и издал два тома материалов к биографии Пушкина — по документам Остафьевского архива — и часть собственного архива. Он не был профессионалом, но его просвещенное любительство достойно уважения, он любил то, чем занимался, и умел увлечь других. Не унаследовав поэтического дарования, но выросший среди людей, весело творивших серьезное дело литературы, он был остроумен, ироничен, склонен к стихотворному экспромту и литературному розыгрышу, мистификации, иной раз блестящей, как, например, написанное им «стихотворение Лермонтова», посвященное французской писательнице Оммер де Гель, и ее «записки»: мистификация была раскрыта не без труда — и добрых полвека спустя.

Однако самая большая его заслуга — попечение об Остафьеве, взятое им на себя с сороковых годов, когда родители его стали бывать там лишь изредка. Павел Петрович завершил создание библиотеки, существенно пополнил собрания произведений искусства, фарфора, мебели, оружия. Остафьевский дом при нем постепенно превращался в дом-музей, которому более всего подходило имя, много лет назад данное Пушкиным, — «Русский Парнас».

Многие гости Остафьева уже назывались в этой книге. Пора собрать их вместе, разделенных при жизни границами нескольких поколений.

Еще при князе Андрее Ивановиче здесь бывали И. И. Дмитриев, Ю. А. Нелединский-Мелецкий, А. М. Белосельский-Белозерский, В. В. Ханыков, Д. П. Бутурлин, Н. С. Мордвинов, А. И. Мусин-Пушкин, Н. М. Карамзин. Затем — Денис Давыдов, Батюшков, Жуковский, В. Л. Пушкин, А. И. Тургенев. Наконец — Кюхель-

бекер, Мицкевич, Баратынский, Грибоедов, Гоголь, Языков, Погодин, Шевырев...

Пушкин впервые посетил Остафьево, вероятно, в 1827 году. Летом 1830 года прожил здесь неделю, а в декабре приехал сюда прямо из Болдина — и читал только что завершённые «Мою родословную» и главы из «Евгения Онегина». В начале 1831 года он побывал в «подмосковной» Вяземских в последний раз.

После его гибели в Остафьеве хранились личные вещи, столетие спустя ставшие экспонатами музея Пушкина, что на Мойке, 12.

Содержимое Остафьевского архива было поистине несметно: бумаги Вяземских и Карамзина, письма Пушкина (они теперь тоже в Санкт-Петербурге, в Пушкинском Доме) — и еще 1781 (!) корреспондента — к П. А. Вяземскому, автографы Байрона и Лермонтова, старинные рукописи, собрания архивных документов — так называемые «портфели» — Г. П. Чернышева, А. П. Бестужева-Рюмина, И. И. Шувалова, два тома дневника А. В. Храповицкого — всего не перечислить...

Однако семья Вяземских постепенно разорялась. Над Остафьевым нависла угроза — имение было заложено, перезаложено, в конце концов «поставлено на продажу», о чем объявлялось в газетах. Но, верно, Бог милостив — покупателя не нашлось. Выручил поистине счастливый случай.

В 1868 году к внучке Вяземского, его любимице Катеньке, Екатерине Павловне, посватался один из самых завидных московских женихов, граф С. Д. Шереметев. Об этом поначалу изрядно посудачили в гостинных: избранница его не была красавицей и по понятиям того времени считалась и не очень-то молодой, и чуть ли не бесприданницей. Однако уже в четвертом поколении Вяземских подряд, начиная с князя Андрея Ивановича и Евгении Квин, поэзия мысли уступила поэзии чувства — безразличной и к рациональным доводам, и к светским толкам. Остафьево было дано в приданое за невестой.

Лучшей участи ему придумать не удалось бы при всем старании.

Сергей Дмитриевич Шереметев, один из культурнейших людей своего поколения, рано оставивший многообещающую военную службу — ради занятий по призванию историей и литературой, вошел в семью Вяземс-

ких столь же естественно и желанно, как некогда Карамзин. Он прекрасно знал цену Остафьевским сокровищам. И употребил огромное свое состояние, чтобы придать им достойные огранку и обрамление. Через несколько лет после свадьбы Шереметевы поселились в купленной графом «подмосковной» — селе Михайловском Московской губернии. Остафьево стало местом мемориальным.

При Шереметеве в Остафьевском музее были созданы художественный и оружейный отделы, систематизирована библиотека, выделены минералогический, физический, монетный кабинеты. Карамзинская комната и Пушкинская (ее надо считать первым в России музеем Пушкина; кстати говоря, Шереметев спас от гибели и распыления архив одного из ближайших пушкинских друзей, С. А. Соболевского, купив на аукционе в Лейпциге коллекцию его бумаг и присоединив их к Остафьевскому архиву). В 1899 году Шереметев объявил Остафьевский дом общедоступным музеем, а четыре года спустя — всю Остафьевскую усадьбу запovedником. В 1911 году в усадебном парке был открыт памятник Карамзину, чуть позже — памятники Пушкину, Вяземскому, Жуковскому.

И как будто предвидя будущую судьбу Остафьева (в 1939 году музей перестал существовать, усадьба была приспособлена под правительственный дом отдыха и только в 1989 году, когда коллекций и библиотеки Вяземских давно затерялся и след, передана в виде филиала Московскому музею Пушкина), Шереметев позаботился о том, чтобы сохранить для истории представление о нем. По его распоряжению была сделана подробная серия фотографий — видов усадьбы и интерьеров музея; часть их он издал («Издание Г. С. Д. Ш.») открытками...

Впрочем, заботами об Остафьеве Шереметев отнюдь не ограничивался. Пожалуй, не меньше привлекала его издательская деятельность, влечение к которой возникло еще в молодости. Знакомство с П. А. Вяземским, который принял его более чем родственно — дружески и «на равных», можно сказать, решило дело. Шереметевым было предпринято издание Полного собрания сочинений Вяземского в двенадцати томах, часть которых успел подготовить к печати автор, пяти томов Остафьевского архива с превосходными комментариями

В. И. Саитова, Архива князя А. И. Вяземского. И не преувеличение, что именно ему благодаря Вяземский не прерывал занятий литературой до самых последних своих дней, обнадеженный тем, что сделанное им будет дожидаться своего часа — не грудями «летучих листков», но томами книг.

Все так, но... с тем, что оказался оттеснен из живой литературы в ее историю, Вяземскому согласиться было трудно. Он, смолоду привыкший быть в центре событий, остро переживал свою разобщенность с писателями и читателями второй половины века. То пытался сказать «Слово примирения» молодым и чуждым современникам:

**К чему сбивать друг другу цену?
На общий труд нас обрекли,
Другие придут вам на смену,
Как вы на смену нам пришли...**

То увещевал, упрекал их за равнодушие, нежелание понимать его, сделать сближающий шаг:

**Идешь ли среднею дорогой?
Тебе со всеми врозь идти;
Ни добрым словом, ни подмогой
Никто не встретит на пути...**

То призывал к терпимости, напоминал, что полемика — не битва до последней капли крови во имя доказательства своей и только своей правоты любой ценой:

**Когда у нас возникнут пренья,
О чем ни шел бы шумный спор,—
Ты воздержись от обвиненья,
На оправданье будь не скор.**

**Не думай, опираясь здраво
На общепринятый закон,
Что быть должны и смысл и право
Хоть на одной из двух сторон.**

**Мы из-под логики изъяты,
Таков наш в спорах склад и нрав:
Реши, что оба виноваты —
И, вероятно, будешь прав.**

То приводил в пример давние времена собственной юности, с нежностью припоминая «Дом Ивана Ивановича Дмитриева» — и хозяина дома:

Давно уж нет его в Москве осиротевшей!
С ним светлой личности, в нем резко уцелевшей,
Утрачен навсегда последний образец.
Теперь все под один чекан: один резец
Всем тот же дал объем и вес; мы променяли
На деньги медные — старинные медали...

.

В ином и поотстал наш век передовой,
Как ни цени его победы и открытия:
В науке жить умно, в искусстве общежитья...

.

Тут был простор для всех и возрастов и мнений
И не было вражды у встречных поколений...

Все напрасно. Его уже не слушали, давая тем самым понять, что это никому не интересно — не более чем обыкновенное брюзжание старости, дескать, и солнце холоднее стало, и вода суше. В ответ и Вяземский постепенно перестал вслушиваться — и слышать происходящее в литературном столпотворении шестидесятих — семидесятых годов, в пору возникновения гениальной прозы Льва Толстого, Достоевского, Лескова.

Вяземский не оставил никаких свидетельств своего отношения к лучшим русским романистам. Его отклик, довольно скептический, на «Войну и мир» — не в счет: книга Толстого вызвала в нем неудовольствие не читательское, а, если угодно, свидетельское. Он был участником и очевидцем описанных в ней событий, той жизни, которая для автора представляла собою пусть близкую, но все же историю, — и описание явно расходилось с воспоминаниями и впечатлениями, потому и философские размышления не завладевали умом. Остальные романы — добавим Тургенева и Гончарова, — судя по всему, и вовсе не были им замечены.

Парадокс в том, что именно Вяземский еще на рубеже двадцатых и тридцатых годов, переводя «Адольфа» Б. Констана, безошибочно предсказал роману в будущем роль «главного героя» русской литературы. При этом подчеркнул, что видит путь его развития не в следовании за популярнейшими историческими сочинениями Вальтера Скотта, а в направлении «светски-современном», с глубокой психологической разработкой характеров, изображением «внутренней жизни сердца». Более, чем любому иному жанру, по Вяземскому,

роману под силу сотворить портрет «героя века», показать «прототип поколения» — об этом писал он, размышляя над страницами «Евгения Онегина», романа в стихах. Писал и о незавершенности спора между персонажами — о незавершимости этого спора, где обе стороны равно и правы, и неправы, где неразрешимость противоречий обусловлена внутренней разнотою, несходством мировоззрений, жизненных установок, житейского опыта, — здесь очень близко подошел он к объяснению открытий, много лет спустя сделанных Достоевским. И хотя стройной «теории романа» Вяземский не создал, точность его прогноза поразительна.

Тем более странно, что при встрече с романом — и со своим оправдавшимся пророчеством — Вяземский не узнал его, прошел мимо, даже не приостановившись. Возможно, просто-напросто не увидел, скользнув рассеянным взглядом, — более удовлетворительного толкования нейдет на ум...

Он никогда не бывал баловнем шумного литературного успеха. «И я за кровный дар перед толпой краснею», — вырвалось у него однажды. Но оказалось, что не легче, когда толпы поблизости нет — и ты один. Словно отзываясь на этот стих, словно именно о Вяземском, напишет в конце семидесятых его замечательный наследник в «поэзии мысли» Константин Случевский, на себе испытывший все то же самое — и непонимание, и травлю, и одиночество:

Толпа — всегда толпа! В толпе себя не видно;
В могилу заодно сойти с ней не обидно;
Но каково-то тем, кому судьба стареть

И ждать, как подрастут иные поколения
И окружают собой их, ждущих отпущенья,
Последних могикан, забывших умереть.

Мемуары, исторические записки, письма теперь стали замкнутым кругом чтения Вяземского. «Письма — это самая жизнь, которую захватываешь по горячим следам ее. Как спокойный и домашний быт древнего мира, внезапно остывший в лаве, отыскивается целиком под развалинами Помпеи, так и здесь жизнь нетронутая и нетленная, так сказать, еще теплится в остывших чувствах», — писал он, перечитывая письма Карамзина.

Для его собственных писем, о которых можно бы сказать то же самое, час еще не наступил, время не сла-

дило их остроту, печатать их было по-прежнему невозможно. Потому нет их в собрании сочинений. Да и позже «повезло» разве что переписке с Александром Тургеневым и с Пушкиным — из прочего, что не успел издать С. Д. Шереметев, многое не опубликовано по сей день.

Иное дело — воспоминания. В памяти Вяземского хранилось немало такого, что жаль было уносить с собою в небытие. Всю жизнь собиравший чужие — прежних поколений — свидетельства, он, конечно, знал цену и своим. Однако целостной мемуарной книги, где события долгой жизни излагались бы последовательно, логически перетекая одно в другое, не написал. Говорил, что только произвел закладку камней в основание будущей своей «Россияды» и что, может быть, удастся ему когда-нибудь достроить это здание.

Планов и замыслов было больше, чем на отведенных ему восемьдесят шесть лет. Остались преимущественно разрозненные очерки да заметки — от считанных строк до нескольких страниц — в записных книжках. Условно-риторический оборот «писал — как жил» к Вяземскому применим буквально, без оговорок. «Судьба издала в свет жизнь мою, — объяснял он, — отрывками, на отдельных листках. Жизнь моя не цельная переплетенная тетрадь, а потому можно читать ее только урывками...»

Но коли так уж получилось, то нельзя ли извлечь урока и из этого, «непроизвольного» и долголетнего опыта? Преобразить недостатки в достоинства?

В семидесятых годах Вяземский принимается за «Старую записную книжку», пишет необыкновенное мемуарное сочинение — в жанре «отдельных листков», подсказанном самою судьбой. Очень немногие из составляющих книгу отрывков он берет из подлинных своих записных книжек, которые вел с 1813 года, остальные извлекает из писем и беглых дневниковых набросков, обрабатывает их, неумоимо добываясь безупречной точности, лаконичной — «французской» — афористичности и в то же время свойственной разве что устной русской речи естественности выражения. На старости лет он трудится в этой лаборатории стиля, отдается «алхимии слова» с тою же увлеченностью, с какой в юности осваивал писательское ремесло, а в зрелые годы трудился над переводом «Адольфа», открывая для

русской прозы неведомые ей прежде возможности психологической прозы французской. В одном из писем к Я. К. Гроту он сетует на неимоверную сложность поставленной перед собою задачи. И... справляется с ней — завершает-таки стилистически блестящую книгу, вчитываясь в которую ныне, можно увидеть, что ее, так сказать, принципиальная фрагментарность внутренне связна — и подозрительно смахивает на ту «свободную» эссеистику, какая считается — усилиями В. Розанова, М. Пришвина и некоторых других — созданием нашего столетия...

Впрочем, есть у него и вещи полемические, повествующие о былом, но явно метящие в современность.

«Москва 1805 года была совершенною провинциею в сравнении с Петербургом,— прочитал он в каком-то журнале.— Она, полная богатым барством, жила на распашку, хлебосольничала и сплетничала, политические интересы занимали ее мало...»

Для молодежи, среди которой такое мнение распространено и стало общим местом, полувековая давность — времена незапамятные. Вяземскому они близки и бесценны, они — его молодость и видятся отчетливо, до черточки, ведь память дальнозорка.

«Как старый и допотопный москвич,— писал он в очерке, названном «Допотопная или допожарная Москва»,— почитаю обязанностью своею подать голос против такого легкомысленного и несправедливого мнения о Москве. Новое поколение знает Москву по комедии Грибоедова...»

А грибоедовское изображение, хоть и с природы писано,— картина, ограниченная рамою классических театральных «трех единств»: места, времени и действия. Из того, что за *рамой*, сюда только слабые отзвуки долетают, и слышит их публика преломленными в головах и речах персонажей. Но и это искаженное эхо дает понять, что есть совсем другая, не-фамусовская жизнь. Например, в доме... князя Вяземского, выведенного комедиографом под именем «князь-Григория»:

У князь-Григория теперь народу тьма,
Увидишь человек нас сорок,
Фу, сколько, братец, там ума!
Всю ночь толкуют, не наскучат,
Во-первых, напоят шампанским на убой,
А во-вторых, таким вещам научат,
Каких, конечно, нам не выдумать с тобой...

Этот персонаж не появляется на сцене, не хочет появляться, ему здесь скучно, он живет, так сказать в другом жанре, ибо «все жанры хороши, кроме скучных», он даже шутить среди зажимающих уши не склонен, не то что проповедовать, тут Чацкому до него далеко. Но само его существование — предмет некоторого здешнего беспокойства, неуют, что ли. И когда Скалозуб декламирует рецепт от этой заграничной хвори остроумного вольнодумства, «русского вольтерьянства»:

**Я князь-Григорию и вам
Фельдфебеля в Вольтеры дам,
Он в три шеренги вас построит,
А пикните, так мигом успокоит,—**

он выдает общее настроение собравшихся, их желание думать, что они-то и есть *вся Москва*, да что там Москва — весь «свет»! (К слову, по такому примерно рецепту попытался лечить оную «болезнь» император Николай, да не помогло, только поглубже внутрь загнал ее.) Так видится автору, вернее, он хочет, чтобы мы так увидели. Но комедия — не летопись.

Спору нет, была, была такая Москва. Однако стоит прислушаться и к другим, не менее уважаемым авторам-свидетелям. Прежде всех — к Карамзину: «Со времен Екатерины Москва прослыла Республикою. Там, без сомнения, более свободы, но не в мыслях, а в жизни; более разговоров, толков о делах общественных, нежели здесь, в Петербурге, где умы развлекаются Двором, обязанностями службы, исканием, личностями...»

Очерк выстроен тщательно, композиционные приемы открыты — логика их употребления очевидна. Вначале упомянута комедия, затем напомяно, что ею отнюдь не исчерпываются сценические жанры, наконец, сопоставление жизни с театром становится развернутой метафорой: «Оно так и быть должно: в Петербурге — сцена, в Москве — зрители: в нем действуют, в ней судят. И кто же находится в числе зрителей?.. Бывшие актеры сделались ныне зрителями актеров новых, но зато в этом оппозиционном партере, как во всякой оппозиции, были живость прения и даже страсти, но ни в коем случае не могло быть застоя...»

Здесь — точка пересечения двух времен, двух миров, о чем при случае можно афористично, не расте-

каясь мыслью по апологетическим подробностям, в стихах сказать:

**В тебе и новый мир, и древний,
В тебе пасут свои стада
Патриархальные деревни
У Патриаршего пруда...**

Главная же заслуга Москвы, по убеждению Вяземского, та, что «Россия училась говорить, читать и писать по-русски по книгам и журналам, издаваемым в Москве. Петербург коснел в старом слоге; Москва развивала и преподавала новый. Карамзин и Дмитриев были его основателями и образцами».

В Москве начинался Жуковский. Да и Пушкин — «родовой москвич». Выходцы из Москвы были всех раскованнее и деятельнее в «Арзамасе», в его чернильной войне со староверами «Беседы». А у Вяземского — в Москве и в «подмосковной» — собирался «московский филиал» кружка. Так что и *думать* здесь учились совсем неплохо. И то, что в Москве нередко проходили в печать сочинения, не одолевшие петербургских «умственных плотин» цензуры (к чему и Вяземский руку приложил, да не раз, — вспомним донос на него по поводу «катехизиса заговорщиков»), было продолжением традиций *республики*. Вяземский мог бы об этом порассказать. Но не хочет, чтобы у читателя не создалось впечатление, будто личная обида им руководит. А кто пожелает — может прочитать в дополнение к очерку записки и воспоминания его о «бывших актерах», которых он узнал уже «зрителями» — о просвещенной московской аристократии, среди которой он вырос, о людях, которые составляли его *Москву*.

Мемуарные статьи Вяземского — зачастую не столько свидетельства (хотя личных впечатлений там предостаточно), сколько осмысление былого. Он не подменяет чужие суждения своими — даже когда явно полемичен, — но помогает читателю вырваться из плена односторонних представлений, взглянуть вспять не с одной — утвердившейся — точки зрения, а с нескольких и разных, разглядеть подробности, без которых целое — плоско и безжизненно. Строго говоря — это не совсем мемуары, скорей — попытка оживить, запечатлеть недавнюю, еще не окаменевшую историю, и сделать это с достоверностью, одному автору и очевид-

цу недоступной. Это — результат огромной собирательской работы, бесед с людьми, изучения писем и документов. Сил и времени не жалко: незнанием прошлого, либо знанием неполным, искаженным, толкающим к неверным оценкам и ложным выводам, рвется историческая, то есть нравственная связь поколений.

**Пусть время рушит все — в сердечной глубине
Былому место есть, и это место свято.**

Историком он себя не считал и быть им не хотел. Внутренняя свобода разносторонне образованного дилетантизма была более по нему, чем стесняющий движения мундир профессионализма: «Специальность есть вынужденный плод необходимости или страсти, которая также есть духовная неволя». Документ — подспорье, не дающее сбиться с направления и заполнить неизбежные пробелы домыслами и анекдотами. «Память — клубок, который, только что до него дотронешься, разматывается сам собою...» Но идти за этим Ариадниным клубком надобно неторопливо и оглядчиво.

Вяземский сумел хорошо распорядиться преимуществами долгой жизни (хотя подчас видел в старости вовсе не преимущества — одни сплошные невзгоды). Память и поэзия, повторю, вели его, голоса их созвучно перекликались, а то и сливались в один. В стихи.

**Жизнь коротка, но в ней не все же скоротечно:
Нам изменяют дни, но память нам верна,
И в темном небе нашем путь свой млечный
Звездами золотит она...**

Свет этих звезд рассеивает тьму, мешает ей сгуститься, поглотить зрение, слух, мысль. И каждую можно назвать по имени.

**Его заслушивались страстно,
С ума сводил он целый мир,
Толпой играл он самовластно,
Ее и деспот и кумир.**

**Наш век, два поколения наши
Им бредили. И стар, и млад
Пил из его волшебной чаши
Струею сладкий мед и яд...**

Это — Байрон. Романтическая падающая звезда, длинный огненный след которой, прочерченный от туман-

ного Альбиона до лазурной Греции, следила, затаив дыхание, Европа полвека назад. Его гибелью была вызвана не скорбь по реальному человеку, властителю дум, которого в России представляли только по портретам, поэмам и легендам, но печаль поэтическая, выраженная Пушкиным коротко и с жестокою точностью: «...Тебе грустно по Байроне,— писал он к Вяземскому из Одессы в июне 1824 года,— а я так рад его смерти, как высокому предмету для поэзии». Три с половиной месяца спустя, уже из Михайловского, продолжал: «Посылаю тебе маленькое поминаньице за упокой души раба Божия Байрона». Это — «К морю». Стихи, полные воздухом Средиземноморья, долетевшим до Крыма...

**Во дни счастливых вдохновений
Тревожно посетил дворец
Страстей сердечных и волнений
Сам и страдалец и певец.**

.....

**И в нем борьба страстей кипела,
Душа и в нем от юных лет
Страдала, плакала и пела,
И под грозой созрел поэт.**

.....

**Тень и его здесь грустно бродит,
И он, наш Данте молодой,
И нас по царству теней водит,
Даруя облик им живой...**

Таким предстал Вяземскому в 1867 году Бахчисарай — хранящим пушкинский след, движенье, дыханье. И таким ему оставаться, пока существует русская поэзия — с самым дорогим из ее преданий...

Вяземский сознательно пытается со всех сторон отгородить себя прошлым: за неимением собеседников, можно, наконец, поговорить «по душам» с самим собой — пока не поздно.

**Не лучше ль каждому пред той дорогой
Собраться с духом молча, одному
Сойти спокойно в внутреннюю келью
И дать остыть житейскому похмелью
И отрезвиться страстному уму.**

Потому что «образ мыслей в человеке должен более или менее зависеть от событий и положения, которое он

занимает: один образ чувств должен быть неизменен и независим». И нет смысла — ни льстить себе, ни предаваться самооправданиям:

**Я не умел постигнуть жизни смысла,
Ни ей, ни силам я не знал цены:
Дела и дни мои — разбросанные числа,
Которые в итог не сведены.**

Он нисколько не заботится о благообразии предсмертных лирических автопортретов, отмахивается от каких бы то ни было литературных условностей. Его признания обжигают пронзительным холодом:

**Жизнь едкой горечью проникнута до дна,
Нет к близнему любви, нет кротости в помине,
И душу мрачную обуревают ныне
Одно отчаянье и ненависть одна...**

Вяземский «был и остался строгим пуританином». Он совершил главное дело человека — создал самого себя и прожил жизнь, себе не изменяя. Однако удовлетворенья не испытывает. Ему этого мало. Ему видится, что оставляемое им в мире ничтожно по сравнению с тем, что замышлялось, что было его предназначеньем.

**Мне нравилась всегда неторная дорога;
Что мыслил — высказал, что чувствовал — прошел,—**

но не все, что «мыслил» и «чувствовал». Максимализм юности так и остался неутоленным.

Честность — не смягчающее обстоятельство. Она — неперемненное свойство писателя. Иначе он не стоит ни внимания, ни слов. Вяземский честно делал свое дело. А в конце пути оглянулся — и понял, что сделал меньше, чем мог бы. И уже не наверстать. И не отвести взгляда от зеркала:

**Лампадою ночной погасла жизнь моя,
Себя, как мертвого, оплакиваю я.
На мне болезни и печали
Глубоко врезан тяжкий след;
Того, которого вы знали,
Того уж Вяземского нет.**

Он ошибался. Четверть века спустя, когда вышел первый том Остафьевского архива, прочитавший помещенные там письма молодого Вяземского С. А. Ра-

чинский писал к С. Д. Шереметеву: «Князя Петра Андреевича я узнал уже стариком. И, несмотря на это, я узнаю его в молодости Вяземским, до того цельна, типична, единственна была эта несравненная личность. И вот что замечательно. Поэт, в своей молодости, несомненно, был передовым либералом, не чуждым и некоторым крайностям. Но это не мешало ему до глубины, до тонкости понимать не только Карамзина и Жуковский, но даже и Стурдзу. И вот почему он до гроба остался либералом в истинном и лучшем смысле слова, никогда не сделался рабом слов и формул, пребывая жрецом духа».

В молодости он много размышлял о смысле жизни предстоящей — не жизни вообще, а собственной, единственной. В старости — о содержании жизни минувшей, прожитой. Спасибо Шереметеву: не возьмись он за издание собрания сочинений, вероятно, не собрался бы Вяземский перечитать всего себя — стихи, критическую прозу, записные книжки, — проследить: как переменились они для него и в нем, выделить то, что не утратило звучанья и значенья. Он понимал, что авторская оценка не окончательна, условна. Но все же убедился в нежелании своим задним числом перемарывать и поправлять строки и страницы, разве что счел бесполезным сопроводить недлинными пояснениями некоторые из них.

Двадцати пяти лет от роду он написал «Прощание с халатом», решившись уйти из домашнего и дружеского круга — ради «пользы» служебной, государственной. Прощался, как оказалось, ненадолго, года на три: знания, способности, деятельная натура его там применения не нашли. И он вернулся — в «частную жизнь», вещественным знаком которой был халат.

Когда мой ум в халате, сердце дома,
Я кое-как могу с собою сладить,
Отыскивать себя в себе самом,
И быть не тем, во что нарядит случай,
Но чем могу и чем хочу я быть.
Мой я один здесь цел и ненарушим,
А там мы два разрозненные я...

Раздвоению, власти над собою двойной морали он сумел воспротивиться. Халат стал будничным олицетворением жизни, прожитой «у себя», дома, вне соображений карьерных и политических, диктующих произ-

носить не то, что на уме, но то, чего ждут от тебя услышать. Не потому ли он предпочитал в поздние годы свои изображения «в халате», по-домашнему. Как на акварели, запечатлевшей кабинет Вяземского и его самого — с трубкой, на диване. Или — на фотографии — у стола, с пером в руке. Или на странном — размером в почтовую открытку — акварельном портрете: в кресле, спиною к нам...

**Жизнь наша в старости — изношенный халат:
И совестно носить его, и жаль оставить;
Мы с ним давно сжились, давно, как с братом брат,
Нельзя нас починить и заново исправить.**

**Как мы состарились, состарился и он;
В лохмотьях наша жизнь, и он в лохмотьях тоже,
Чернилами он весь расписан, окроплен,
Но эти пятна нам узоров всех дороже...**

.....
**На жизни тоже есть минувшего следы,
Записаны на ней и жалобы, и пени,
И на нее легла тень скорби и беды,
Но прелесть горькая таятся в этой тени.**

.....
**Еще люблю подчас жизнь старую свою
С ее ущербами и грустным поворотом.
И, как боец свой плащ, простреленный в бою,
Я хожу свой халат с любовью и почетом.**

В этой лирической исповеди — ни вывода, ни приговора. Их предстоит сделать читателю книги. *Книги жизни* поэта, упоминания о которой то и дело вплетаются в раздумья о быстротечности времени, о старости и смерти. Такого рода «книжность», разумеется, не Вяземским открыта, восходит к ветхозаветной Книге Бытия и употреблялась писателями всех времен. Но — эпизодически. В поздней лирике Вяземского это — прием, но тема. Постоянная, «сквозная». Подводя итоги, жизнь свою он осмысливает, так сказать, в литературном ряду, по-писательски.

Это книга, которой был он одновременно соавтором и *действующим лицом*. И никак не предполагал, что станет ее читателем (подобно «бывшим актерам», которые «сделались зрителями», о чем он писал). А читатель он, как известно, неллицеприятный.

Меня за книгу засадили,
С трудом читается она:
В ней смесь и вымысла, и были,
Плох вымысел, и была скучна.

Как много в книге опечаток!
Как много непонятных мест!
Сил и охоты недостаток
Читать ее в один присест...

Впрочем, критическому разбору уже не время —
что пользы от него? Все равно ничего не изменить:

И бывший о былом грущу...

Не лучше ли спокойно признать, что ни хороша книга,
ни плоха, — такова, как есть, как сложилась, как, слава
Богу, вот-вот завершится:

Нет, нет, я не хочу, и вовсе мне не льстит,
Чтоб жизнь в последние минуты расстаивая
Мне в утешение сказала *до свиданья*,
Как *продолженье впредь* нам автор говорит.
Без лишних проводов до бесконечной дали
Пусть скажет жизнь: *прощай!* И поминай как звали.

Он долистывает последние страницы медленно —
останавливаясь, задумываясь, мысленно возвращаясь
назад, к середине. Пытается представить: какую увидит
она другому, постороннему взгляду.

Что на берег одной волны порывом
Приносится — уносится другой.
Я испытал и зыбь их, и прибой,
Волнуем их приливом и отливом.

Все это было, и как в смутном сне
Мерещатся дневные впечатленья,
Так этих дней минувших отраженья
В туманных образах скользят по мне.

Из книги жизни временем сурово
Все лучшие повыдраны листы:
Разрозненных уж не отыщешь ты
И не вплетешь их в книгу жизни снова.

Не поздно ли уж зачитался я?
Кругом меня и сумрак и молчанье:
«Еще одно последнее сказанье
И летопись окончена моя».

Он, кажется, сознательно усугублял свое одиночество.
Жил за границей, почти не бывая в России, в лю-

бимом Остафьеве. И в то же время словно убегал от этого состояния души. После выхода в отставку без малого полтора десятка лет колесил по Европе. Из Германии в Швейцарию, оттуда во Францию, затем в Италию, снова в Германию, нигде подолгу не задерживаясь, с поразительной для весьма преклонного возраста охотой к перемене мест. И лишь в 1872 году осел в Гомбурге, курортном городке близ Франкфурта-на-Майне. Отсюда ежегодно — на несколько месяцев — выезжал на юг, в Баден-Баден, знаменитый в русской литературе романами — и биографиями — Тургенева и Достоевского. Но не только.

«Обрусение» Баден-Бадена началось еще в восемнадцатом столетии, когда возникли на его землях сохранившиеся по сию пору дворцы Бирона и князей Гагариных, свойственников Вяземского, обосновались потомки князя Меншикова, проезжал, направляясь в Париж, «русский путешественник» Карамзин...

Мало кто из очутившихся однажды в этом городе, издавна уютно примостившемся к предгорью Шварцвальда, не подпадал его очарованью. Развалины древнего замка, видимые с любой точки, улочки, то плавно поднимающиеся, то резко карабкающиеся в гору, чтобы внезапно вывести к городскому собору, на площадь, над которою господствует новый замок маркграфа Баденского, сочетание атмосферы совершенно домашней и вольного пространства, открывающегося взгляду по первому желанию, словом, здесь было все — и для романтического воображения, и для удобства повседневной жизни, оберегаемой от скуки хотя бы тем, что размеренный быт баденского обывательства на целую треть года нарушался бурливостью курортного сезона. Тогда со всех концов Европы съезжались сюда сотни завсегдатаев игры в казино и лечения на водах. А за ними — артисты, певцы, музыканты. Эха тех четырех месяцев вполне хватало до следующего раза.

Давние, устойчивые родственные связи Российского царствующего дома с Баденским и соседним, Вюртенбергским, тоже — и не в последнюю очередь — способствовали тому, что к семидесятым годам прошлого века Баден-Баден стал, верно, самым «русским» из европейских городов, примерно четверть его населения составляли россияне.

Вяземский впервые приехал в Баден-Баден двадца-

того марта 1854 года. И сразу отправился на кладбище, на могилу дочери, Надежды. А потом — в дом, где, прожив два последних года, умер Жуковский. Следующим днем датированы стихи:

Уж если умереть мне на чужбине,
Так лучше здесь, в виду родных могил:
Здесь я нашел, чем скорбь жила доньше,
Здесь я не раз заочно слезы лил...

Пожелание поэта, заклинанием звучащее троекратное «здесь», осуществилось. Осенью 1878 года немощь старости, так давно предугаданная, настигла его. Он слег — в полубеспамятстве и лихорадке, видимо, простудной...

Из записной книжки Дмитрия Степанова, камердинера Вяземского:

«Баден-Баден, 16 ноября 1878 г.

Прошлая ночь была не дурна. День тоже спит. В 4 часа принимал новое лекарство, хинин. Сегодня вздумал выбриться. Это второй раз, как мы в Бадене. Доктору жаловался, будто ему не дают лекарства уже в продолжении двух дней. Вчера у него была М-те Баратынская, он ей жаловался на мир его окружающих и просил, чтобы она телеграфировала в Ливадию, чтобы ему прислали фельдшера, но который говорил бы по-немецки. «Да для чего вам, князь?» — спросила М-те Баратынская. «Уже два дня, как не дают мне лекарства, не будят меня, когда я велю будить, дают спать 24, 36, 48 часов в ряд, а Дмитрий должен смотреть за всем...» Всю эту чепуху М-те Баратынская слушала со вниманием и, смотря по тому, где нужно, поддакивая или просто произносила: «мм... о...» и проч., а уходя обещала ему сейчас идти на телеграф. Я проводил ее до Персияни; она очень сожалела князя и удивлялась, что он говорит такие странные слова... Потом не велела сказывать, что она и я не были на телеграфе.

— Сохрани Бог!.. Я вас вовсе и не видел,— сказал я ей.

Она выразила мне свое сожаление, что я мало сплю. Спасибо и за это.

18 ноября, понедельник.

Вчера князь целый день спал, но зато ночь была не хорошая: от 1 до 6 утра — он измучил меня. Утром посылал за М-те Баратынской, жаловался ей на прислугу, докторов, на княгиню, но М-те Баратынская

сказала мне, что сегодня она ничего не поняла. Лекарств принимать не хочет, ибо очень горько, а когда приехал доктор, то тому жаловался, что он спал три дня без просыпу и что ему не дают лекарств. Прошлая ночь была ужасная. Начиная от 9 ч. вечера и до следующего утра, до 6 часов он не спал, но время проводил в писании невозможных писем и в диктовке, понятной только для него самого. Ну и измучил же он меня! Ни одной минуты не дал покоя. Ужасно злой при этом. Упрекал, будто я сейчас был у княгини. Просто ужасный. После двухчасовой пробы писать самому письма, он велел писать мне, при этом он лежал в постели, и сколько трудов мне стоило посадить его так, чтобы он мог писать. Наконец начал и что же?— вместо бумаги пишет по столу, потом спрашивает, где написанное? У меня сохранились бумаги, на которых он писал. Потом он велел мне писать и стал диктовать по-французски. Это было мне не легко, ибо я и так грамматически не пишу на этом языке, а тут еще не поймешь, что он говорит. Наконец я кончил, он остался доволен и спрятал бумагу в карман, но не велел говорить о ней княгине. Заснул он в половине седьмого, а в 9 встал и перелег на диван, а мне велел сходить к Бибиковой; я ему сказал, что не к М-ме Столыпиной ли? Да, попроси ее придти ко мне, но не к княгине, а прямо ко мне... Он передал ей мое писание и еще что-то диктовал. Также выразил желание видеть княгиню Марию Аркадьевну Вяземскую, жену сына П<авла> П<етровича>, но самого князя П<авла> П<етровича> не желал. После ухода М-ме Столыпиной он спал до двух часов, а потом опять в спальню велел себя везти и лег, мне же приказал ехать к доктору окулисту Майеру в Карлсруэ, но я послал ему депешу, на что он отвечал: «Буду завтра в 3 часа». Спал до половины шестого вечера. Вздумал другую рубашку одеть, это тоже черта, которая показывает, что чердак не в порядке. Да, бедный князь совсем рехнулся, все, что говорит,— все нелепость, но большею частью он бранится, и это говорит гораздо чище, отчеканивая каждое слово. Бранится же он мастерски. Право, в этом искусстве он, пожалуй, выше его искусства литературного. Какая прискорбная сцена произошла у нас в доме на глазах всех; я думал, что с княгиней случится удар или разрыв сердца. Княгиня хотела ему, князю, помочь встать, а он в благодар-

ность оттолкнул ее так, что она чуть на пол не растянулась. Ужасная истерика была последствием его безобразной выходки. Право, другого нахала такого не найдешь. Однако двухсуточная бессонница дает мне себя чувствовать.

19 ноября.

Прошлая ночь была очень дурна, но слава Богу, я все-таки спал, ибо я твердо решил ночь спать. Невозможно же выдержать, не спавши, несколько ночей. Князь звал меня несколько раз, но ему сказали, что спит, так как несколько ночей уже не спал. Говорят, он очень удивился, что я вздумал спать, и для удостоверения входил в мою комнату. Доктора были по обыкновению, и по обыкновению князь им жаловался, что он спал три дня к ряду и его не разбудили и что этому виновен Дмитрий. В 3 ¹/₂ часа приехал глазной доктор Майер из Карлсруэ. Когда он вошел к князю, князь сидел на диване и сейчас же спросил: «Vous êtes de... de... de...» Не мог сразу выговорить имя, но потом сказал: «de Frankfourth?» Доктор не понял его вопроса, расспрашивал его о болезни, но князь опять свое: «Etes-vous de Frankfourth?» Балемгартнер тоже был при этом, подсказал Майеру: «Vous de Frankfourth». Майер повторил: «Oui, M-г le prince, Frankfourth»*. Но, вероятно, князь хорошо запомнил лицо доктора Крюгера из Франкфурта. Рассердился и выгнал Майера. Позвал меня, я взял его под руку; он велел идти в спальню и никому больше не позволил его поддерживать. В спальне я ему говорил, что он меня вчерашний день посылал к Майеру, чтобы он приехал, но ничего не помогло: «Не хочу каналью!..» Княгиня заплатила Майеру 40 марок, и он отправился восвояси. Князь опять ничего не ел. Совершенно ничего, кроме чашки чаю. Удивительно, чем он живет. Лежа в постели, он как будто разговаривал с какой-то барышней. Потом говорил мне, что надо поставить полицейский караул, чтобы их в полицию сажать... Целый день спал и бредил. Меня хотел ударить за то, что я будто бы три часа не шел, когда он звал. Я ему заметил: «В<аше> С<иятельство>, вы можете

* Перевод этого «диалога» (первой и последней фразы, остальное — «вариации»): «Вы из Франкфурта?» «Да, месье князь, из Франкфурта». (франц.)

браниться, сколько вам угодно, но драться я вам не позволю». — «Ступай жалуйся», — сказал он мне. «Несчастный», — подумал я.

20 ноября.

Ночь была спокойна, ибо так ослаб, что поневоле надо быть спокойным. До трех часов утра он спал на диване, а проснувши мы его перевели на кровать. Позвал через час да и требует одеваться. Я кое-как уговорил подождать до утра, теперь ночь и проч. Заснул и спал спокойно до 10 ч утра. Около этого времени стал стонать и ворочаться, потом с усилием сказал: «Дмитрий!» Я спросил: «Что вам угодно?» — «Одеваться». — «Хорошо, сейчас, только нагрею рубашку», — но он тут же заснул. После еще просыпался и спрашивал, когда мы сюда переехали и когда уедем. Я сказал: «Сегодня холодно, ехать нельзя». После он говорил: «Я сегодня со двора не пойду». Один раз мы перевели его в гостиную на диван, ибо он ни за что не хотел остаться на кровати, все куда-то собирался, но на диване пробыл недолго, всего несколько минут. Спал целый день. Не принимал никого. Только меня одного и зовет. Была М-ме Баратынская, сидела тоже в спальне.

21 ноября.

Вчера едва уговорили княгиню идти спать. Обещали ей, что ее сейчас же разбудят, если случится что-либо особенное. Князь бредил целый вечер. Я просидел целую ночь у его постели. У него, по-видимому, лихорадка, ибо жар в голове и руки, всегда холодные до невозможности, — горячие. Вчера был священник о. Измайлов, но у князя не был. Это будет очень грустно, если князь умрет, не раскаявшись и не приняв Св. Даров, но это очень возможно, я даже, к несчастью, предвижу это. Князь во сне все куда-то стремился. Все требовал руку... Время от времени зовет меня и более никого. Один раз сказал: «Дмитрий, я умру... я умираю, Дмитрий!» Около половины девятого он закричал: Дмитрий! Дмитрий!.. они хотят меня опоить!.. Они опоят меня!..» Я успокоил его, сказав, что я у него буду и кто бы ни подошел — всех выгоню вон и даже в полицию пойду и буду жаловаться и проч. Он успокоился. Голова его горит, как в огне... В половине двенадцатого перенесли на диван. В бреду требовал, чтобы его переносили, ни за

что не хотел оставаться на одном месте. Все меня звал. Требовал руку, повторяя: «Скорей же!.. Что же ты!.. Ну, скорей!..» ³/₄ после двенадцати князь забылся, не стал ничего принимать. Я его звал, но он отвечать уже не мог. Все сильнейший, хотя и непонятный бред продолжался около трех часов... Мало-помалу успокоился, видимо, заснул. Тяжелое и частое дыхание. Лихорадка. Пульс 120. Вызвали священника; он приехал.

22 ноября.

Около 11 часов утра в комнате, где лежал князь, находились княгиня Шредер и я. Я следил за дыханием князя, ибо я заметил, что оно становилось реже, короче и отрывистее. Вдруг он перестал дышать. В это мгновение я взглянул на него, мне показались судороги в лице. Я бросился к нему. Княгиня сидела около изголовья, но была погружена в думу и ничего не заметила о происходившей перемене в князе, когда я подбежал к князю и сказал: «Князь кончается», — то она не могла сразу понять. Я повторил ей. Трудно описать ее горе и ужас. Когда я взглянул в лицо князя, то увидел, что рот, всегда открытый, закрылся, но потом, мало-помалу, начал приходить в свое положение. Дыхание начало возвращаться, но кончина приближалась. Он боролся со смертью. Вдруг он издал звук глухой и полный ужаса, и все кончилось; он умер, но тело его было еще долгое время теплое, будто он заснул и спал непробудным сном.

Князь скончался в 11 ч. утра 22 ноября 1878 года.

Княгиня была поражена ужасом, несмотря на то, что кончины его ожидали с часу на час. Доктор Н. часа за полтора сказал, что князь скоро отправится *ad patres*^{*}, но ей все еще не верилось, что он умер, и она несколько раз спрашивала меня: «Жив еще?..» Но я ничего не мог отвечать, как ужасную для нее правду.

Через час после его смерти принесли депешу от великой герцогини Баденской, спрашивает, как князь? Княгиня просила, чтобы никто чужой к князю не прикасался, и это желание было исполнено с радостью, ибо это желание было собственное. Приготовив, что нужно для умершего, мы сами его вымыли и одели в черный сюртук и белый галстук. Священник присутствовал тоже при этом. Как он похудел, одни кости. Бедный

* К праотцам (лат.)

князь, любил ты жить больше всего на свете, где нет ничего вечного!.. Я с радостью тебе прощаю все и молю Всевышнего о прощении твоих грехов. Принцесса Баденская, Мария Максимилиановна, была на панихиде, которая происходила в 5 часов. Все русские присутствовали также...»

Записи эти печатаются впервые. Добавить к ним нечего. Разве что приостановить внимание на беспокойстве, почти до конца не затихавшем движении, словно отзвуке полувековой давности строки:

Я спешу куда-нибудь!..

В России смерть Вяземского прошла едва замеченной. А похороны в Некрополе деятелей литературы и искусства петербургской Александро-Невской лавры были сугубо официальные и не вызвали отклика литераторов конца семидесятых годов.

Там же, в Баден-Бадене, восемь лет спустя умерла Вера Федоровна Вяземская.

Совсем немного оставалось до завершения XIX века, почти на три четверти которого пролегал творческий путь Вяземского. И уже родились первые из тех, кто положили начало русской поэзии нового века, который — в сопоставление с *золотым*, пушкинским, — назовут впоследствии *серебряным*...

«Современники меня не заметят, потомки обо мне не услышат», — пророчествовал двадцатипятилетний Вяземский.

Он ошибался. Несколько поколений современников относились к нему по-разному — от признания его одним из самых ярких, значительных, оригинальных поэтов и критиков до нападок, насмешек, провозглашения «литературным анахронизмом», — но не заметить не могли. Да и у потомков он все время оставался «на слуху» — миновать его было невозможно, хотя бы уже по одному тому, что при изучении жизни и творчества Пушкина без помощи Вяземского не обойтись. Однако здесь же таилась и причина невнимания, даже безразличия к поздней — и лучшей — его поэзии. Раз и навсегда причисленный историками литературы к поэтам пушкинского круга, он — с точки зрения пушкинистов — «обязан» был пребывать в этом круге пожизненно. Отказ следовать этой схеме выглядел отступничеством, написанное вне ее заведомо не представлялось

самоценным. А когда схема со временем начала разрушаться и включенных в нее поэтов стали читать, всматриваясь более в различия, чем в сходства их с Пушкиным, Вяземского это коснулось лишь наполовину — вторая половина жизни, без *Пушкина*, осталась на периферии истории литературы.

Но и время непонимания, забвения, когда его слово оказалось как бы «не у дел», он тоже *пережил* — дожил до новых поколений читателей, которые обнаружили в его творчестве «внутреннюю и... художественную ценность». В последние полтора десятка лет его стихи и проза издавались больше, чем за полтора предыдущих века. И то, что это происходило и происходит одновременно с усилиями полностью восстановить панораму русской поэзии первой половины двадцатого столетия, не упуская ни одного сколь-нибудь значительного имени, — отнюдь не случайное совпадение. Стремлению отыскать связующие звенья меж двумя *звездными* поэтическими эпохами творчество Вяземского пришлось в пору и к месту. Не преувеличение, что его поздняя лирика *открыта* только теперь.

Едва ли можно говорить о его прямом *влиянии* на поэтов XX века, коли понимать влияние — как увлечение, изучение, следование, то есть более или менее осознанное *подчинение* собственной творческой манеры тому, что сделано предшественником. Но многое из того, на что Вяземский «набрел» словно бы невзначай, идя своей дорогой, что могло показаться — и казалось — в его время отклонением от «нормы», своевольничаньем, либо даже небрежностью, в дальнейшем стало поэтическими приемами, тщательно разработанными, если угодно, обиходными.

Увидеть это до недавнего времени мешала, думается, пресловутая «неровность» Вяземского — немалое число стихов, написанных поспешно, «по поводу» и «к случаю», изрядно разбавляющих его поэтическое наследие. Но «ровными» бывают лишь гений (далеко не всегда) да посредственность (как правило). Вяземский не был ни тем, ни другим. Он — поэт *избранного*, где становится заметно, как в разговорной интонации «высокий штиль» соседствует с просторечьем, как иронически «снижаются» традиционные поэтизмы, как точны и уместны прозаизмы и неологизмы, а также цитаты — вольные или точные — из чужих стихов, как в пределах

одного стихотворения нерифмованный стих гармонически переходит в рифмованный, как, наконец, внутренне свободен поэт в своем отказе от жанровых канонов, в передаче состояния души и движения мысли мозаикой лирических фрагментов. Все это несравненно ближе веку двадцатому, чем девятнадцатому.

Однако формальными признаками дело не ограничивается. Есть и содержательные.

...И дерзко думал я, что мертвому вослед
Все это сберегут хоть на немного лет...

Что ж? Ежели не так и все в ничто уйдет,
В том, видно, суть вещей! И я смотрю вперед,
Познав, что жизни смысл и назначенье в том,
Чтоб сокрушить меня и, мне вослед, мой дом...

Это — Случевский, чьи поздние стихи «по-вяземски» автобиографичны, а рефлексия столь же естественна — до прозаичности:

Что тут писано, писал совсем не я,
Оставляла за собою жизнь моя...

Так мог бы сказать и Вяземский, вплотную подошедший к черте, откуда начали путь поэты нового времени, но не ступивший за нее — как в стихотворении «Цветок» из написанного за два года до смерти цикла «Хандра с проблесками». Естественно, сразу припоминается, на что и рассчитано, другое стихотворение, пушкинское, возникшее за полвека до того:

Цветок засохший, безуханный,
Забывтый в книге вижу я...

У Вяземского все сосредоточено на благоухании отцветшей жизни, на этом слабом запахе минувшего:

...К нему природы благ законов,
Ему природа — мать родная:
Еще благоухает он,
Еще красив и увядая.

Его иссохшие листы
Еще хранят свой запах нежный...

По загадочной закономерности поэзии первый символист Брюсов начнет с кристаллизации в символ именно этого образа:

Есть тонкие властительные связи
Меж запахом и контуром цветка.
Так бриллиант не виден нам, пока
Он под резцом не оживет в алмазе...

А еще двадцать девять лет спустя, в 1924 году, младший современник Брюсова Ходасевич напишет стихи «перед зеркалом»:

Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вон тот — это я?
Разве мама любила такого,
Желтосерого, полуседого
И всезнающего, как змея?—

бессознательно напомнив позднее одиночество Вяземского, которого, будучи пушкинистом, конечно, хорошо читал и знал, в котором — по той же причине — «проглядел» как раз то, что поэтически было всего ближе ему самому...

Долго, целое столетие, то незримо, то преломляясь и отражаясь в творчестве других поэтов, шел к нам свет «Звезды разрозненной плеяды». И дошел. И — хочется верить — останется. Потому что, когда гаснет хотя бы одна из множества звезд, небо над головой становится темнее.

«...Начнем с совета... читателям книг: не верить нам на слово и, несмотря на все приговоры наши, поверять их собственным испытанием».

П. А. Вяземский

Р. С. Век спустя

Как трудно найти у нас людей, которые согласовали бы признаваемые ими правила с последствиями, из них вытекающими.

Вяземский. Записные книжки

Сотая годовщина со дня смерти Вяземского миновала неприметно. К нему — и к литературе — это не имело отношения. Просто властвовавшие в ту пору страной старцы вместе с предводителем своим отчаянно балансировали на грани маразма — и очень не любили каких-либо упоминаний о смерти. Видимо, несложная мысль о бренности земного бытия была для них нестерпима. Потому подобные даты, если изредка и отмечались, то весьма скромно. И лишь в исторически, так сказать, бесспорных случаях. Имя Вяземского в том списке, разумеется, не значилось.

Тем не менее именно тогда, не юбилеем вдохновленное, но соблазнившись темой «о друге Пушкина», издательство «Детская литература» заключило с автором этих строк договор на книгу «Звезда разрозненной плеяды!..» Завершенная в 1981 году книга, понятно, отличалась от нынешней. Впрочем, не слишком. Разве что поменьше была, не столь обстоятельна в некоторых эпизодах, и только.

Мне казался единственным достойным отражения, то есть более или менее законным (с редакторской точки зрения) упрек в том, что не отдал я достаточной (а сказать по правде — вовсе никакой) дани пресловутой «специфике» изданий для «невзрослого» читателя, которому почему-то принято предлагать историю литературы — и вообще историю — в ее прогрессивно-реакционном, черно-белом варианте, а после просто-душно огорчаться невежеством его.

Что же до героя моего, то за поступки, мысли, сочинения свои он как будто сполна расплатился еще при жизни...

Не тут-то было! Оказалось, что и целое столетие не сделало Вяземского покойным классиком, приятным во всех отношениях.

Начать хотя бы с того, что издательство получило рукопись книги о нем в самый разгар очередных, Бог весть каких по счету за последние двести лет «польских событий», своеобразно — и не без абсурдизма — запечатлевшихся в истории нашей отечественной словесности.

Так, однотомное «полное собрание» лирики Пушкина не досчиталось — благодаря цензорской бдительности — одного стихотворения. Догадливый и просвещенный читатель, вероятно, уже заподозрил, что это — «Клеветникам России»:

**Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях иль верный росс?—**

или, в крайнем случае, «Бородинская годовщина»:

**Сильна ли Русь? Война и мор,
И бунт, и внешних бурь напор
Ее, беснуясь, потрясали —
Смотрите ж: всё стоит она!
А вокруг ее волненья пали —
И Польши участь решена...**

Ничего подобного. Строки, помеченные 1831 годом и наводящие на внятные ассоциации с тогдашним восстанием поляков «за нашу и вашу свободу», остались нетронуты. Пострадали стихи куда более невинные, написанные тремя годами позже и обращенные к Адаму Мицкевичу — «Он между нами жил...»

...Наш мирный гость нам стал врагом — и ядом
Стихи свои, в угоду черни буйной,
Он напоет. Издали до нас
Доходит голос злобного поэта...

В 1982 году вышел двухтомник «Переписка А. С. Пушкина». В предисловии к разделу «А. С. Пушкин и П. А. Вяземский» сказано, что сохранилось семьдесят четыре пушкинских письма к этому адресату. А следом напечатаны... семьдесят три. За исключением известного, не раз прежде публиковавшегося письма от первого июня 1831 года, этого прозаического варианта «Клеветникам России»: «...Но все-таки их надобно задушить, и наша медлительность мучительна. Для нас мятеж Польши есть дело семейственное, старинная, наследственная распря; мы не можем судить ее по впечатлениям европейским, каков бы ни был, впрочем, наш образ мыслей...»

Не обошлось без эксцессов и в «Детской литературе». Престарелая заведующая редакцией классики (той самой, где готовилась к изданию книга о Вяземском) чувствительно пострадала — осталась без премии. За то, что не доглядела, пропустила в печать — и цензору пришлось вымарывать у... Горького, из «Старухи Изергиль»: «В Польше стало трудно мне. Там живут холодные и лживые люди. Я не знала их змеиного языка. Все шипят... Что шипят? Бог дал им такой змеиный язык за то, что они лживы...»

Вот к этакому кошмару и подоспел князь Вяземский со своими далеко не безобидными размышлениями о Польше. Надо ли удивляться, что заведующая, читая рукопись, особенно третью главу, то и дело рефлекторно хваталась за карандаш, мучительно сдерживая (впрочем, не всегда) желание вычеркнуть всякий абзац, где попадались ей слова «Польша» или «поляки», — а других абзацев в «польской» главе, естественно, раз-два и обчелся. Справедливости ради, замечу, что отказаться вовсе от издания книги ей и в голову не приходило: несколько ученых «с именем» уже отрецензировали рукопись, отозвались о ней в высшей степени благожелательно, оспаривать их не было ни поводов, ни доводов.

Правда, поделилась-таки она с автором продуктивной идеей: обойтись вообще без подробностей варшавской жизни Вяземского, не распространять их на целую

главу, упомянуть вскользь — и довольно. Дескать, всего-то два года из восьмидесяти шести, им прожитых, кто заметит! Однако настаивать не стала.

Сошлись на том, чтобы пригласить в «научные редакторы» книги Б. Ф. Стахеева, замечательного знатока русско-польских политических и культурных взаимоотношений. Недолгое сотрудничество с Борисом Федоровичем вспоминаю с удовольствием. Мы постарались — без умолчаний и вивисекций — предвосхитить вероятные и почти неизбежные будущие нападки, используя, кстати, опыт Вяземского, изрядно понаторевшего в преодолении цензуры. Получилось, вроде бы, неплохо.

Во всяком случае, издательство рукопись одобрило. И... под разнообразными предложениями стало откладывать ее издание. То запасы бумаги, на которой только и возможно хорошее качество иллюстраций, израсходованы на год вперед, то машинистка при перепечатке плана пропустила строчку с названием именно этой книги, то еще что-то... Объяснялось же все прозаически: заведующая редакцией, давно перешедшая пенсионный рубеж, категорически не хотела отправляться на заслуженный отдых. И потому избегала малейшего риска, дабы начальство не усомнилось в ее способности, как бы это повернее, «не портить борозды», что ли...

Наконец, в 1984 году пришел срок обеим: даме — на пенсию, рукописи — в типографию. А еще через год, в августе восемьдесят пятого, «главлит» (под таким псевдонимом в советское время действовала цензура) поставил на корректуре подпись и печать, что означало дозволение на выход книги в свет. И ничто уже не могло этому помешать, если бы дело было годом-двумя раньше.

Но аккурат в те месяцы «перестроечная волна» докатилась и до книжек. К руководству издательством пришли «новые люди» со славным комсомольским прошлым. Главным редактором стал автор новаторской кандидатской диссертации об «активном молодом герое в советской прозе семидесятых годов». А в директорском кресле расположилась дама, некогда известная квадратно-гнездовым и военно-патриотическим выращиванием пионеров в государственном масштабе. Оба жаждали деятельности. И утоление жажды начали с Вяземского.

Книга не вышла. Сперва ее потихоньку вычеркнули из плана. А корректуру первый из упомянутых начальников забрал к себе в кабинет — на срок, совершенно достаточный для человека малограмотного, чтобы прочитать ее не только по складам, но и по буквам. Мои попытки что-либо выяснить были безуспешны. Издательские чиновники — из начальства рангом ниже — демонстрировали старательно усвоенную манеру фарфоровых китайских болванчиков: улыбаясь и кивая — все больше невпопад. Потом поползли слухи, что в издательстве чудом, в последний миг удалось предотвратить появление ужасной книги. Какой? — никто толком не знал, все окутывала непроницаемая завеса секретности.

И лишь когда дальнейшее молчание запахло гарью неизбежного — судебного — скандала, в июне восьмидесят шестого, я получил письмо:

«По поручению руководства издательства сообщаем Вам, что 11 мая с. г. на расширенном партбюро (так в тексте! — В. П.) издательства состоялось обсуждение Вашей рукописи «Звезда разрозненной плеяды», после которого Главная редакция приняла решение рукопись не издавать как работу, содержащую серьезные идейно-художественные просчеты, искажение марксистско-ленинских принципов в анализе исторической обстановки и развития общественной мысли в России XIX века...»

Словом, герой не при чем, во всем виноват автор. Если бы...

Особенность такого рода документов — в их политической определенности и одновременно в смысловой зашифрованности. Понять о чем, собственно, речь, — невозможно.

По счастью, мне удалось познакомиться со стенограммой этого «обсуждения», озаглавленного: «Выработка коллективного отношения к особо-сложной рукописи» (здесь и далее за стиль, господствующий в цитатах, я прошу прощения у читателя, который, быть может, ожидал от профессиональных издателей популярной литературы несколько лучшего владения речью — устной и письменной; не скрою, предполагал обойтись пересказом, щадя его, читателя, силы и вкус, но не уверен в своем умении сделать так не в ущерб достоверности).

Два предваряющих пояснения. Во-первых, «обсуждалась» никакая не рукопись, а корректура, размноженная с «начальственными» пометами на полях — дабы выступающие хорошенько сориентировались в том, какого «мнения» ожидают от них, так сказать, свыше. Во-вторых, на «расширенное партбюро» (что уже само по себе настраивало на политический, а не литературный лад) пригласили — для страховки и пушечной убедительности — чиновников из городского комитета партии и республиканского комитета по делам печати и не позвали ни одного историка литературы, ни даже «научного редактора». Так что гармония была тщательно спланирована. Хотя без диссонанса все же не обошлось. Но о том — позже.

Итак, слово первое. Зачин.

«Мы имеем дело с дилетантом, впавшим в псевдонаучность... Характер Вяземского искажен и не раскрыт, поэтическое его творчество осталось за бортом... Либеральные взгляды Вяземского вызывают недоумение и протест, а автор представляет его чуть ли не главой демократической критики своего времени»...

Вступает второй оратор.

«Автор абстрагируется от Вяземского. Для него книга — повод донести свой скепсис до читателя. И в этом выражается негативное отношение автора к сегодняшнему дню... Книга побуждает читателя читать с подтекстом... В книге нет координат времени, а есть слова «власть», «государство», «Россия» — и все глаголы стоят в настоящем времени... Политическая лексика современная, а социальные ориентиры отсутствуют... Автор для поднятия Вяземского всех принижает, идя вразрез с ленинской теорией (ничего не комментирую: книга — вот она, все, что мог я сказать, в ней сказано, — позволю себе некоторые фрагменты, смысл которых, как в этом случае, мне недоступен, сопроводить знаком удивления — ? — В. П.). К тому же он очень плохо относится к прошлому и настоящему... Вопрос: нужна ли такая книга? Нет! Нельзя давать писать книги такому человеку, как автор!»

Реплика с места, очевидно, для того, чтобы «отметить» свое присутствие.

«Хотя книгу смотрел Стахеев, все равно создается впечатление, что Россия все захватывает. Польшу, например»...

Тема тут же подхватывается, развивается.

«То, как написано о «польском вопросе» — подливание масла в огонь. И вообще национальный вопрос режет глаза: ни один из героев не назван по национальности, кроме поляков, и в этом тенденциозность автора (?)... Здесь мы видим преднамеренное искажение действительности, необъективность и некомпетентность буквально в каждом знаке»...

Теперь — черед партийного секретаря сказать что-нибудь идеологическое. И кратко, то есть талантливо.

«Там, где в книге говорится о пребывании Вяземского в иезуитском пансионе, надо было обязательно сказать о реакционности иезуитского ордена, о том, что главная его задача — борьба с коммунизмом и социализмом!»

Похоже, с автором уже разобрались. Можно приниматься за героя — кто, как не он, дал повод так о себе писать. Эту нелегкую задачу берет на себя одна из ветеранш издательства.

«Личность Вяземского вызывает у меня отвращение. Его двойственность — под стать двойственности автора... Книга эта — хорошая пропаганда антисоветских идей. Это — не только политическая близорукость, это — диверсионный акт. Так что литературоведческая ценность книги сомнительна»...

Ну, а у следующей выступающей отношение к предмету разговора более личное, если хотите, интимное.

«Первое, к чему я обратилась, прочитав эту книгу, — к Ленину. И у редакторов книги была такая же возможность, но они ею не воспользовались... А вообще Вяземский — поэт пушкинской плеяды, и не более того. И он мне неприятен, хотя он — наша классика... Я считаю, что такую рукопись надо искоренять. Тем более, что в ней отсутствует ленинская периодизация (?)»...

Вот и все. Пора подводить итоги — это дело начальников, по нарастающей. Начиная с главного редактора.

«В книге нет ничего такого, чего никто не знает. Все (?) давно опубликовано — и могло помочь автору стоять на ленинских позициях. Но автор пропел гимн либерализму, учению реакционнейшему. Он пробивает дорогу либерализму в наше издательство (!?)... С точки

зрения марксистско-ленинской методологии, автор — враг. И зачем ему это?.. Я не знаю, какой национальности Вадим Гершевич Перельмутер, я не антисемит, но вижу, что он биологически не любит людей, в основном, русских».

Директорская речь — образец деловитости, ничего лишнего.

«Автор в книге дает рецепт — как избежать цензуры? Так что не будем говорить о деньгах, уже затраченных на подготовку книги».

Точку ставит представительница выше- (-стоящей? или -сидящей?) организации — в лучших, нет, слабо, в классических традициях, закаленных в горниле, извиняюсь за выражение, идейно-художественных дискуссий.

«Хотя рукопись я не читала, но, слушая, что о ней говорят, я поддерживаю мнение выступавших о прекращении издания».

Конечно, много чего еще тогда говорилось, времени не экономили, было в избытке повторов, лирических и патетических отступлений, которые пришлось опустить, чтобы не мешали видеть суть и драматургию действия. Лишь однажды трогательное это единогласие было не то, что нарушено, так, слегка поколеблено. Когда всю жизнь проработавшая в издательстве, занимаясь русской классикой, редакторша поинтересовалась — читал ли кто-нибудь из присутствующих рецензии на рукопись? И подивилась: «Неужели мы понимаем больше, чем специалисты?» Коллеги словно бы оглохли. Как и подобает хорошо воспитанным людям в присутствии особы, не умеющей себя вести в приличном обществе...

Устроители этого представления, верно, думали, что тем и кончится. И ошиблись. Автор попался несговорчивый. Не удовлетворился скупым косноязычием официального письма, ярлык, специально для него изготовленный, нацеплять не пожелал. И стал — чем дальше, тем настырней — объяснений требовать. И у издательства. И повыше.

Ну, «повыше» люди тертые. У них на такие случаи всегда имелись под рукой ручные рецензенты, которых литераторы между собою любовно называли «наемными убийцами». Они там не работали — подрабатывали, заручаясь заодно поддержкою в собственных делах —

диссертацию, там, защитить или книжечку издать. Один из них, некто Е. Лебедев, сочинил отзыв о моей работе, отрицательный, понятно, в подмогу издательству. Но уж больно беспомощный, неубедительный, заказчи- ки рукой махнули: не получилось. И велели издателям подготовиться поосновательней — и рецензию соста- вить, так называемое «редакционное заключение», чтобы без промаха и наповал. Три месяца жизни этот труд у сочинителей отнял, лишь к концу сентября был готов. Комментировать его, опять же, не вижу надобности. Он сам говорит за себя с красноречием редкостным.

«...Автор в своей работе «Звезда разрозненной плея- ды», вольно или невольно, но совершенно отчетливо допустил восхваление российского либерализма и его деятелей, к числу которых принадлежал П. А. Вязем- ский. Откровенное сочувствие политической «половин- чатости» звучит у автора на многих страницах — говорится ли о детстве героя, выросшего в кругу лиц, находившихся в известной мере в оппозиции к режиму, или же о либеральных замыслах царя... Серьезным не- достатком всей вещи, проявлением явной аполитично- сти, явилось то, что автор, оправдывая либерализм П. А. Вяземского и различные ухищрения его в этом плане (курсив мой.— В. П.), в своей работе «Звезда разрозненной плеяды» игнорировал Ленинское положе- ние о сущности либерализма как буржуазного полити- ческого и идеологического течения... В освещении «польского вопроса» обращает на себя внимание одно- бокое представление знакомства и дружбы Вяземского с Мицкевичем (откуда ни глянь, а никакого «другого бока» у той дружбы не было.— В. П.). Позиция автора в отношении стихотворения «Клеветникам России» абсолютно неприемлема. Не понимая сложности (!) вопроса, получившего ясность (?) в нашем литературо- ведении, автор ... отдает предпочтение радикалу (ну, почему же не «либералу», не синонимы, чай!— В. П.) Вяземскому в противовес (так!— В. П.) Пушкину... При раскрытии отношений Вяземского с Пушкиным акцен- ты оказались смещены... Обращается внимание на то, что Вяземскому не были свойственны заблуждения, проявившиеся у Пушкина в «Кавказском пленнике»: «...передовая критика показала, что именно Онёгин и есть современный герой, а не завоеватели Кавказа»

(не верьте рецензентам, читатель, автор не хуже вас знает, что Онегин — герой совсем другого сочинения А. С. Пушкина, не «Кавказского пленника»! просто цитата «не оттуда» выхвачена — В. П.)... Многое, действительно ценное, в его (Вяземского. — В. П.) облике упущено и в то же время выпячены моменты, не имеющие серьезного научного значения, принадлежащие к области внесоциального человековедения, к субъективистским учениям из области политических идей, к немарксистским и неленинским толкованиям в историческом аспекте гражданственности и либерализма, русской общественной жизни и русской государственности...»

В заключительном пассаже запутываюсь ровно столько раз, сколько читаю и перечитываю его. А чернила, сэкономленные на вопросительных знаках, которые впору расставлять там чуть ли не в каждом междусловесном пробеле, лучше употребить на переключку из классиков: «Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищю» (Пушкин) — «...Не дает ответа» (Гоголь).

Под рецензией, как и под первым письмом, — подписи двух тех самых «китайских болванчиков», которых вскоре и без шума убрали из издательства. И концы в воду...

А Вяземский надолго стал нежелательной персоной в «Детской литературе» — упоминания о нем, цитаты из него вычеркивались у авторов неукоснительно.

Признаться, не без сожаления отказываюсь от соблазна раскрыть имена действующих лиц и исполнителей этого бездарно и невежественно разыгранного фарса. Но много чести для них — даже и такой, сколопендров след в истории литературы.

Впрочем, обойтись без одного исключения — выше моих сил. В некоей книге, выпущенной тем же издательством, главный редактор, видно, оскорбившись за однофамильца своего, собственноручно вымарал цитату, дневниковую пушкинскую запись: «Уваров — большой подлец».

Он, однофамилец, по-прежнему при деле, правда, на другом посту. Не имеют повода дуться на судьбу и остальные. Директор директорствует. Под боком у нее нашлось местечко для бывшей «госкомиздатской» чиновницы. Еще трое, то ли четверо, участников той славной кампании затеяли собственное книжное предприятие. И, по слухам, благоденствуют...

Ныне, поостыв, думаю о диалектике добра и зуда. Того и гляди, почувствую к ним ко всем нечто вроде благодарности. Ведь без них, без оголтелых моих, нипочем не была бы написана вот эта, еще одна страница жизни и творчества Вяземского.

Надеюсь — не последняя.

1981—1992

Указатель имен

Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860) — публицист, поэт — 277.

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859) — писатель; в 1820—1830 гг. цензор в Москве — 190, 272, 276—278.

Александр I (1777—1825) — российский император с 1801 г.— 24—26, 35, 44—47, 50—59, 61—62, 66, 71—75, 77, 80, 83, 89—91, 93, 96—98, 100, 102, 106, 109, 112, 155, 195, 198, 201, 204, 210, 213, 223, 235, 279, 285—286, 291.

Александр II (1818—1881) — российский император с 1855 г.— 109, 246, 265—266, 272—273, 277—279, 284—286, 295—296, 298, 302, 317.

Александр III (1845—1894) — российский император с 1881 г.— 109.

Анненков Павел Васильевич (1813—(12?)—1887) — критик, историк литературы, прозаик, мемуарист — 222, 250—251.

Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834) — военный и государственный деятель при Павле I, Александре I и Николае I — 72, 74.

Аристотель (384—322 до н. э.) — древнегреческий философ — 159, 160, 164.

Бабёф Гракх (Франсуа Нозль) (1760—1797) — французский коммунист-утопист, деятель Великой Французской революции, в 1796 г. возглавил Тайную повстанческую директорию, готовившую народное восстание; казнен — 94.

Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—1824) — английский поэт — 119, 189, 193, 319, 328—329.

Баратынская (урожденная княжна Абаемелек) Анна Давыдовна (1814—1889) — переводчица Пушкина и других русских поэтов на иностранные языки, жена И. А. Баратынского, брата поэта — 335, 338.

Баратынский Евгений Абрамович (1800—1844) — поэт — 5, 10—11, 33, 129—131, 139—140, 143, 152, 154—155, 181, 189, 193, 207—208, 230, 239, 248, 253, 256, 311—312, 319.

- Барсуков Николай Платонович (1838—1906) — историк литературы, библиограф — 150.
- Батюшков Константин Николаевич (1787—1848) — поэт — 5, 9, 30, 33, 43, 128, 228, 230, 311, 318.
- Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — критик, публицист — 150—151, 154, 159—161, 256, 289, 299.
- Белосельский-Белозерский Михайлович (1752—1809) — дипломат и поэт, отец З. А. Волконский — 318.
- Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807—1873) — поэт — 233.
- Бенкендорф Александр Христофорович (1783—1844) — государственный деятель; с 1826 г. шеф жандармов и начальник III отделения — 159, 190, 195, 198, 204—205, 210, 212, 216—217, 234, 279, 303.
- Беранже Пьер-Жан (1780—1857) — французский поэт — 194.
- Бестужев (Марлинский) Александр Александрович (1797—1837) — декабрист, поэт, прозаик — 8, 16, 84, 90, 95, 251.
- Бестужев-Рюмин Алексей Петрович (1693—1767) — военный и государственный деятель, канцлер при Елизавете Петровне, генерал-фельдмаршал при Екатерине II — 319.
- Бестужев-Рюмин Михаил Павлович (1803—1826) — декабрист — 251.
- Бирон Эрнест Иоганн герцог Курляндский (1690—1772) — фаворит императрицы Анны Иоанновны — 334.
- Блок Александр Александрович (1880—1921) — поэт — 182.
- Блудов Дмитрий Николаевич (1785—1864) — член «Арзамаса», государственный деятель; племянник Г. Р. Державина, двоюродный брат В. А. Озерова — 88, 191—193, 202.
- Богданович Ипполит Федорович (1743—1803) — поэт — 174, 176.
- Бороздин Михаил Михайлович (1767—1837) — генерал-лейтенант, в 1799—1800 гг. командующий русскими войсками в Италии — 47.
- Брессан Жан Батист Проспер (1815—1886) — французский драматический актер; с 1838 г. по 1845 г. гастролировал в Петербурге — 123.
- Брунов Филипп Иванович (1797—1875) — дипломат — 245.
- Брюсов Валерий Яковлевич (1873—1924) — поэт — 189, 342—343.
- Буало-Депрео Никола́ (1636—1711) — французский поэт, теоретик классицизма — 23, 159, 164.
- Булгаков Александр Яковлевич (1781—1863) — московский почт-директор с 1832 г. — 81, 238—239, 241.
- Булгаков Константин Яковлевич (1782—1835) — петербургский почт-директор с 1819 г., брат А. Я. Булгакова — 81, 244.
- Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859) — писатель, журналист — 16, 159, 168—169, 188, 190, 193—195, 207, 234—235, 245, 247, 281—282.
- Буслаев Федор Иванович (1818—1897) — языковед, теоретик литературы, историк искусства — 318.
- Бутурлин Дмитрий Петрович (1763—1829) — библиофил, библиограф — 24—25, 295, 318.
- Бычков Афанасий Федорович (1818—1899) — историк литературы и библиограф — 150.
- Веселовский Александр Николаевич (1838—1906) — историк и теоретик литературы — 169.
- Виельгорский (Виельгорский) Михаил Юрьевич (1788—1856) — музыкант, композитор; в 1840-х гг. дом братьев Михаила и Матвея Виельгорских был центром артистической жизни Петербурга — 187.
- Владимир II Мономах (1053—1125) — с 1113 г. великий князь Киевский — 18.

- Волошин Максимилиан Александрович (1877—1932) — поэт — 189.
- Вольтер (Мари Франсуа Аруэ) (1694—1778) — французский писатель, философ — 7, 23—24, 27, 29, 36, 41, 152, 164, 175, 237, 260, 267—268, 281, 300—303, 311, 315, 326.
- Воронцов Александр Романович (1741—1805) — государственный деятель — 24.
- Воронцов Михаил Семенович (1782—1856) — участник войны 1812 г.; с мая 1823 — генерал-губернатор и наместник Бессарабской области, впоследствии — наместник Кавказа — 66, 244.
- Воронцов Семен Романович (1744—1832) — дипломат; отец М. С. Воронцова — 24.
- Вяземская Вера Федоровна (урожденная княжна Гагарина) (1790—1886) — жена П. А. Вяземского — 38—39, 99, 111, 118, 223, 313, 340.
- Вяземская Евгения Ивановна (урожденная О'Рейлли, в первом браке — Квин) (1762—1802) — мать П. А. Вяземского — 19, 199, 319.
- Вяземская Екатерина Андреевна (в замужестве Щербатова) (1789—1810) — сестра П. А. Вяземского — 106.
- Вяземская Екатерина Павловна (в замужестве Шереметева) (1849—1929) — внучка П. А. Вяземского — 319.
- Вяземская Мария Аркадьевна (урожденная Столыпина, в первом браке Бек) (1819—1889) — жена П. П. Вяземского — 336.
- Вяземская Надежда Петровна (1822—1840) — дочь П. А. Вяземского — 335.
- Вяземский Андрей Иванович (1754—1807) — наместник нижегородский, пензенский, впоследствии сенатор; отец П. А. Вяземского — 18—23, 26—29, 31—32, 34, 44, 106, 191, 318—319, 321.
- Вяземский Иван Андреевич (1722—1786) — видный правительственный чиновник при Екатерине II; дед П. А. Вяземского — 18.
- Вяземский Павел Петрович (1820—1888) — литератор, дипломат; сын П. А. Вяземского — 245, 317—318, 336.
- Гагарин Иван Сергеевич (1814—1882) — дипломат — 313.
- Гагарин Федор Федорович (1786—1863) — генерал, участник войны 1812 г.; брат В. Ф. Вяземской — 99.
- Галахов Алексей Дмитриевич (1807—1892) — историк литературы, составитель хрестоматий — 304, 310.
- Геккерт Луи Борхард де Беверваард (1791—1884) — нидерландский дипломат при русском дворе в 1823—1837 гг. — 242—245.
- Герцен Александр Иванович (1812—1870) — писатель, публицист — 187, 198, 212, 289, 293.
- Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832) — немецкий поэт — 9, 32—33.
- Гиллельсон Максим Исаакович (1915—1984) — историк литературы — 283.
- Глинка Михаил Иванович (1804—1857) — композитор — 233.
- Глинка Федор Николаевич (1786—1880) — поэт, декабрист — 5, 7, 33, 63.
- Гнедич Николай Иванович (1784—1833) — поэт, переводчик — 37.
- Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — 5, 8, 152, 179, 220, 233, 253—254, 256—260, 280, 287, 289, 296, 319, 353.
- Годунов Борис Федорович (1552—1605) — русский царь с 1598 г. — 62, 154.
- Голицын Александр Михайлович (1838—1919) — автор неизданных записок, был близок ко двору Александра II — 246.
- Голицын Александр Николаевич (1773—1844) — государственный деятель — 25.

- Голицын Дмитрий Владимирович (1771—1844) — участник войны 1812 г., генерал-губернатор Москвы с 1820 г. — 199.
- Гомер — легендарный эпический поэт Древней Греции — 257.
- Гончаров Иван Александрович (1812—1891) — писатель — 272, 287, 292, 322.
- Гончарова Екатерина Николаевна (1809—1843) — старшая сестра Н. Н. Пушкиной, с 10 января 1837 г. жена Дантеса — 239, 245.
- Гораций (Квинт Гораций Флакк) (65—8 до н. э.) — римский поэт — 9, 36, 76, 160, 184, 209, 305.
- Готовцева Анна Ивановна (1799—1871) — поэтесса — 180.
- Греч Николай Иванович (1787—1867) — писатель, журналист, филолог — 155, 188.
- Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829) — поэт, дипломат — 5, 37, 67, 85, 94, 96, 98—99, 193, 219, 287, 319, 325.
- Григорьев Аполлон Александрович (1822—1864) — поэт, литературный и театральный критик — 303.
- Грот Яков Карлович (1812—1892) — филолог, историк литературы — 150, 325.
- Грудзинская Иоанна (1779—1831) — с 1820 г. жена великого князя Константина Павловича, княгиня Лович — 53.
- Гумбольдт Александр Фридрих Вильгельм фон (1769—1859) — немецкий ученый-натуралист, путешественник и писатель, приезжал в Россию в 1829 г. — 6.
- Гурьев Дмитрий Александрович (1751—1825) — в 1810—1823 гг. министр финансов — 74.
- Гюго Виктор Мари (1802—1885) — французский писатель — 124, 165.
- Давыдов Денис Васильевич (1784—1839) — поэт, военный писатель, герой войны 1812 г., член «Арзамаса» — 5, 228, 239, 243, 247, 318.
- Дантес Геккерн Жорж-Карл (1812—1895) — приемный сын Л. Геккерна, убийца Пушкина — 239, 242, 245—246.
- Дашкова Екатерина Романовна (урожденная Воронцова) (1743—1810) — приближенная Екатерины II, в 1783—1796 гг. президент Академии наук; автор знаменитых мемуаров — 26.
- Дегаев Сергей Петрович (1857—1920) — агент-провокатор петербургской охранки, в 1882 г. возглавил центральную группу «Народной воли», в 1883 г. разоблачен, скрылся — 109.
- Дельвиг Антон Антонович (1798—1831) — поэт — 5, 98—99, 125, 152, 164, 207, 210, 219, 230, 312.
- Державин Гавриил Романович (1743—1816) — поэт — 27, 29, 37, 76, 138, 142—144, 146—147, 151—152, 163, 170—171, 176, 189, 230, 247, 267, 304.
- Дефо Даниэль (1660—1731) — английский писатель и политический деятель — 23.
- Дешан (Пешар-Дешан) Петр Иванович (ум. в 1819 г.) — французский юрист, служил в России — 58—59.
- Дидро Дени (1713—1784) — французский писатель, философ — 23.
- Дмитриев Иван Иванович (1760—1837) — поэт — 5, 7—8, 25, 29—30, 33, 57, 85, 125, 128, 152, 170, 173, 179, 191, 226, 228, 230, 248, 318, 321, 327.
- Долгоруков Петр Владимирович (1816—1868) — чиновник министерства народного просвещения, впоследствии политический эмигрант, генеалог — 245.
- Домашнев Сергей Герасимович (1742(?) — 1796) — директор Российской Академии наук — 176.

Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — 264, 322—323, 334.

Дурылин Сергей Николаевич (1877—1954) — литературовед, театровед — 101.

Екатерина II ((1729—1796) — российская императрица с 1762 г. — 18—19, 24, 30, 32, 52—53, 71, 78, 84, 174—176, 255, 326.

Елагина Авдотья (Евдокия) Петровна (урожденная Юшкова, в первом браке Киреевская) (1789—1877) — мать И. В. и П. В. Киреевских, племянница В. А. Жуковского — 217.

Елизавета Алексеевна (урожденная Луиза, принцесса Баденская) (1779—1826) — императрица, жена Александра I — 52.

Ермолов Алексей Петрович (1772—1861) — генерал, полководец и дипломат, участник Суворовских походов и войн с Наполеоном — 56, 158.

Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) — поэт — 5, 8—9, 12, 30—32, 41, 43, 63, 75, 86, 88—89, 98, 101—102, 128, 152, 156, 161, 164, 169, 178, 181, 189, 199, 201, 204—205, 209, 212, 214, 217, 220, 227—230, 232—233, 236, 238, 246, 251, 253—254, 256—257, 261, 265—267, 269, 271, 273, 281, 287, 309—313, 318, 320, 327, 331, 335.

Зайончек Юзеф (1752—1845) — польский генерал — 72.

Иван IV Васильевич (Грозный) (1530—1584) — первый русский царь (с 1547 г.). — 18, 291.

Инзов Иван Никитич (1768—1845) — генерал, чиновник министерства иностранных дел — 223.

Канкрин Егор Францевич (1774—1845) — министр финансов, начальник П. А. Вяземского по службе в 1830—1840-х — 205—206, 253.

Кантемир Антиох Дмитриевич (1708—1744) — поэт, дипломат — 154, 170, 176, 226, 287, 304.

Капнист Василий Васильевич (1758—1823) — поэт, драматург — 230.

Каподистриа Иоанн (Иван Антонович) (1776—1831) — с 1815 г. статс-секретарь по иностранным делам России, с 1822 г. президент Греции — 54.

Карамзин Александр Николаевич (1815—1888) — сын Н. М. и Е. А. Карамзиных — 245.

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — писатель, историк — 5, 7, 12, 25, 27, 29—31, 33—35, 38—39, 42—44, 57, 62, 67, 83, 92, 94, 100—101, 105—106, 112—113, 152, 164, 170, 172, 174—175, 178, 185, 195—196, 206, 227, 230, 232—235, 242, 253, 258, 267, 271, 273, 281, 291, 298, 318—320, 323, 326—327, 331, 334.

Карамзина Екатерина Андреевна (урожденная Колыванова) (1780—1852) — жена Н. М. Карамзина, сводная сестра П. А. Вяземского — 28.

Карамзина Софья Николаевна (1802—1856) — старшая дочь Н. М. Карамзина — 239.

Катенин Павел Александрович (1792—1853) — поэт, критик — 83, 99, 155—156.

Катков Михаил Никифорович (1818—1867) — журналист — 287, 313—314.

Катулл Гай Валерий (87 — после 54 до н. э.) — римский поэт — 9, 184, 209.

Каховский Петр Григорьевич (1797—1826) — декабрист — 87, 102, 251.

Кер-Портер Роберт (1777(81?) — 1842) — шотландский художник и литератор — 21.

Киреевский Иван Васильевич (1806—1856) — философ, критик — 217, 279—284.

Кирша Данилов (Кирша Данилович) — скоморох-импровизатор, вероятный составитель первого сборника русских былин, лирических песен, духовных стихов — 257.

Кларк Эдвард Даниель (1769—1822) — английский путешественник и писатель — 25.

Ключевский Василий Осипович (1841—1911) — историк — 318.

Княжнин Яков Борисович (1742—1791) — драматург — 172.

Кожин Вадим Валерианович — критик — 245.

Козлов Иван Иванович (1779—1840) — поэт — 33, 119, 152, 189.

Кологривова Прасковья Юрьевна (урожденная княжна Трубецкая, в первом браке Гагарина) (1762—1846) — мать В. Ф. Вяземской — 37—38, 50.

Констан де Ребекк Бенджамен (1767—1830) — французский политический деятель и писатель — 82, 208, 322.

Константин Павлович великий князь (1779—1831) — второй сын Павла I, участник Итальянского похода А. В. Суворова, войны 1812 г. — 52—54, 82, 97, 109, 114—115, 202, 204—205, 239.

Корнель Пьер (1606—1684) — французский драматург — 29.

Корф Модест Андреевич (1800—1876) — лицейский товарищ Пушкина, государственный деятель — 290.

Костюшко Тадеуш Анджей Бонавентура (1746—1817) — вождь польского восстания 1794 г. — 46, 72.

Котляревский Петр Степанович (1762—1852) — генерал, руководитель военных действий на Кавказе — 158.

Кошелев Александр Иванович (1806—1883) — публицист-славянофил, издатель журнала «Русская беседа» — 287.

Красицкий Игнацы (Игнатий) (1735—1801) — польский писатель — 70.

Крылов Иван Андреевич (1769—1844) — поэт — 7—8, 37, 43, 179, 233, 253.

Курочкин Василий Степанович (1831—1875) — поэт, журналист — 299.

Кутузов-Смоленский Михаил Илларионович (1745—1813) — полководец — 250.

Кутузов (Голенищев-Кутузов) Павел Иванович (1766—1829) — поэт и переводчик — 191.

Кювье Жорж (1769—1832) — французский зоолог — 111, 304.

Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797—1846) — поэт, критик, декабрист — 33, 85—86, 109, 318.

Лавин (Делавинь) Казимир Жан Франсуа (1793—1843) — французский поэт и драматург — 164.

Ламартин Альфонс Мари-Луи де (1790—1869) — французский поэт и государственный деятель — 6, 317.

Ларошфуко Франсуа де (1613—1695) — французский писатель-моралист — 23, 36.

Лафонтен Жан де (1621—1695) — французский баснописец, писатель — 23, 29, 37.

Левашов Василий Васильевич (1783—1848) — государственный деятель, один из руководителей следствия и суда над декабристами — 103, 105.

Левик Вильгельм Вениаминович (1907—1983) — поэт-переводчик — 252.

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1716) — немецкий философ, математик, языковед — 267.

- Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — поэт — 79, 141, 240, 252—253, 319.
- Лесков Николай Семенович (1831—1895) — писатель — 322.
- Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765) — поэт, ученый — 27, 30, 64, 128, 163, 170, 304.
- Лонгинов Михаил Николаевич (1823—1875) — библиограф, историк литературы — 222, 312.
- Лотман Юрий Михайлович — историк и теоретик литературы — 106.
- Луи-Филипп (Лудвиг-Филипп) (1773—1850) — с 1830 г. французский король — 253.
- Лунин Михаил Сергеевич (1787—1845) — декабрист — 56, 82, 96, 104.
- Львов Николай Александрович (1751—1803) — поэт, переводчик, архитектор, график — 197.
- Людовик XIV Бурбон (1638—1715) — французский король — 266.
- Майков Аполлон Николаевич (1821—1897) — поэт — 252.
- Макиавелли Никколо (1469—1527) — итальянский политический мыслитель, писатель — 23.
- Мамонов (Дмитриев-Мамонов) Матвей Александрович (1790—1863) — генерал-майор, участник войны 1812 г. — 191.
- Мандельштам Осип Эмильевич (1891—1938) — поэт — 147, 247.
- Мандзони Алессандро (1785—1873) — итальянский писатель — 317.
- Марат Жан-Поль (1743—1793) — деятель Великой Французской революции — 94.
- Маркс Карл (1818—1883) — 198.
- Марциал Марк Валерий (ок. 42 — между 101 и 104) — римский поэт — 184.
- Меншиков Александр Сергеевич (1787—1869) — адмирал, приближенный Александра I — 66.
- Мерзляков Алексей Федорович (1778—1830) — поэт, критик — 30—31, 159.
- Милорадович Михаил Андреевич (1771—1825) — участник Суворовских походов, герой войны 1812 г., в 1818—1825 гг. генерал-губернатор Петербурга — 39, 61, 63, 102.
- Мильтон Джон (1608—1674) — английский поэт — 23.
- Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835—1889) — поэт-сатирик — 252.
- Минин Кузьма (ум. 1616) — нижегородский мещанин, один из организаторов ополчения 1612 г. — 231.
- Михаил Павлович великий князь (1798—1849) — четвертый (младший) сын Павла I — 29, 86, 109, 239, 242—243, 248.
- Мицкевич Адам (1798—1855) — польский поэт — 6, 8, 45, 129, 152, 164, 188, 251—252, 287, 317, 319, 345, 352.
- Мольер (Поклен) Жан-Батист (1622—1673) — французский драматург — 29, 36.
- Монтень Мишель (1533—1592) — французский философ и писатель — 23, 29.
- Монтескье Шарль Луи (1689—1755) — французский философ и писатель — 29, 237, 281.
- Мордвинов Николай Семенович (1754—1845) — адмирал, государственный и общественный деятель — 23—24, 98, 318.

- Муравьев Никита Михайлович (1796—1843) — декабрист — 6, 41, 85, 88, 91, 95, 98—99, 174, 196, 235.
- Муравьев-Апостол Сергей Иванович (1796—1826) — декабрист — 56, 94, 103, 251.
- Мусин-Пушкин Алексей Иванович (1744—1817) — историк, археолог и собиратель рукописей, президент Академии художеств—318.
- Мусин-Пушкин Михаил Николаевич (1795—1862) — в 1845—1856 гг. попечитель Петербургского учебного округа и председатель Петербургского цензурного комитета — 289.
- Мусина-Пушкина Эмилия Карловна (урожденная Шернваль фон Валлен) (1810—1846) — знакомая А. С. Пушкина и П. А. Вяземского — 242.
- Мюллер Жан (1752—1809) — швейцарский историк — 205.
- Надеждин Николай Иванович (1804—1856) — критик, журналист — 160.
- Наполеон I Бонапарт (1769—1821) — французский император — 16, 39, 44, 46, 53, 55, 73, 90, 98, 211, 268—270, 281.
- Нащокин Павел Воинович (1801—1854) — один из близких друзей Пушкина — 239.
- Некрасов Николай Алексеевич (1821—1878) — поэт — 289.
- Нелединский-Мелецкий Юрий Александрович (1752—1829) — поэт — 26, 31, 39, 318.
- Немцевич Юлиан Урсын (1757/58/—1841) — польский писатель — 6, 72—73, 83.
- Нессельроде Карл (Карл-Роберт) Вильгельмович (1780—1862) — в 1816—1856 гг. управляющий коллегией министерства иностранных дел, министр иностранных дел — 244, 246.
- Нессельроде Мария Дмитриевна (урожденная графиня Гурьева) (1786—1849) — жена К. В. Нессельроде — 245—247.
- Никитенко Александр Васильевич (1805—1877) — критик, историк литературы, мемуарист; цензор, впоследствии академик Петербургской Академии наук — 150, 293.
- Никитин Иван Саввич (1824—1861) — поэт — 289.
- Николай I (1796—1855) — российский император с 1825 г. — 24, 53, 94, 99—101, 104, 106—112, 114—118, 120, 123—124, 176, 184—185, 190—193, 195, 198—199, 201—202, 204—206, 210—212, 216—218, 240, 261, 265—266, 270—271, 274, 276, 278—281, 284, 291—292, 296, 298, 326.
- Новиков Николай Иванович (1744—1818) — писатель-просветитель, журналист и книгоиздатель — 32, 42, 295.
- Новосильцев Николай Николаевич (1761—1838) — государственный деятель — 44—45, 47, 52, 54—55, 58, 81—83, 211.
- Норов Авраам Сергеевич (1795—1869) — участник войны 1812 г., писатель, переводчик, академик, министр народного просвещения, начальник П. А. Вяземского по службе в 1850-х гг.— 266, 277, 292.
- Овидий (Публий Овидий Назон) (43 до н. э. — ок. 18 н. э.) — римский поэт — 36.
- Огарев Николай Платонович (1813—1877) — поэт, публицист — 212, 252, 289.
- Одоевский Александр Иванович (1802—1839) — поэт, декабрист — 33, 99.
- Одоевский Владимир Федорович (1804—1869) — писатель, литературный и музыкальный критик, журналист — 233, 247.
- Озеров Владислав Александрович (1769—1816) — драматург — 128, 149, 151—152, 171—173, 197, 224, 226—227, 260.
- Орлов Алексей Федорович (1786—1861) — генерал, участник

войны 1812 г., дипломат; в 1844—1856 г. шеф жандармов — 155, 246, 277.

Орлов Михаил Федорович (1788—1842) — генерал, участник войны 1812 г., член «Арзамаса», декабрист, брат А. Ф. Орлова — 6, 41, 56, 63—64, 71, 83—84, 88, 99.

Осипова Прасковья Александровна (1781—1859) — помещица с. Тригорского, соседка Пушкина по с. Михайловскому — 236.

Остолопов Николай Федорович (1783—1833) — поэт, переводчик, теоретик стиха — 40.

Павел I (1754—1801) — российский император с 1796 г. — 19, 23—25, 52, 72, 84, 96, 174.

Панин Никита Иванович (1718—1783) — дипломат, государственный деятель, воспитатель Павла I — 23.

Панин Никита Петрович (1779—1837) — дипломат, государственный деятель, участник заговора против Павла I — 23, 174.

Паскаль Блез (1623—1662) — французский религиозный философ, писатель, математик и физик — 316.

Паскевич Иван Федорович (1782—1856) — генерал, с марта 1832 г. наместник Царства Польского с особыми полномочиями — 214.

Пестель Павел Иванович (1793—1826) — герой войны 1812 г., декабрист — 94, 251.

Петр I (1672—1725) — русский царь с 1682 г., император с 1721 г. — 62, 185, 201, 205, 235, 240, 279.

Петр III (1728—1762) — российский император с 1761 г. — 52.

Петров Василий Петрович (1736—1799) — драматург — 170.

Плаксин Василий Тимофеевич (1795—1869) — автор учебных пособий по истории русской литературы — 310.

Плетнев Петр Александрович (1792—1865) — критик — 178, 220, 233, 260, 312.

По Эдгар Аллан (1809—1849) — американский писатель — 243.

Погодин Михаил Петрович (1800—1875) — историк, писатель, публицист — 319.

Пожарский Дмитрий Михайлович, князь (1578—1642) — полководец, один из организаторов ополчения 1612 г. — 231.

Полевой Николай Алексеевич (1796—1846) — писатель, журналист, историк — 160, 187, 191, 195—196, 198, 231, 234.

Потемкин (Таврический) Григорий Александрович (1739—1791) — государственный и военный деятель, фаворит Екатерины II — 19, 142, 224.

Потемкин Сергей Павлович (1787—1858) — участник войны 1812 г., поэт и драматург — 191.

Потоцкий Станислав Станиславович (1787—1831) — участник войны 1812 г., оберцеремониймейстер двора Александра I — 66.

Пришвин Михаил Михайлович (1873—1954) — писатель — 325.

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — 6, 8—10, 12, 15, 38, 43—44, 67—68, 72, 78, 87—90, 96, 98, 101—102, 121, 125, 128, 130, 132—135, 137—138, 143, 145, 154, 156, 158, 161, 163—169, 178—179, 181, 185—186, 188—189, 192—193, 198, 205, 207—208, 210, 212, 214—217, 220—233, 235—253, 257, 260, 264, 267, 271, 273, 281, 284, 287, 289, 291—292, 299, 305, 311—313, 317—320, 324, 327, 329, 340—341, 344—346, 352—353.

Пушкин Алексей Михайлович (1771—1825) — писатель, переводчик — 250.

Пушкин Василий Львович (1766—1830) — поэт, дядя А. С. Пушкина — 25, 30, 41, 44, 128, 318.

- Пушкин Сергей Львович (1767—1848) — отец А. С. Пушкина — 25, 44.
- Пушкина Наталья Николаевна (урожденная Гончарова) (1812—1863) — жена А. С. Пушкина — 242.
- Пушин Иван Иванович (1798—1859) — декабрист — 87, 95, 98—99, 221, 317.
- Радищев Александр Николаевич (1749—1802) — писатель — 24, 77—78, 80, 170, 175, 177.
- Раевский Александр Николаевич (1795—1868) — участник войны 1812 г., друг А. С. Пушкина — 239.
- Раич Семен Егорович (1792—1855) — поэт, переводчик, журналист — 99.
- Расин Жан Батист (1639—1699) — французский драматург — 27, 29, 164.
- Рафаэль Санти (1483—1520) — итальянский художник — 229.
- Рачинский Сергей Александрович (1836—1902) — ботаник, известный деятель народного просвещения — 330—331.
- Рейс Фердинанд Федорович (1778—1852) — профессор Московского университета, химик и медик — 30.
- Робеспьер Максимилиан (1758—1794) — деятель Великой Французской революции, один из руководителей якобинцев; казнен — 94.
- Розанов Василий Васильевич (1856—1919) — писатель — 325.
- Руссо Жан-Жак (1712—1778) — французский философ, писатель — 23, 222.
- Рылеев Кондратий Федорович (1795—1826) — поэт, декабрист — 8, 16, 67, 73, 84, 87, 90, 94, 98, 190, 251.
- Саади (Сади) (между 1203 и 1210—1292) — персидский поэт — 192.
- Сазонов Николай Иванович (1815—1862) — публицист, участник событий Французской революции 1848 г. — 198
- Сайтов Владимир Иванович (1849—1938) — библиограф, главный библиотекарь русского отдела Публичной библиотеки в Петербурге — 321.
- Салтыков Михаил Евграфович (Н. Щедрин) (1826—1889) — писатель — 288.
- Сенковский Осип Иванович (1800—1858) — востоковед, писатель, журналист (псевдоним — Барон Брамбеус) — 248.
- Сент-Бёв Шарль Огюст (1804—1869) — французский поэт-романтик и литературный критик — 174.
- Сибиряков Иван Семенович (ум. 1848) — крепостной поэт, выкупленный у помещика по инициативе П. А. Вяземского; впоследствии актер — 63—64, 102.
- Скотт Вальтер (1771—1832) — английский писатель — 322.
- Случевский Константин Константинович (1837—1904) — поэт — 147; 303, 323, 342.
- Смирнова-Россет Александра Осиповна (1809—1882) — фрейлина с 1826 г., дружила со всем петербургским пушкинским кругом — 246—247.
- Соболевский Сергей Александрович (1803—1870) — библиофил, литератор, друг А. С. Пушкина — 239.
- Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839) — государственный деятель — 56.
- Сталь Анна Луиза Жермена де (1766—1816) — французская писательница — 82, 164.

- Степанов Дмитрий — камердинер П. А. Вяземского — 335.
- Столыпина Мария Алексеевна (урожденная Сверчкова) (1822—1893) — жена Н. А. Столыпина, брата М. А. Вяземской — 336.
- Стурдза Александр Скарлатович (1791—1854) — чиновник министерства иностранных дел, автор работ по религиозным и политическим вопросам — 331.
- Суворов Александр Васильевич (1729/30/ — 1800) — полководец — 39.
- Сумароков Александр Петрович (1717—1777) — поэт, драматург — 30, 63, 128, 154, 170, 172, 180, 209, 224.
- Сухова-Кобылин Александр Васильевич (1817—1903) — драматург — 289.
- Тарле Евгений Викторович (1875—1955) — историк — 245.
- Тацит Публий (ок. 55 н. э. — ок. 120 г.) — 174, 234.
- Тоблер Георг Кристоф (1757—1812) — швейцарский литератор, историк литературы, воспитатель братьев Александра, Андрея, Николая и Сергея Тургеневых — 32.
- Толстой Алексей Константинович (1817—1875) — поэт, драматург — 173.
- Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — 322.
- Толстой Федор Иванович («Американец») (1782—1846) — участник кругосветного путешествия И. Ф. Крузенштерна, войны 1812 г. — 230.
- Трубецкой Сергей Петрович (1790—1860) — декабрист — 89, 96—97.
- Тургенев Александр Иванович (1784—1845) — государственный деятель, писатель, историк, член «Арзамаса» — 7, 18, 32, 37—38, 40—41, 44, 50, 56, 58—63, 65, 74, 76, 78, 80—82, 102, 116, 130, 155—156, 158, 178, 189, 196, 198—199, 216, 220, 223—225, 228, 231, 233—234, 236, 238, 244, 253—254, 261, 281—282, 285, 292, 313, 318, 324.
- Тургенев Андрей Иванович (1781—1803) — поэт, критик, переводчик — 32.
- Тургенев Иван Петрович (1752—1807) — директор Московского университета, отец братьев Тургеневых — 25, 32—33.
- Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — писатель — 222, 264, 289, 322, 334.
- Тургенев Николай Иванович (1789—1877) — писатель-экономист, декабрист, член «Арзамаса» — 40, 56, 60—61, 66—67, 79, 87, 91, 95, 99, 121, 317.
- Тургенев Сергей Иванович (1792—1827) — дипломат — 81, 91.
- Тынянов Юрий Николаевич (1894—1946) — историк и теоретик литературы, писатель — 227.
- Тютчев Федор Иванович (1803—1975) — поэт — 5, 11, 67, 94, 145—146, 220, 312—316.
- Тютчева Екатерина Федоровна (1835—1882) — дочь Ф. И. Тютчева, фрейлина императрицы Марии Александровны — 314.
- Уваров Сергей Семенович (1786—1855) — член «Арзамаса», министр народного просвещения — 88, 256, 353.
- Устрялов Николай Герасимович (1805—1870) — историк — 234.
- Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820—1892) — поэт — 252, 289, 303.
- Федоров Борис Михайлович (1794—1875) — поэт, прозаик, журналист — 80.
- Филиппов Третий Иванович (1825—1899) — литератор, издатель, журналист — 287.

Фонвизин (Фон Визин) Денис Иванович (1744 (или 45) — 1792) — писатель, драматург — 152, 170, 174—178, 255.

Фрейганг Андрей Иванович (1805—?) — цензор — 251, 287.

Ханьков Василий Васильевич (1759—1829) — дипломат, литератор — 318.

Хвостов Дмитрий Иванович (1757—1835) — поэт — 102, 178.

Хемницер Иван Иванович (1745—1784) — поэт — 230.

Херасков Михаил Матвеевич (1733—1807) — поэт — 30, 128, 169—170, 257.

Ходасевич Владислав Фелицианович (1887—1939) — поэт — 193, 342.

Хомяков Алексей Степанович (1804—1860) — поэт, публицист, философ — 173, 274, 280.

Храповицкий Александр Васильевич (1749—1801) — государственный деятель, писатель, один из секретарей Екатерины II — 319.

Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856) — писатель-философ — 6, 99, 206, 228.

Чарторыйский Адам Ежи (1770—1861) — польский и русский политический деятель — 46, 74.

Чернышев Александр Иванович (1785—1857) — государственный деятель, военный министр в 1832—1852 гг., один из руководителей следствия и суда над декабристами — 103.

Чернышев Григорий Петрович (1672—1745) — сподвижник Петра I, сенатор при Анне Иоанновне — 319.

Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889) — писатель, критик, философ — 260, 289.

Четвертинский (Святопулк-Четвертинский) Борис Антонович (1781—1865) — муж сестры В. Ф. Вяземской, Надежды — 191.

Чиж, патер — ректор Петербургского иезуитского пансиона в 1800-х гг. — 28.

Чичерин Георгий Васильевич (1872—1936) — советский дипломат, литератор — 245.

Шаликов Петр Иванович (1767—1852) — писатель — 102.

Шевырев Степан Петрович (1806—1864) — поэт, критик, историк литературы — 304, 319.

Шекспир Вильям (1564—1616) — 257, 303.

Шенье Андре Мари (1762—1794) — французский поэт — 78, 164.

Шервуд-Верный Иван Васильевич (1798—1867) — первый доносчик по делу декабристов — 106—107, 109—110.

Шереметев Сергей Дмитриевич (1844—1918) — литератор, историк — 109, 150, 319—320, 324, 331.

Шишков Александр Семенович (1754—1841) — адмирал, государственный деятель, писатель — 36, 145.

Шувалов Иван Иванович (1727—1797) — государственный деятель и меценат, фаворит Елизаветы Петровны — 319.

Шеголев Павел Елисеевич (1877—1931) — филолог, историк — 245.

Этьенн Шарль Гийом (1777—1845) — французский драматург и политический деятель — 176.

Ювенал Децим Юний (ок. 60 — ок. 127) — римский поэт-сатирик — 76, 209.

Языков Николай Михайлович (1803—1846) — поэт — 5, 140—141, 152, 189, 253, 256, 319.

Якубович Александр Иванович (1792—1845) — декабрист — 95.

Якушкин Евгений Иванович (1826—1905) — юрист и этнограф, сын декабриста И. Д. Якушкина — 98—99.

На обложке: П. А. Вяземский. Гравюра с рис. И. Вивьена де Шатобрен, середина 1810-х гг.

На фронтисписе: П. А. Вяземский. Рис. А. Пушкина на полях рукописи

Заставки

Глава I. Москва. Тверской бульвар. Рис. О. Кадоля, 1825

Глава II. Остафьево. Дом. Акварель И. Вивьена де Шатобрен, 1817

Глава III. Варшава. Краковское предместье. Литография Ф. Шустера, 1-я пол. XIX в.

Глава IV. Санкт-Петербург. Троицкий мост (Вид на Петропавловскую крепость). Акватинта Мартенса, 1830-е гг.

Глава V. Остафьево. Стол П. А. Вяземского. Фотография, конец XIX в.

Глава VI. Остафьево, Кабинет П. А. Вяземского. Фотография, конец XIX в.

Глава VII. Москва. Тверская площадь. Литография Арно

Глава VIII. Санкт-Петербург. Фонтанка. Литография неизвестного художника, XIX в.

Глава IX. Санкт-Петербург. Эрмитажная галерея Зимнего дворца. Литография Ж. Жакотте и Обрена по рис. И. Шарлеманя и Дюрюи, 1850-е гг.

Глава X. Баден-Баден. Гравюра неизвестного художника, XIX в.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава I. «Судьба свои дары явить желала в нем...»	5
Глава II. Предисловие к жизни	18
Глава III. «...И с бала я попал в ухаб!»	50
Глава IV. Четырнадцатое декабря — тринадцатое июля	86
Глава V. «Моя поэзия, весь мир мой в двух словах...»	123
Глава VI. «Наш век требует мыслей...»	149
Глава VII. Автор «катехизиса заговорщиков»	184
Глава VIII. «Я пережил и многое, и многих...»	219
Глава IX. Товарищ министра	265
Глава X. «Не поздно ли уж зачитался я?...»	307
P.S. Век спустя	344
Указатель имен	355

Вадим Перельмутер
«ЗВЕЗДА РАЗРОЗНЕННОЙ ПЛЕЯДЫ»

Редактор Ю. А. Трифонов

Сдано в набор 18.02.93. Подписано в печать 5.05.93. Формат 84×108¹/₃₂. Усл.
п. л. 21,0. Тираж 15 000. Заказ 1032.

Издательство «Книжный сад». 119619, Москва, Боровский пр., 6—36.

Книжная фабрика № 1 Министерства печати и информации России. 144003,
г. Электросталь Московской обл., ул. Тевосяна, 25.



